

Alexander Etkind

INTERNAL
COLONIZATION

Russia's Imperial
Experience

POLITY PRESS 2011

Александр Эткинд

ВНУТРЕННЯЯ
КОЛОНИЗАЦИЯ

Имперский опыт
России

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
МОСКВА • 2013

УДК 316.75:330.342.14
ББК 60.028.132

Э35

На обложке:
Карл Брюллов.
«Портрет Василия Перовского на капители колонны». 1824

Редактор серии
И. Калинин

Эткинд, А.

Э35 Внутренняя колонизация. Имперский опыт России / Александр Эткинд; авториз. пер. с англ. В. Макарова. — М.: Новое литературное обозрение, 2013. — 448 с.: ил.

ISBN 978-5-4448-0090-4

Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизируя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей. Двигаясь от истории к литературе и обратно, Эткинд дает неожиданные интерпретации критических текстов об имперском опыте, авторами которых были Дефо и Толстой, Гоголь и Конрад, Кант и Бахтин.

УДК 316.75:330.342.14
ББК 60.028.132

© А. Эткинд, 2013

© В. Макаров, авториз. пер. с англ., 2013

© ООО «Новое литературное обозрение», оформление, 2013

Благодарности

Работа над этой книгой была связана со многими долгами, которые нельзя вернуть. Мои родители, историки искусства Марк Эткиндр и Юлия Каган, определили мои интересы неисповедимыми способами. Мой отчим, философ Моисей Каган, и мой дядя, литературовед Ефим Эткиндр, были примерами мужества и таланта. Моей музой, критиком и редактором была Элизабет Рузвельт Мур. Наши сыновья, Марк и Мика, вдохновляли и отвлекали меня в пропорции, которая была и остается верной.

Игорь Смирнов, Нэнси Конди, Светлана Бойм и Марк Липовецкий поддержали меня своим интересом на ранних этапах этой работы. Олег Хархордин, Ирина Прохорова, Айрин Массинг-Делич и Алистер Ренфру редактировали первые опубликованные версии некоторых частей; я искренне признателен им за многолетнюю поддержку. Общение с Гаяном Пракашем помогло мне лучше понять основное русло постколониальных исследований. Конференция в Университете Пассау, «Внутренняя колонизация России», которую организовали мы с Дирком Уффельманном, оживила мой интерес к предмету. Для нас с Дирком, как и для нашего соредатора Ильи Кукулина и еще двух десятков авторов, эта конференция увенчалась публикацией большого сборника, который тематически связан с этой

книгой¹. Саймон Франклин, Эмма Уиддис, Рори Финнин, Яна Хаулетт, Кэролайн Хамфри и Харальд Выдра все эти годы были для меня отличными коллегами. Без Эли Зарецки, Джона Томпсона и издательства Polity я бы вовсе не сел писать эту книгу.

Некоторые главы выросли из докладов на семинаре кафедры славистики Кембриджского университета, конференции «Found in Translation» в Институте ван Леера в Иерусалиме, Евразийской конференции в Ханьянском университете (Сеул), а также на оживленных семинарах в Дареме, Сёдертёрне и Стэнфорде. Вопросы и замечания коллег нашли свое отражение в книге. Я благодарен исследователям, которые прочитали рукопись или ее главы, за их комментарии и советы. Их имена (в хронологическом порядке): Уиллард Сандерленд, Мария Майофис, Саймон Франклин, Уильям Тодд, Марк Бассин, Дирк Уффельманн, Марина Могильнер, Эрик Найман, Дэвид Мун, Рубен Галло, Майкл Минден, Питер Холквист, Яна Хаулетт, Валерия Соболев, Джейн Бербанк и Тони Ла Вопа.

Главы 6, 7 и 12 были частично опубликованы в российских журналах «Новое литературное обозрение» и *Ab Imperio*; глава 10 в *Russian Review* (2003. Октябрь. № 62); часть главы 8 в книге «Convergence and Divergence: Russia and Eastern Europe into the Twenty-First Century» (London: SSEES, 2007) под редакцией Питера Данкана; глава 5 в *The Journal of Eurasian Studies* (2011. № 2/2); часть главы 12 вошла в сборник «Critical Theory in Russia and the West» под редакцией Алистера Ренфру и Галина Тиханова (London: Routledge, 2010).

Я очень благодарен Владимиру Макарову за вдумчивое отношение к тексту и источникам. Редактор издательства НЛО Ирина Прохорова и редактор серии «Библиотека журнала “Неприкосновенный запас”» Илья Калинин поддержали нас быстрыми решениями и полезными советами. Текст книги пересмотрен мною; в некоторых частях я его основательно

¹ См.: Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России. М.: Новое литературное обозрение, 2012.

БЛАГОДАРНОСТИ

изменил или дополнил. Мне помогли рецензии на английское издание этой книги и новые советы коллег, особенно Кевина Платта, Евы Берар, Галины Никипорец-Такугавы, Дины Гусейновой, Гриши Фрейдина, Ариадны Арендт, Майка Финке, Александра Храмова и Андрея Тесля.

Введение

В Москве в 1927 году Вальтер Беньямин с удивлением обнаружил, что Россия не знает романтического образа Востока. «Здесь нашло себе почву все, что есть в мире», говорили ему московские друзья, и Восток и Запад; «для нас нет ничего экзотичного». Более того, эти марксисты утверждали, что «экзотизм — это контрреволюционная идеология колониальной страны». Но, покончив с идеей востока, московские интеллектуалы вновь вернули ее к жизни, придав ей советский размах. «Самым интересным предметом» для новых московских фильмов стали российские крестьяне, которые казались их авторам очень непохожими на них самих: «По способу восприятия крестьянин резко отличается от городских масс». Когда крестьянин смотрит фильм, говорили Беньямину его московские друзья, он не способен следить за развитием «двух нитей повествования одновременно, как это бывает в кинематографе. Его восприятию доступна только одна серия образов, которые нужно показывать в хронологической последовательности». Поскольку крестьяне не могут понять темы и жанры, «взятые из буржуазной жизни», им нужно совсем новое искусство. Создать такое искусство — «один из самых грандиозных экспериментов над массовой психологией, которые проводятся в гигантской лаборатории, какой стала Россия», — писал Беньямин. Несмотря на свои симпатии к новому искусству и новой России, Беньямин не обольщался их успехами: «Колонизация России посредством кино дала осечку» (1999: 13—14).

Авторы, писавшие об имперской России, создали два нарратива. В одном великая страна успешно, хоть и неровно конкурирует с другими европейскими державами. В ней была великая литература и были поставлены беспримерные социальные эксперименты. Другой нарратив повествует об экономической

отсталости, неограниченном насилии, нищете, неграмотности, отчаянии и крахе. Я согласен одновременно с обеими этими историями и не вижу в этом большой проблемы. В отличие от российских крестьян, которых друзья Бенъямина экзотизировали в соответствии с давней традицией, ученый не может мыслить однокорейно. И все же наука не улица с двусторонним движением. Иными словами, нам нужно найти способ координировать разные истории, в которые мы верим.

Мое решение — своего рода эйзенштейновский монтаж, переплетенный общим принципом, которым в этой книге стала внутренняя колонизация. Я предлагаю этот термин в качестве метафоры или механизма, который делает возможным изучение Российской империи вместе с другими колониальными империями прошлого. Итак, в этой книге два нарратива о России соединяются в один — историю внутренней колонизации, в которой государство колонизовало народы, включая и тот народ, который дал этому государству его загадочное название.

В 1904 году великий историк Василий Ключевский писал, что «История России есть история страны, которая колонизируется. Область колонизации в ней расширялась вместе с государственной ее территорией»¹ (1956: 1/31). Одинаковая по протяженности с самим Российским государством, колонизация была направлена внутрь страны, но зона ее действия расширялась по мере того, как государственные границы перемещались в процессе внешней колонизации. Во времена Ключевского эта формула самоколонизации уже давно существовала в российской мысли (см. об этом в главе 4). Обогатившись колониальным и постколониальным опытом XX века, мы можем сделать из нее новые выводы. Россия была как субъектом, так и объектом колонизации и ее последствий, таких, например, как ориентализм. Занятое колонизацией иностранных

¹ Для многотомных изданий том и страница указываются через косую черту.

территорий, государство также стремилось колонизовать внутренние земли России. В ответ на это многочисленные народы империи, включая русский, развивали антиимперские, националистические идеи. Эти два направления колонизации России — внешнее и внутреннее — иногда конкурировали, а иногда были неотличимы друг от друга. Менявшиеся отношения между двумя векторами колонизации, внешним и внутренним, были не «застывшей диалектикой», как сказал бы Беньямин, но скорее гремучей смесью. Без оксюморонных понятий, таких как «внутренняя колонизация», ее не понять.

Исследуя исторический опыт Российской империи вплоть до ее краха в 1917 году, эта книга утверждает его значение для постколониальной теории. Предметом внимания, однако, становятся внутренние проблемы империи, которые редко изучались в постколониальных терминах. С начала 1990-х годов интерес ученых к причинам и механизмам российской революции стал падать, уступая место исследованиям российского востока и окраин империи¹. Разрыв, созданный революцией в теле истории, был велик; огромны были и силы преемственности. Стандартный в советское время телеологический подход учил, что предшествовавшие события «готовили» то, что за ними следовало, например революцию. Историки научились избегать такого подхода: участники событий не знали их исхода, о котором знаем мы, а их желания, опасения и действия были гораздо разнообразнее конечного результата. Однако историки — и все мы — хотят знать, почему российская революция и советский террор произошли именно на территории

¹ Литература по этим темам слишком обширна, чтобы приводить здесь ее обзор. По проблеме российского востока полезны классическая работа Brower, Lazzarini 1997; а также Barrett 1999; Bassin 1999; Geraci 2001. Об ориентализме в России см.: Layton 1994; Sahni 1997; Khalidetal 2000; Сопленков 2000; Thompson 2000; Collier и др. 2003; Ram 2003; Tolz 2005; Schimmelpenninck 2010. О Российской империи в сравнительной перспективе см.: Burbank, Ransel 1998; Lieven 2003; Герасимов и др. 2004; Gerasimov и др. 2009; Burbank, Cooper 2010.

Российской империи¹. Ответ на этот вопрос нельзя искать только в событиях предшествовавшей эпохи, но и отделять течение событий от их исторического прошлого тоже неверно. Я не ставлю себе целью объяснить российскую революцию, но надеюсь, что более глубокое понимание имперской России поможет разобраться в революции, ее завершившей, и в том, что произошло в советский период, а может, и позже.

Сосредоточенная на культурной динамике в разных ее аспектах, эта книга стремится преодолеть еще один разрыв — между двумя дисциплинами, историей и литературой. Этот разрыв никому не нравится, но мирятся с ним многие. Не так давно Нэнси Конди заметила, что если исследования стран и регионов основаны на обмене между дисциплинами, то в исследованиях культуры «междисциплинарность стала частью самого проекта» (1995: 298). Моя книга принадлежит междисциплинарному проекту культуральных исследований, который я трактую в историческом ключе².

Для историка культуры рискованно включать в свое исследование различные дисциплины, голоса и периоды. Я черпаю свою смелость в идее, что высокая литература и культура играли необычную роль в российском политическом процессе. Как будет показано на нескольких примерах, активистская и, более того, трансформистская культура были важными аспектами внутренней колонизации. Благодаря парадоксальному механизму, который прояснил Мишель Фуко в своей «репрессивной

¹ В советской и западной социальной истории этнические и конфессиональные аспекты российских революций были надолго заслонены классовым подходом. Они получили новое освещение в последние десятилетия: Martin 2001; Slezkine 2004; Hirsch 2005; Riga 2012. Расчеты эдинбургского социолога, Лилиан Риги, оценивают представительство нерусских меньшинств (украинцев, поляков, евреев, грузин и прочих) среди «революционной элиты» в 2/3. Среди трети этнических русских определенная доля была связана с неправославными религиозными традициями (подробнее см. главу 10).

² О моем понимании культуральных исследований (Cultural Studies) и их методологии применительно к России см.: Лысаков, Эткин 2006.

гипотезе» (Foucault 1998; см. также: Rothberg 2009), угнетение делало культуру политически релевантной, а власть — культурно продуктивной. В русской культуре Российская империя одновременно искала инструмент управления и боялась ее как орудия революции. Культура была и экраном, на котором находящееся в опасности общество видело себя, и уникальным органом самосознания, обратной связи, предупреждения и скорби.

* * *

В России социальные революции вели к великим и трагическим трансформациям. Но поразительной была и непрерывность имперской истории, географии, экологии. Россия появилась на международной арене в то же время, что Португальская и Испанская империи. Она расширялась в соперничестве с имперскими континентальными государствами — Австрийской и Османской империями на западе, Китаем и Северо-Американскими Штатами на востоке. Зрелости она достигла, конкурируя с морскими империями Нового времени — Британской, Французской и Японской. Выигрывая и проигрывая, она пережила почти всех. Если посчитать площадь территории, которую империи контролировали год за годом в течение столетий, то по числу квадратных километро-лет получится, что Российская империя была самой большой и самой долговечной империей в истории. Вместе Московское государство, Россия и СССР контролировали 65 млн км²/лет — много больше, чем Британская империя (45 млн км²/лет) и Римская (30 млн км²/лет; см.: Таагерера 1988). Когда была основана Российская империя, средний радиус территории европейского государства составлял 160 км. Учитывая скорость коммуникации в то время, социологи полагают, что государство не могло контролировать территорию, радиус которой превышал 400 км (Tilly 1990: 47). Но расстояние между Санкт-Петербургом и Петропавловском-Камчатским, основанным в 1740 году, составляло примерно 9500 км. Империя была огромной, и с ее ростом проблемы ста-

новились все значительнее. Но в течение всего имперского периода цари и их советники называли огромность российских пространств основной причиной имперского могущества. Огромность этих пространств была основным мотивом и для дальнейшей централизации власти, и для еще большего расширения империи.

Превосходя размерами Советский Союз и нынешнюю Российскую Федерацию, империя царей простиралась от Польши, Финляндии и Кавказа до Средней Азии, Маньчжурии и Аляски. Российские войска в 1760 году взяли Берлин, а в 1814-м — Париж. После победы над Наполеоном российские дипломаты создали Священный союз, ставший первой попыткой европейской интеграции. Империя постоянно вела колониальные войны за спорные территории в Европе и Азии. Осуществив впечатляющие броски на берега Балтийского и Черного морей, за Тихий океан и в географический центр Евразии, она вызывала и подавляла бунты на Урале, восстания в Польше, вела Большую игру в Средней Азии и непрекращавшуюся войну на Кавказе. С продажей Аляски в 1867 году территория империи начала сокращаться, и эта тенденция продолжилась в XX веке. Но петербургские правители продолжали мечтать о Константинополе и Иерусалиме, и эти надежды питали военные усилия России вплоть до Первой мировой войны (McMeekin 2011). Серия русских революций изменила карту Европы и структуру Российского государства. Начавшись как яростный взрыв антиимперских настроений, революция 1917 года привела к новому рабству. Однако территория, подвластная Москве, продолжала расти и после Второй мировой войны, когда распались другие европейские империи. Даже с распадом СССР Кремль потерял меньше территорий, чем западные империи потеряли от деколонизации. В XXI веке мир с удивлением следит за имперскими амбициями постсоветской России.

Европейский гость XVI века сформулировал дилемму, к которой до сих пор обращается русская и русистская мысль: «Трудно понять, то ли народ по своей грубости нуждается в го-

сударе-тиране, то ли от тирании государя сам народ становится таким грубым, бесчувственным и жестоким» (Герберштейн 1988: 74). Понять это трудно, но главные вопросы политического действия — «кто виноват?» и «что делать?» — критически зависят от этого понимания. Логический круг, обрисованный австрийским послом, подлежал размыканию двумя способами: этнографической мифологией либо политической наукой. Четыре столетия спустя американский дипломат видел ту же проблему, но решал ее без колебаний. В «длинной телеграмме» (1946), ознаменовавшей начало холодной войны, Джордж Кеннан объяснял особенности российской государственности и исходящие от нее опасности «традиционным и инстинктивным для России чувством незащищенности». Он приписывал этот «невротический взгляд» на свое положение в мире правителям России, а не ее народам. После того как Кеннан отослал свою телеграмму, произошли новые события, и его мысль можно заострить. На протяжении большей части российской истории невротический страх правителей, смешанный с желанием, обращался не к внешним врагам, но к пространству внутри страны и к ее населению. Это огромное пространство было населено великим разнообразием подданных, русским и другими народами, от которых российские правители не чувствовали и не чувствуют себя защищенными.

Вслед за Эдвардом Саидом (1978, 1993) постколониальные исследователи подчеркивали значение океанов, которые отделяли имперские метрополии от их далеких колоний, и романтику морских странствий, которые создавали и связывали империи. В этих исследованиях заморский колониализм выглядит более предприимчивым, самоуверенным и репрессивным — одним словом, более империалистическим, — чем колониализм континентальный. На деле до изобретения железных дорог и телеграфа сухопутные пространства было труднее преодолевать, чем морские. В середине XVIII века немецкий ученый Герхард Фридрих Миллер организовал российскую экспедицию в Сибирь. Длина его маршрута, проделанного пеш-

ком, верхом и в санях, была почти равна длине экватора, и он преодолел это расстояние за десять лет; по морям капитан Кук огибал земной шар за три года. В мирное время перевозить грузы из Архангельска по морю в Лондон было быстрее и дешевле, чем из Архангельска по суше в Москву. В военное время грузы и войска плыли из Гибралтара в Балаклаву быстрее, чем ехали из Москвы в Крым. К началу XIX века доставлять грузы в российские базы на Аляске было в два—четыре раза дешевле плаванием через три океана, чем сухопутным путем через Сибирь, и к тому же безопаснее; именно так, кругосветным плаванием из Петербурга или Одессы, империя доставляла зерно и масло в Русскую Америку (История 1997: 239—247). На транспортировку пушнины из Аляски через Сибирь в Китай уходило два года; американские корабли доставляли ее за пять месяцев (Foust 1969: 321). И технически, и психологически Индия была ближе к Лондону, чем многие губернии Российской империи — к Петербургу. Океаны соединяли, а земля разделяла. В море были враги и пираты, но не было подданных — чуждых, бедных, недовольных или непокорных народов, которых надо было усмирять, исследовать, переселять, просвещать, облагать налогами, набирать из них рекрутов, отвечать за них перед миром. Теоретически векторы внешней и внутренней колонизации противостояли друг другу. На практике они пересекались и даже сливались. Как две головы российского орла, растущие из недостаточного для них тела, два вектора колонизации конкурировали за ограниченные ресурсы — человеческие, интеллектуальные, финансовые.

Созданная ее правителями в попытке сделать их страну жизнеспособной и конкурентной державой, Российская империя с самого начала была космополитическим проектом. Как и современные ученые, российские императоры все время сравнивали Россию с другими европейскими империями. С их первых и до последних дней внимание царей было приковано к проблемным зонам на периферии, а ядро российского населения они воспринимали как ограниченный и не всегда надеж-

ный, но данный Богом ресурс. Колонизировав многочисленные земли, Россия применяла колониальные режимы непрямого правления — принудительные, коммунитарные и экзотизирующие — к собственному населению. Богатая насилием и бедная капиталом (Tilly 1990), империя осваивала и защищала эти огромные земли, давно или недавно приобретенные по причинам, о которых помнили — или уже не помнили? — одни только историки. В рассказе Льва Толстого «Сколько человеку земли нужно?» крестьянин покидает «перенаселенную» Центральную Россию и отправляется в колонизованные степи Башкирии, где дружелюбные номады предлагают ему столько земли, сколько он сможет обойти за день. От рассвета до заката он идет и бежит — и умирает от истощения, завершив круг. Тут его и хоронят кочевники: вот сколько земли, как раз для тела, нужно человеку, говорит Толстой. Но он сам приобретал поместье за поместьем, субсидируя сельскохозяйственные эксперименты гонорарами от своих романов.

Грамматика различает подлежащее и дополнение, субъект и объект. Для истории такое различие не обязательно. Навязанные самому себе задания — самодисциплина, внутренний контроль, колонизация себе подобных — по существу своему парадоксальны. Сталкиваясь с такими самореферентными конструктами, человеческие языки, включая научный, заходят в тупик. В XXI веке исследователи глобализации сталкиваются с теми же проблемами, что историки Российской империи встретили в XIX веке. Конечно, я надеюсь, что мир будущего будет похож на Российскую империю не более, чем на Британскую Индию. Но имперский опыт России и ее эксперименты над собой еще могут преподать нам уроки.

* * *

Итак, что такое внутренняя колонизация — метафора или механизм? Немало философских трудов доказывают, что это не корректное различие, но я так не считаю. Насколько возмож-

но, я стараюсь полагаться на точные слова исторических лиц, их собственные формулировки и заботы. Исследователь современных империй утверждает, что, поскольку термин «империя» применяют ко всему подряд, чтобы понять, что такое империя, надо изучать общества и ситуации, которые сами используют это понятие (Bessinger 2006). Сходным образом, я изучаю то, как в российской историографии использовались понятия «колонизация» и «самоколонизация» в разных лексических формах, свойственных русскому языку. Хотя государственные деятели в России не часто использовали эти термины, российские историки обильно оперировали ими. Более того, они начали использовать эти или подобные понятия раньше и делали это более осмысленно, чем я предполагал, начиная работу над этой книгой. Как метафора, раскрывающая механизм, внутренняя колонизация — старинный и хорошо проверенный инструмент познания.

Колонизация всегда состоит из двух компонентов, культурного и политического. Проявлением чистого насилия является не колонизация, а геноцид. Культурное влияние само по себе ведет к просвещению, а не колонизации. Когда мы говорим о процессе колонизации, мы видим, как культурная гегемония и политическое доминирование работают вместе — в некоем союзе, соотношении или противостоянии. Немецкий философ Юрген Хабермас говорит о внутренней колонизации как сверхструктуре, в которую объединены когнитивные, правовые и даже конституционные изменения в современных обществах. Новации современности «попадают в жизненный мир извне — как колонизаторы в племенное общество — и принуждают его к ассимиляции» (1987: 2/355). С помощью понятия внутренней колонизации Хабермас проводит аналогию и подчеркивает различие между колониализмом и современностью: многоязычное западное общество ассимилирует современность и сопротивляется ей, как будто она привнесена колонизаторами, хотя они говорят на том же языке. На самом же деле это общество навязывает современность самому себе. Хабер-

мас описывает культурный конфликт, который не основан на этническом или языковом различии. Даже в столь широком смысле концепция внутренней колонизации предполагает агрессивное противостояние враждебных друг другу сил, хоть эти силы и находятся внутри одного общества.

Согласно классическим определениям, колонизация (и колониализм как ее идеологическая система) означает процесс доминирования, в котором переселенцы мигрируют из колонизирующей группы на колонизованную территорию. Империализм — более широкая форма доминирования, которая не нуждается в подобном переселении (Н.Р. 1895; Hobson 1902; Horvath 1972). Теоретические определения колонизации не уточняют, должна ли миграция населения происходить внутри имперских или национальных границ, или она выходит за их пределы, и обязательно ли само существование этих границ. Однако и в интуитивном понимании, и в практическом применении этого понятия колонизация обычно означала отъезд колонистов за границу. На этом фоне внутренняя колонизация означает процесс культурной экспансии, гегемонии, ассимиляции в пределах государственных границ, реальных или воображаемых. Колонизация есть осуществление власти, структурированное различиями — географическими, лингвистическими, культурными. Внешняя колонизация осуществляет эти процессы вовне, а внутренняя колонизация внутри сложившихся границ государства, хотя сами эти границы подвижны колонизацией. Скрещивая границы и различия, колонизация осуществляется в сферах реального и воображаемого. В конце XIX — начале XX века прусские и немецкие политики вели амбициозную программу «внутренней колонизации» (*Innere Kolonisation*) Восточной Европы, которую подпитывали исторические знания, реальные и сфабрикованные: колонизация потому называлась внутренней, что предполагалось, что желаемые земли когда-то принадлежали немецким государствам. Российские историки употребляли сходное понятие, «колонизация себя», без видимых политических целей, но зато создали вокруг него ори-

гинальный, хотя и забытый дискурс. К идеям одного из них — блестящего одиночки Афанасия Щапова (1830—1876) — я часто возвращаюсь на страницах этой книги.

После российской революции и деколонизации Третьего мира концепция внутренней колонизации на некоторое время исчезла из поля зрения. В 1951 году Ханна Арендт (Arendt 1970) ввела термин «колониальный бумеранг» — процесс, в котором имперские власти переносят практику принуждения из колоний обратно в метрополию. Несколько лет спустя Эме Сезар сформулировал похожую идею «обратного шока империализма» (Césaire 1955), примером которого он считал Холокост. После 1968 года социологи переизобрели концепцию внутренней колонизации, чтобы применить постколониальный язык к внутренним проблемам метрополий. Американский социолог Роберт Блаунер (Blauener 1969) изучал жизнь афроамериканцев в США, в том числе гетто и городские беспорядки как феномены внутренней колонизации. В лекциях 1975—1976 годов Мишель Фуко употреблял этот термин в более широком смысле — как перенос колониальных моделей власти обратно на Запад (2005: 117). Британский социолог Майкл Хечтер (Hechter 1975) использовал концепцию внутренней колонизации в работе о центре и периферии Британских островов, с особым акцентом на политическую жизнь Уэльса. Пересматривая классическое словоупотребление, Хечтер нейтрализовал роль географической дистанции между колонизатором и колонизируемым, которая ранее была определяющей чертой колониализма. Однако для анализа конкретных ситуаций Хечтеру все же было необходимо этническое различие между метрополией и колонией (например, между англичанами и валлийцами). После Хечтера следующим шагом стала деконструкция этнического различия, выявляющая внутренний колониализм в мозаичном этнолингвистическом поле, которое структурировано культурными воплощениями власти. В этом понимании термины внутренней колонизации/колониализма использовали историк Юджин Вебер (Weber 1976), социолог Элвин В. Голднер

(Gouldner 1977), антрополог Джеймс Скотт (Scott 1998), литературовед Марк Нетцлофф (Netzloff 2003) и группа историков-медиевистов (Fernandez-Armesto, Muldoon 2008). В исследовании французской культуры середины XX века историк Кристин Росс наблюдала, как Франция обратилась к «некоей форме внутреннего колониализма», когда «рациональные техники управления, разработанные в колониях, были перенесены обратно» в метрополию (Ross 1996: 7). Идею внутренней колонизации обсуждали и критиковали, обычно со смешанными чувствами (Hind 1984; Love 1989; Liu 2000; Calvert 2001). Несколько крупных историков упоминали о колониальном характере внутренней власти в России, но подробно на этом тезисе не останавливались (Braudel 1967: 62, Rogger 1993; Ferro 1997: 49; Lieven 2003: 257; Snyder 2010: 20, 391). Постколониальные исследования почти полностью игнорируют российский аспект колониальной истории. В трудах по русской литературе и истории, однако, некоторые авторы обращались к концепции внутренней колонизации (Гройс 1993; Эткинд 1998, 2002; Etkind 2007; Кагарлицкий 2003; Viola 2009; Condee 2009; Храмов 2012; Кукулин, Уффельман, Эткинд 2012).

Разрабатывая свою политизированную концепцию культурной истории, я намереваюсь соединить ее с более традиционным, текст-ориентированным подходом, характерным для литературоведа. У этой задачи три измерения — историческое, культурное и политическое. Как специалист по России, я вполне согласен с Энн Лорой Столер, специалистом по Юго-Восточной Азии: «Исчезновение колониализма (внутреннего или иного) из истории отдельных наций — это процесс целиком и полностью политический» (Stoler 2009: 34). Тем не менее я показываю, что в классической российской историографии это исчезновение никогда не было полным. Меня интересуют политические причины как присутствия, так и отсутствия идей колонизации, внешней и внутренней, в национальной и имперской историографии. Однако в главе 5, вероятно, самой спорной в этой книге, я выхожу за пределы культурной исто-

рии и обращаюсь к политической экономии, чтобы понять Российское государство в его длинной истории, *longue durée*. В мои намерения не входит искать исторический инвариант, охватывающий столетия; скорее я стремлюсь понять повторяющиеся взаимодействия между изменяющимися географическими, экологическими и политическими факторами, которые определили имперский опыт России. Как это произошло и в других областях постколониальных исследований, центр внимания в моей книге смещается с описаний исторических событий и социальных практик имперского прошлого на тексты, которые прежде меня описывали это прошлое, — тексты, определяющие саму нашу способность представлять себе и другим это прошлое с его событиями и практиками. Этот сдвиг структурирует мою книгу в тематическом и хронологическом отношениях.

Главы 1 и 2 раскрывают контекст холодной войны в концепции «Ориентализма» Эдварда Саида и дополняют Саида, рассматривая приключения некоторых ориенталистов в России. В главе 3 я обращаюсь к дискуссиям о происхождении российской монархии и тому, как они объясняли природу внутренней колонизации. Глава 4 прослеживает парадигму самоколонизации в наиболее известных трудах по российской историографии XIX века. Глава 5 посвящена торговле пушниной, которой Россия была обязана ранним экономическим бумом и географической экспансией на восток. Этот выгодный бизнес создал огромную территорию, впоследствии пережившую смуты, расколы и реколонизации. В главах 6 и 7 рассмотрены специфические институты внутренней колонизации — сословие и община. Конструируя аналогию между расой и сословием, я приглашаю читателей проследить, как Санкт-Петербург превращался из форпоста колонизации в чудо Просвещения. Глава 8 посвящена бурной интеллектуальной деятельности одного из институтов власти Российской империи — Министерства внутренних дел. Заключительная часть книги включает несколько частных случаев культурной истории империи. Глава 9

обращается к Иммануилу Канту в неожиданный и малоизвестный период его биографии — годы его российского подданства. Я не согласен с современными исследователями, которые представляют Канта игнорирующим проблемы колониального угнетения или нечувствительным к ним. Напротив, в моем представлении он, обладавший ранним опытом белого субалтерна, — (пост)колониальный интеллектуал. В главе 10 я рассматриваю религиозные движения в России в их мифических и реальных связях с революцией. Экзотизируя народ и интерпретируя его «тайную жизнь», миссионеры, историки и этнографы конца XIX века приписывали ему самые невероятные черты. В результате народники и социалисты рассчитывали на помощь народных сект в осуществлении своих проектов революции, тоже невероятных. В главе 11 сравниваются антиимперские нарративы двух больших авторов — Джозефа Конрада и Николая Лескова. Оба они, каждый по-своему, увлеченно исследовали опыт Российской империи и резко критиковали его. На основе трех классических текстов русской литературы в главе 12 я рассматриваю русский роман как механизм жертвоприношения, который воспроизводил меняющиеся взаимоотношения между полами и сословиями в империи. Теоретические взгляды Михаила Бахтина и Рене Жирара тут соединяются с историческим контекстом внутренней колонизации.

В этой книге вы встретите российских и западных классиков — Пушкина и Толстого, Гоголя и Маколея, Лескова и Конрада, Бахтина и Жирара — в неожиданных и, я надеюсь, поучительных контекстах. Я обращаюсь и к историческим фигурам, менее известным читателю. Всегда озабоченная территорией, колонизация делалась людьми и над людьми. Через эту книгу ее герои — руководители и жертвы, критики и еретики российской колонизации — встретятся с продолжателями их разнообразных дел, читателями.

Часть I

НЕТРАДИЦИОННЫЙ
ВОСТОК

Глава 1

Два, но меньше чем один

25 марта 1842 года в Санкт-Петербурге один чиновник потерял нос. Коллежский асессор Ковалев только что вернулся с охваченного войной Кавказа — южного рубежа империи. В столице он надеялся получить повышение по службе, стать вице-губернатором где-нибудь в Центральной России и тихо жить там, собирая взятки. Но его предал нос; он сбежал, оставив вместо себя «гладкое место». Ковалеву было так плохо ходить без носа, что он пропустил собеседование на желанную должность и перестал ездить к женщинам. Но потом нос был пойман по дороге в Ригу — западную границу империи. «Россия такая чудная земля», — заметил Гоголь, придумавший эту историю, что «если скажешь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессоры, от Риги до Камчатки, непременно примут на свой счет» (Гоголь 3/42). Камчатка была восточным рубежом империи, а за ней еще была русская Аляска, где тоже бывали коллежские асессоры. Все равно, с Кавказа в Петербург, от Риги до Камчатки — дальний путь для одного носа.

На пути совершенствования

«Нос» Гоголя — пример того, что Хоми Баба назвал «колониальным раздвоением» и описал как необходимый аспект жизненного мира в имперской колонии. Часть тела можно потерять разными способами, в результате кастрации, или деколонизации, или к примеру бритья, или несколькими спо-

собами сразу. Изображая безликого колониального администратора, Гоголь представляет его нос как имперский фетиш — «метонимию присутствия», где присутствие недостижимо, а его черты неузнаваемы. Для Ковалева нет бытия без носа. Все, что требуется целому, — власть, деньги, женщины — невозможно без носа. Когда нос на месте, он всего лишь малая часть целого, метонимия безупречного функционирования Ковалева как телесного и имперского субъекта. Исчезнув, нос становится всеобъемлющим символом нереализованных стремлений, сводной метафорой всех благ, тел и статусов, которые недостижимы для безносого, — вице-губернаторской должности, выгодной невесты, социальных развлечений. Часть тела становится фетишем, когда она потеряна. Отношения части и целого у Гоголя аналогичны отношениям раба и господина у Гегеля. Пока часть является рабом целого, порядку ничто не угрожает. Но восстание части против целого еще более серьезно, чем восстание раба против господина, так как оно ставит под вопрос глубочайшие основы культурного порядка, те, что кажутся самыми натуральными. Колониальные отношения пронизывают все социальные тела, не исключая и тело Ковалева. Вместе со своим носом-сепаратистом Ковалев иллюстрирует загадочную, будто из Гоголя, формулу, которую Хоми Баба повторяет без объяснений, как постколониальную мантру: «Два, но меньше чем один» (*less than one and double*) (Bhabha 1994: 130, 166).

Писатель с образцовой имперской биографией, Гоголь родился на Украине и переехал в Санкт-Петербург. В столице ему не удалось две карьеры, чиновника и историка, но потом он преуспел как писатель и снова провалился как политический теолог. Гоголь — великий колониальный автор, стоящий в одном ряду с Джойсом и Конрадом. Его роман «Мертвые души» — сокрушительная критика имперского опыта. Герой, дворянин Чичиков, планирует переселить крестьян, купленных им в Центральной России, в недавно колонизованные земли Херсонской губернии, чтобы потом заложить имение государству. Как покупатель он предпочитает умерших крес-

тъян: так их легче перевезти с собой через пол-Европы на птице-тройке в Новороссию. Там, под Херсоном, еще можно было найти следы потемкинских деревень — подходящее место для мертвых душ. Но и внутренним губерниям, по которым ездит Чичиков, скупая души, не стоило доверяться; местные чиновники могли увидеть в проезжем дворянине ревизора, предлагая ему дары и дочерей, а могли и выпороть, нарушая сословные законы. Когда в 1836 году состоялась постановка «Ревизора», именно колониальный аспект авторского воображения вызвал гневные отзывы критиков. Описанные события никак не могли произойти в Центральной России, разве только в Малороссии, или в Белоруссии, или вообще на Гавайях: где-нибудь «на Сандвичевых островах, во времена капитана Кука», писал критик Фаддей Булгарин (1836).

«Мертвые души» и «Ревизора» нужно читать как саги колонизации, равные «Робинзону Крузо» или «Моби Дику». С носом или без носа, с мертвыми душами или живыми персонажи Гоголя — точные образы «человека пост-Просвещения, привязанного к своему темному отражению, которому он не способен противостоять, — к тени колонизованного им человека, которая расщепляет его существование, искажает его профиль, нарушает его границы, повторяет его действия на расстоянии, заполняет и разрушает само время его бытия» (Bhabha 1994: 62). Колониальную природу гоголевского воображения подчеркивают недавние исследования, вдохновленные постсоветской трансформацией в Украине (Шкандрий 2001; Wojanowska 2007). Понятно, почему постколониальные исследователи обращаются к украинским корням и сюжетам Гоголя, но колониальная природа его трудов о России и русских — таких, как «Нос» и «Мертвые души», — ускользает от этих ученых: ее не разглядеть без концепции внутренней колонизации. Постколониальные исследования проясняют наше понимание Гоголя, но верно и обратное: Гоголь помогает понять, о чем говорит Хоми Баба.

В 1835 году, когда Гоголь читал лекции по всеобщей истории в Императорском Санкт-Петербургском университете, а Кова-

лев начинал службу на Северном Кавказе, лорд Маколей выступил с речью, опубликованной под заглавием «Заметки об образовании в Индии». Будучи членом Верховного совета при британском вице-короле Индии, Маколей доказывал, что только преподавание английского языка индийской элите сможет создать «переводчиков между нами и миллионами, которыми мы управляем». Образцом в этом деле он выбрал Россию:

Нация, которая прежде была столь же варварской, какими были наши предки до крестовых походов, за последние сто двадцать лет вышла из невежества... Я говорю о России. В этой стране создан обширный класс образованных людей, которые достойны занимать самые высокие должности... Есть повод надеяться, что эта обширная империя, которая во времена наших дедов, вероятно, отставала от Пенджаба, при наших внуках догонит Францию и Британию на пути совершенствования (Macaulay 1862: 109—110).

Для Маколея метрополия и колония — ступени на лестнице всеобщей истории. Там, где Англия была в X веке, Россия оказалась в XVIII, а скоро там окажется и Пенджаб. В Англии каждая следующая стадия «совершенствования» мягко и постепенно сменяла предыдущую. В пространстве Британской империи, однако, разные стадии прогресса сосуществовали и сталкивались между собой. Задачей империи было привести этот хаос — расы, касты, народности, сословия — к порядку: создавать категории, управлять иерархиями, регулировать дистанции, обучать элиты. После Петра Великого, писал Маколей, «языки Западной Европы цивилизовали Россию. Нет сомнения, что они сделают с индусом то же, что сделали с татаринном».

Немного позже российский критик Виссарион Белинский заметил, что без Петра «Россия, может быть, сблизилась бы с Европою и приняла бы ее цивилизацию, но точно так же, как Индия с Англиею» (1954: 5/142). Другими словами, Белинский считал самовестернизацию России ответом на страх ее коло-

низации Западом. Сам этот страх, разумеется, тоже пришел с запада; он был одним из тех «языков», которые Россия, как и Индия, заимствовала из Европы. И все же Индия была колонией, а Россия — империей; интересно, что, проводя свою аналогию, Маколей не замечал разницы. Для Белинского же и его читателей ключевым фактом было то, что Россия — суверенное государство, а Индия — нет. Различие между высшими и низшими группами и в Британской, и в Российской империи было огромным, но в первом случае оно пролегало между метрополией и колонией, разделенных океанами, а во втором — между разными группами в пределах одной континентальной метрополии, чьи колонии находились внутри нее. В национальных государствах Европы линия прогресса была прямой; в их имперских владениях она искривлялась и образовывала складки. Впоследствии с этим столкнулись и теоретики марксизма, когда занялись Россией; Троцкий назвал это явление «комбинированным и неравномерным развитием» (Троцкий 1922, Trotsky 1959). Это значило, что передовые и отсталые общества одновременно существовали и по-разному развивались в России, а их противоречия «неизбежно» должны были привести к революции (Кней-Паз 1978: 95).

В течение Высокого имперского периода, который начался победой России в Наполеоновских войнах (1814) и закончился поражением в Крымской (1856), образованный класс в России говорил и писал по-французски так же хорошо, как по-русски. Часть дворян унаследовала еще и немецкий, а сливки общества говорили по-английски. Знаменитые произведения русской литературы отразили это многоязычие и часто следовали французским образцам (Meyer 2009). В «Евгении Онегине» (1832) «русская душою» Татьяна по-французски пишет письмо своему избраннику, русскому дворянину. Как и другие дамы из высшего общества, объяснял Пушкин, русским она владела хуже, чем французским. Для дворянской элиты французский был языком женщин и семейной жизни, а русский — языком мужчин, их военной службы и поместной экономики, где рабо-

ту выполняли солдаты и крепостные, с которыми приходилось объясняться. В романе Толстого «Война и мир» (1869), действие которого происходит во время Наполеоновских войн, офицеры и чиновники говорят по-французски с женами и дочерьми, по-русски с подчиненными и на смеси двух языков с равными. В отличие от Пушкина, который решил «перевести» письмо Татьяны на язык русской поэзии, Толстой в своем романе оставил длинные французские диалоги героев без перевода, ожидая, что они будут понятны читателю. Но общество быстро менялось, и уже в следующем издании Толстому пришлось перевести эти фрагменты на русский.

Прочитав «Демократию в Америке» Алексиса де Токвиля, бывший офицер императорской гвардии Петр Чаадаев задался в 1836 году вопросом: есть ли свое предназначение и у России? Ответ его был уничтожающим: «В домах наших мы как будто определены на постой; в семьях мы имеем вид чужестранцев; в городах мы похожи на кочевников. Мы хуже кочевников, пасущих стада в наших степях, ибо те более привязаны к своим пустыням, нежели мы к нашим городам». В тот момент, когда империя была богата и обширна, как никогда, ее элита ощущала себя захватчиками в собственных домах, кочевниками в городе, чужестранцами в жизни. «Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы как бы чужие для себя самих. Мы так удивительно шествуем во времени, что, по мере движения вперед, пережитое пропадает для нас безвозвратно. Это естественное последствие культуры, всецело заимствованной и подражательной», — по-французски писал Чаадаев в «Философическом письме», обращенном к русской даме. Иллюстрируя свою мысль, Чаадаев сравнивал русских с «народами Северной Америки», среди которых есть «люди, удивительные по глубине»; у русских же нет своих «мудрецов» и «мыслителей» (1914: 110, 116). Чувство чужеродности в своей стране, ощущение остановившегося времени и критика подражательной культуры были субъективными компонентами внутреннего ориентализма (Condee 2009: 27).

Скандал начался, когда «Философическое письмо» опубликовали в русском переводе. Обличая Чаадаева, бывший сибирский чиновник не без основания писал, что он «отказывает нам во всем, ставит нас ниже дикарей Америки» (Вигель 1998: 78). Пробужденная Чаадаевым, группа интеллектуалов превратила его критику имперской культуры, «заимствованной и подражательной», в призыв к национальному пробуждению. Приняв название, данное им их оппонентами — «славянофилы», они заново изобрели глобальный язык антиимперского протеста, корни которого восходили к французскому Просвещению, Американской революции, критике британской политики в Индии Эдмундом Бёрком, наполеоновской оккупации германских земель и, наконец, польским восстаниям против Российской империи.

В 1836 году Гоголь писал: «Трудно схватить общее выражение Петербурга. Есть что-то похожее на европейско-американскую колонию: так же мало коренной национальности и так же много иностранного смешения, еще не слившегося в плотную массу» (1984: 6/162). Как многих российских интеллектуалов того времени, Гоголя очень интересовала Америка. Он даже задумывался об эмиграции в Соединенные Штаты, и для него сравнение имперской столицы с Америкой звучало не так уж плохо. Консервативные мыслители 1840-х часто использовали колониальный язык, критикуя собственную культуру. Бывший гвардейский офицер Алексей Хомяков писал в 1845 году, что Просвещение в России приняло «колониальный характер». В 1847 году он называл российское образованное общество «колонией европейских эклектиков, брошенной в страну дикарей». Просвещенная Россия, по Хомякову, «как всякая европейская колония во всех частях света», приняла «на себя характер завоевательный, конечно, с самыми благодетельными намерениями, но без возможности исполнить их... и без того превосходства духа, который по крайней мере часто служит некоторым оправданием завоеванию». Он описал эти «колониальные отношения» как «полускрытую вражду» между сослови-

ями, где, с одной стороны, выступало «слишком оправданное» подозрение народа в отношении элиты, а с другой — «ничем не оправданное презрение» элиты к народу. На основе такого анализа Хомяков ставил диагноз: российское общество страдает от «раздвоения», «подражательности», «ложного полужнания» и «умственной мертвенности». Как и его любимому автору, Гоголю, Хомякову нравилась метафора «раздвоения», и он так же часто ее использовал. Раздвоение было вызвано петровскими реформами, а после них еще более увеличилось. Раздвоение — неизбежный результат слишком резких и быстрых социальных перемен. Раздвоение отделило народную жизнь от жизни высших сословий. «Там, где общество раздвоилось... — там духовные побуждения теряют свое значение и место их, как я уже сказал, заступает мертвый и мертвящий формализм» (Хомяков 1988: 100, 43, 152, 96, 139).

Задолго до этого, в 1832 году, Хомяков написал трагедию о легендарном Ермаке — казаке, завоевавшем для русской короны Сибирь. Хомяков не героизирует Ермака: он изображен раскаявшимся преступником, которого проклял отец, бросил в тюрьму царь и предали товарищи-казаки. Шаман предлагает ему сибирскую корону, но Ермак выбирает самоубийство. Если бы героем подобной трагедии был Колумб или Кортес, ее бы восприняли как раннее и мощное антиимперское произведение. «Ермак» не снискал успеха ни у критиков, ни у историков, а Хомяков потратил потом много лет на огромный ученый труд на довольно близкую тему, о миграциях и переселениях во все времена и у всех народов. В нем Хомяков подробно рассуждал о судьбах колонизованных народов — кельтов, индусов, готтентотов. Англофон и англофил, один из наиболее одаренных людей своего времени, — инженер, художник, историк и богослов — Хомяков был ревностным православным, как и остальные славянофилы, но в особом творческом ключе (Engelstein 1999). Многие годы он переписывался со священником из Оксфорда об объединении Православной и Англиканской церквей; более того, он верил, что такое объединение возможно

даже с кальвинистами (Хомяков 1871: 105). Писал ли он о России или о мире, Хомяков постоянно думал об империи, колонии, миграции и, наконец, о раздвоении.

Пока британская администрация вводила изучение английского языка в индийских школах, русский коллега Маколей, министр просвещения Сергей Уваров, решил, что европеизация России зашла слишком далеко. В отчете о десяти годах деятельности в министерстве Уваров назвал успешным свое стремление «исцелить новейшее поколение от слепого, необдуманного пристрастия к поверхностному и иноземному» (1864). Примечательно, что свои проекты «национального образования» Уваров вначале писал на французском, но затем переключился на русский (Зорин 1997). Дилетант-востоковед и талантливый администратор, Уваров следовал за идеей «национальности», популярной в Европе после Наполеоновских войн, и творчески переводил ее как «народность».

Прошло много лет с тех пор, как Уваров и Маколей планировали новые системы образования для своих империй. В Индии и в России национализм принял две конкурирующие формы — бунтарскую и антиимперскую, с одной стороны, и официальную — с другой. Как Петр I был примером для Маколей, так Лев Толстой был примером для Ганди. Россия была европейской державой наряду с Британией и Францией и одновременно территорией, куда цивилизация приходила с Запада, как она приходила в Индию или Африку. Именно поэтому Маколей сравнивал Россию не с Британской империей, а с ее колонией — Индией. Самых русских, а не поляков или алеутов, империя обучала французскому с успехом, который Маколей стремился повторить, а Уваров — остановить. Этот успех длился недолго, но был важен для всех аспектов имперской политики и культуры. Он разделил интеллектуалов на тех, кто оплакивал утраченную исконную самобытность, и тех, кто приветствовал творческое начало культурной гибридизации. «Что такое учение, как не подражание?» — провозглашал историк Сергей Соловьев, сын которого, Владимир, стал самым ори-

гинальным русским философом (1856: 501). Многие — даже те, кто по другим поводам вряд ли согласился бы между собой, приходили к парадоксальному заключению, что Россия одновременно и империя, и колония. Поздний последователь славянофилов Федор Достоевский писал в 1860 году, что нет другой столь же непонятой страны, как Россия. Даже Луна лучше изучена, утверждал он со знанием дела: он только что вернулся из сибирской каторги. Русский народ был для него загадкой, таинственным, всезнающим и радикально другим, и Достоевский призывал подступать к нему с тем же трепетом, с каким Эдип подступал к сфинксу (1978: 18/41). Философ и правительственный чиновник Константин Кавелин использовал колониальную риторику, оправдывая в 1866 году медленный темп реформ, которые при его участии обретали силу закона: «Представим себе колониста, который в дикой глуши... впервые заведет хозяйство... Как бы хорошо он ни повел свое дело, сколько бы ни создал удобств для своей ежедневной жизни, все его успехи не выдержат никакого сравнения с обстановкой городского и даже пригородного жителя... Мы именно такие колонисты» (1989: 182).

Славянская глушь

Международная полемика, развернувшаяся между марксистами на рубеже XX века, привлекла их внимание к проблеме империализма и национальной экономики. Полемика велась в критическом ключе по отношению к Марксу: многие участники спора считали, что Маркс неверно понял, в каком соотношении находятся эти два феномена. Российский экономист Петр Струве утверждал, что классовую борьбу усложняют «третьи лица», которые не являются ни капиталистами, ни рабочими. Они живут докапиталистической жизнью и потребляют «излишки», но поставляют на капиталистический рынок свой труд и этим обеспечивают рост экономики (Струве 1894). Отвечая

на доводы Струве, немецкая социалистка Роза Люксембург писала, что эту роль более эффективно, чем «третьи лица» внутри страны, выполняют иностранные рынки. В работе Люксембург «Накопление капитала» (Luxemburg 1913; 2003) доказывается, что капитализм всегда будет нуждаться в новых рынках, а следовательно, он будет неизбежно связан с империализмом. Таким образом, борьба с капиталом есть одновременно борьба с империей. Ханна Арендт заметила, что, объединив две эмансипаторные программы, социал-демократическую и антиимпериалистическую, эта идея смогла много раз потрясти мир и столько же раз увянуть: «Каждое движение “новых левых”, когда для них настает момент стать “старыми левыми” — обычно это бывает, когда его членам исполняется лет сорок, — хоронит страсть к трудам Розы Люксембург вместе с мечтами юности» (Arendt 1968: 38).

Отвечая Люксембург, Владимир Ленин в своем раннем труде «Развитие капитализма в России», написанном в сибирской ссылке, предположил, что в больших континентальных странах, таких как Россия или США, неравномерность внутреннего развития играет роль неравенства между метрополиями и колониями. В этих странах собственные «излишки» должны уходить на колонизацию их внутренних пространств, обеспечивая развитие капитализма. Внутренние неравенства, таким образом, могут играть ту же роль, что и внешние. Рассуждая о слабо развитых пространствах на Волге, в Сибири и других частях России, Ленин активно использовал термины «внутренняя колонизация» и «внутренняя колония» (1967: 3/593—596). Полемизируя с такими «легальными марксистами», как Струве, Ленин анализировал не только потоки капитала, но и демографические потоки миграции на территории внутренней колонизации. Без колебаний Ленин применял термин «внутренняя колония» и к частям России, населенным этническими русскими (например, новороссийские степи и архангельские леса), и к территориям со смешанным (Сибирь, Крым) и инородческим (Грузия) населением. По словам Ленина, его родные места на

средней Волге — тоже одна из таких «внутренних колоний». Его рассуждения о «внутренней колонизации» и «прогрессивной миссии капитализма» были основаны на путеводной для него аналогии между Россией и Соединенными Штатами, от которой он спустя несколько лет отказался (Эткинд 2001b).

Выдающийся американский историк и черный активист У.Э.В. Дюбойс описывал дискриминируемые в США меньшинства, расовые или социальные, в колониальных терминах: «Есть группы людей с квазиколониальным статусом: рабочие, которые ютятся в трущобах больших городов, и такие группы, как негры» (цит. по: Gutierrez 2004). Подобно Ленину, Дюбойс заимствовал идею внутренней колонизации из языка прусской бюрократии. Там она означала государственную программу управления землями, пограничными между Пруссией и «диким» славянским востоком. Немецкая колонизация польских и балтийских земель началась в Средние века; потом ее последовательно придерживался Фридрих Великий. На этих шатких исторических основаниях прусские, а впоследствии немецкие чиновники называли свою восточную политику «программой внутренней колонизации», отличая ее от внешней колонизации Африки и других дальних стран, которыми руководили другие чиновники. В середине XIX века прусское правительство потратило миллионы марок на скупку польских поместий, распределяя их земли между фермерами-немцами. При Бисмарке в дополнение к этой политике были введены паспорта, ограничены права сезонных рабочих-славян и даже проведена депортация славянского населения из Пруссии. Примечательно, что ключевая для этой политики фигура Макс Зеринг, вдохновлялся американским примером: в 1883 году он вернулся из поездки по Среднему Западу США с идеей организовать на восточных границах Германии фронт, подобный американскому. В 1912 году Зеринг посетил и Россию. В 1886 году была основана Королевская Прусская комиссия по колонизации; тогда же начался судьбоносный спор о том, какая колонизация нужна Германии — «морская», как в Африке, или «внутренняя», как в Польше. В споре принял участие Макс Вебер,

опубликовав обзор, в котором рекомендовал собственную версию внутренней колонизации «варварского Востока»¹. Соавтором Вебера в этой работе стал Густав Шмоллер, один из лидеров движения внутренней колонизации, но позже их пути разошлись. Как историк, Шмоллер опирался на пример прусского *Drang nach Osten* (натиска на восток) и подчеркивал роль программ переселения при Фридрихе Великом, которые он тоже считал примером «внутренней колонизации» (Schmoller 1886, Zimmerman 2006). Такая историческая ретроспектива, в значительной степени мифологизированная, была ключевым фактором для политических планов этих колонизаторов: ранние исторические прецеденты делали новейшие попытки колонизации «внутренними», что должно было выгодно отличать их от британского империализма. Как мы увидим в главе 7, исторические примеры немецкой колонизации простирались далеко на восток, до самой Волги.

Во время Первой мировой войны прусские сторонники внутренней колонизации предались «мечтаниям всемирного масштаба», стремясь к освоению оккупированных польских и украинских земель (Koehl 1953). Предназначенная обогнать Россию в ее собственном методе экспансии в сопредельные земли, вскоре и эта политика стала недостаточной для самых смелых мечтателей. Нацисты отвергли идею и практику внутренней колонизации. Планируя новое пространство в Восточной Европе, прошедшей этническую чистку, Гитлер сравнивал этот проект с европейским завоеванием Америки (Blackbourn 2009; Корр 2011; Baranowski 2011). Отказавшись от наследия Бисмарка, которое обуславливало «внутреннюю колонизацию» неуправляемой и, наверное, не очень понятной ему политикой памяти, Гитлер делал выбор в пользу колонизации внешней, и не в Африке, а в Евразии: «Если Европе нужны земли, их можно получить только за счет России». Когда политические меч-

¹ См.: Koehl 1953; Brubaker 1992: 31; Paddock 2010: 77; Dabag 2004: 46; Nelson 2009, 2010.

ты обгоняли исторические прецеденты, различать между внешним и внутренним становилось излишним. Заостряя свою мысль, Гитлер называл планы внутренней колонизации еврейской идеей:

Для нас, немцев, лозунг «внутренней колонизации» катастрофичен... Не случайно именно иудей всегда пытается внушить нашему народу такие смертельно опасные способы мышления... Без приобретения новых земель, одной внутренней колонизации... всегда будет недостаточно, чтобы обезопасить будущее немецкой нации (Hitler 1969: 125, 128).

Эффект бумеранга

В 1920-х итальянский марксист Антонио Грамши назвал отношения между двумя частями своей страны — югом и севером — колониальной эксплуатацией. Он понимал сложность этой внутринациональной, даже внутриэтнической колонизации лучше, чем его предшественники. Ее культурный вектор Грамши назвал гегемонией; он отличался от политического вектора — доминирования, и экономического вектора — эксплуатации. Все три вектора приходилось рассматривать по отдельности, так как они были направлены в разные, а иногда даже в противоположные стороны. Экономически области Южной Италии стали «эксплуатируемыми колониями» севера, но в то же время культура юга сильно влияла на культуру севера и даже вела ее за собой (Gramsci 1957: 28, 48). Во многих ситуациях внешней колонизации эти элементы власти сцеплены воедино, но благодаря особенной структуре итальянского колониализма, направленной вовнутрь страны, Грамши смог отделить их друг от друга. Пересмотрев марксистское учение о том, как экономический базис определяет надстройку, Грамши создал понятия гегемонии и доминирования, которые оказа-

лись важными для культуральных и постколониальных исследований. Созданные в Италии, они были применены в Индии и по всему миру (Guha 1997).

Рассуждая об отношениях между властью (которая в ее понимании близка к гегемонии) и насилием (доминированием), Ханна Арендт описала эффект бумеранга, который наблюдается, когда имперское правительство переносит практики управления, выработанные в колониях, обратно в метрополию. В конце концов насилие, употребленное против «подчиненной расы», обратится на самих англичан, которые станут «последней подчиненной расой», предсказывала Арендт. Однако она видела и то, что некоторые из высших чиновников империи (например, лорд Кромер) понимали опасность этого бумеранга, так что на деле этот «ужасающий эффект» сдерживал их действия в Индии и Африке (Arendt 1970: 54). С ее колониальными корнями, метафора бумеранга передает старый кантовский страх перед тем, что европейскими народами будут управлять так, как будто они, подобно дикарям, не способны управлять собой сами. Антропологи неоднократно подчеркивали роль колоний как «лаборатории современности», где испытывались новейшие технологии власти (Stoler 1995: 17). Однако, когда метрополии внедряли методы колониальной власти у себя дома, они надлежащим образом изменяли их функции. Хорошим примером является проект Паноптикона. Придуманый для фабрики, которую предприимчивые британцы хотели открыть в российской колонии на захваченной польской земле, в Англии этот дизайн пригодился для тюрьмы (см. главу 7).

Идея бумеранга стала ключевой для основного труда Арендт — «Истоков тоталитаризма» (Arendt 1966), в котором советский и нацистский режимы рассматриваются в одном ряду с европейскими колониями в Африке и Азии, как их позднее и жуткое превращение. Несмотря на неизбывную популярность теоретических идей Арендт, к этой части ее наследия обращались лишь самые ранние и самые недавние исследователи (Pietz 1988; Rothberg 2009; Mantena 2010a). За одним важ-

ным исключением (Boym 2010), их внимание обычно привлекает немецкая часть «Истоков...», а российско-советская остается в тени. Действительно, анализ русского панславизма как стадии в развитии расизма и тоталитаризма стал неудачей Арендт. Концепция панславизма была тупиком; не он привел к революции в России. Идея эффекта бумеранга у Арендт была блестящей, но для приложения ее к России нужно понимать российский империализм не только как внешний, но и как внутренний процесс. Давние традиции насилия и принуждения, которые Российская империя применяла к собственным крестьянам, помогают объяснить революцию и тоталитаризм как бумеранг, обрушившийся из недавних крепостных поместий на городские центры и на само государство. Потом и революционное государство впитало долгий опыт империи и переняло ее практики обращения с подданными, русскими и нерусскими, обратив их против собственной элиты и в конечном итоге против самого себя. В отличие от немецкого бумеранга, который, как показала Арендт, через океаны вернулся в германские земли из заморских колоний, российский бумеранг пронесся по внутренним пространствам империи. В таком понимании советский тоталитаризм становится логичным, но сложным и своеобразным проявлением эффекта бумеранга.

Говоря о переносе расовых идей из колоний в Европу во время английской и французской революций, Мишель Фуко делал вывод:

Не нужно забывать, что колонизация... переносила европейские модели на другие континенты, но она оказывала и обратное влияние, эффект бумеранга, на механизмы власти на Западе. Существовала целая серия колониальных моделей, которые были перенесены обратно на Запад и привели к тому, что Запад смог практиковать в отношении самого себя нечто вроде колонизации, внутренней колонизации (2005: 103).

Это интересная комбинация терминов: «эффект бумеранга» Фуко, вероятно, заимствовал у Арендт, а «внутренний колониализм» он здесь определяет сам. За сто лет до Фуко губернский чиновник и сатирик Михаил Салтыков-Щедрин опубликовал серию очерков «Господа ташкентцы», в которой выявлял те же процессы — внутренний колониализм и эффект бумеранга — в российской действительности своего времени. Ташкент, ныне столица Узбекистана, после его взятия российскими войсками в 1865 году стал центром огромной среднеазиатской колонии (Sahadeo 2007). Щедрин выбрал этот величайший успех русского империализма для того, чтобы показать его обратное действие на политику и нравы внутренней России. Возвращаясь из Ташкента, с Кавказа и других «покоренных» мест, офицеры и чиновники империи приносили свои новообретенные навыки насилия домой, в столицы и губернии. Господа ташкентцы называют себя «цивилизаторами», пишет Щедрин; на деле они — «ходячий кошмар, который прокрадывается во все закоулки жизни». Типичный ташкентец «цивилизировал» Польшу еще до того, как попал в Ташкент, но именно в азиатском Ташкенте узнал, как «цивилизовать» саму Россию. Эту идею иллюстрируют истории о том, как господа ташкентцы избивают и подкупают господ петербуржцев, предполагая, что именно в этом состоит их цивилизационная миссия. Если вы попадете в город, где нет школ, но есть острог, «вы можете сказать без ошибки, что находитесь в самом сердце Ташкента», писал сатирик. Как майор Ковалев, потерявший нос по возвращении с Кавказа, чиновники сталкиваются с катастрофой, которую сами создают, но совсем не понимают. Прослеживая дугу имперского бумеранга на его обратном пути из колонии в метрополию, Салтыков-Щедрин определяет внутренний Восток — на его языке, «ташкентство», — как сочетание насилия и невежества, укоренившееся в отношениях между российскими центрами и колониями (1936: 10/29—280).

Два великих конфликта, противоречивые, но освободительные, доминировали в мире конца XX — начала XXI века: деко-

лонизация Третьего мира и десоветизация Второго. Исторически оба конфликта взаимосвязаны, но их историографии различны (Moore 2001). Начиная с эпохи Просвещения у академической истории был свой эффект бумеранга: знание процессов колонизации и деколонизации на Востоке облегчало понимание того, что происходило на Западе. Произошедшая за последние десятилетия революция в историографии обратилась к роли, которую сыграли в становлении современного мира государство и присущие ему механизмы внешнего и внутреннего насилия (Tilly 1990; Bartlett 1993; Mann 1996). Социолог Майкл Манн показал, что в ходе современной истории демократические страны в своих колониях убили больше местного населения, чем авторитарные империи. Становление либеральных демократий в метрополиях, а потом и в колониях часто следовало за этническими чистками, которые принимали форму институционального принуждения, а иногда и массовых убийств. Пока империи поддерживали сложные, плюралистичные «социопространственные сети власти», они избегали массового кровопролития. Национализм в колониях и метрополиях, связанный с индустриализацией, развитием всеобщего образования и массового потребления, заботой государства об экономическом росте, стимулирует новый, «органический» взгляд на общество как однородную культурную целостность. Империи распадаются на национальные государства, а этот процесс сопровождается масштабным насилием. Новые нации стремятся редуцировать свою внутреннюю сложность, развивая демократическое участие, политизируя культуру, унифицируя образование, передвигая границы, перемещая население и, наконец, переходя к этническим чисткам. Для Манна (Mann 2005) это «темная сторона демократии», или, используя другую метафору, современное «сердце тьмы».

В России органический национализм начался в эпоху Наполеоновских войн и созрел в течение двух столетий, хотя советская суперимперия сумела эффективно заморозить его развитие. Распад СССР в 1991 году означал деколонизацию

пятнадцати наций, включая российскую. В тот момент массового насилия удалось избежать или по крайней мере отсрочить. Слабость российской демократии и относительно бескровный характер падения советского строя объясняют тем, что национализм в России так полностью и не созрел (Hosking 1997); этим явлениям есть и другие объяснения, правдоподобие которых меняется с новыми поворотами российской (а также украинской, грузинской и т.д.) политики. Несмотря на свою важность для современного мира, эти процессы недостаточно осмыслены. В одной из редких попыток проанализировать постсоветскую трансформацию в постколониальном ключе Дэвид Чиони Мур описал ситуацию «двойного молчания»: специалисты по постколониальной теории хранят молчание о постсоветском пространстве, а советологи и слависты молчат о постколониальной теории. Мур предложил два объяснения этого двойного эффекта. Для многих исследователей-постколониалистов с их марксистскими симпатиями лучшей альтернативой глобальному капитализму представляется социализм, и они не хотят переносить острие своей критики с первого на последний. Ученые из бывших социалистических стран, напротив, культивируют новую европейскую идентичность и не хотят сравнивать свой опыт с опытом коллег из Азии или Африки (Moore 2001: 115—117). Удивление Мура разделяют и другие исследователи (Condee 2006, 2008; Buchowski 2006; Chari, Verdery 2009). Разрыв между постколониальным и постсоциалистическим стал причиной деполитизации постколониальных исследований, на которую сетуют их энтузиасты, и провинциализации постсоветских исследований, на которую жалуются русисты. Причины и последствия этого разрыва как академические, так и политические. По словам Нэнси Конди, «молчание левых интеллектуалов о том, что происходило во Втором мире, и антикоммунизм правых интеллектуалов были двумя взаимосвязанными процессами, взаимно соблюдаемыми ограничениями» (Condee 2008: 236). У этих ограничений больше нет оправданий; их надо игнорировать или, если надо, ломать.

В этой книге я предлагаю сделать шаг назад. Не только постсоветский период истории России постколониален, хотя до сих пор остается имперским: уже советская эпоха была постколониальной. И на отдаленных ее границах, и в темных ее глубинах Российская империя была великой колониальной системой. У идеи внутренней колонизации, которую использовали Бисмарк, Ленин и Гитлер; разрабатывали российские историки XIX века (см. главу 4); упоминали Вебер, Фуко и Хабермас, — более глубокая генеалогия, чем обычно думают. Но расширение постколониальной конструкции, и без того не очень связанной, на Россию означает не просто применение уже существующих идей к новым имперским просторам. Такое расширение требует творческой работы, которая не только поможет понять имперский опыт России, но и высвободить потенциал самой постколониальной теории.

Глава 2

ЖИТЬ В МИРУ

Два очень разных автора, Ханна Арендт и Эдвард Саид, полагались на одно редкое понятие, которое использовали независимо друг от друга. Это понятие, «worldliness», трудно перевести на русский язык; здесь я буду писать «жить в миру» (хотя думал и о более творческих решениях, например «мировитость»), а в качестве антонима буду использовать «безмирность». Изучая «человечность в темные времена», Арендт рассказала, как люди реагировали на коллапс публичной сферы навязчивым сближением друг с другом, как они принимали «тепло» за «свет» и жили в «безмирности», которая является «формой варварства» (1968: 13). Также занимаясь темными временами, Саид протестовал против популярной идеи, согласно которой литература имеет собственную жизнь, отдельную от истории, политики и других мирских занятий (Ashcroft, Ahluwalia 1999: 33; Wood 2003: 3). Интерес к миру так же важен, когда читаешь Арендт и Саида, как когда читаешь Гоголя или Конрада. Но на земле всегда есть несколько миров. Во времена холодной войны их было официально три.

Три мира

Начав свою работу в годы холодной войны, Эдвард Саид определил ориентализм как способ обращения Первого мира с Третьим. Из этой формулировки выпал Второй мир. Во введении к «Ориентализму» Саид выделяет Холодную войну — «эру исключительно бурных отношений между Востоком и Западом» — как самое важное из исторических обстоятельств, сделавших возможным его исследование. И действительно,

идея трех миров впервые появилась около 1955 года, выражая тревогу Запада по поводу возрастающей популярности СССР в бывших колониях западных империй — влияния Второго мира на Третий (Sachs 1976; Pletsch 1981; Moore 2001). В 1970-х годах СССР все еще сохранял это влияние, давая Саиду основания утверждать: «Вряд ли ошибусь, если скажу, что “Восток”... неизменно означал опасность и угрозу, шла ли речь о традиционном Востоке или о России» (2006: 45). Таким образом, в этой вводной части своей книги и со ссылкой на холодную войну Саид объединил традиционный Восток (*Orient*) и нетрадиционный — Россию в одном понятии, «Восток» (*East*). Однако все последующие главы были посвящены исключительно отношениям Запада с «традиционным Востоком». Осмысление нетрадиционной части востока откладывалось на будущее.

Говоря о традиционном Востоке, который простирался от средиземноморского побережья до Индийского и южной части Тихого океана, то есть вдоль южных границ Российской империи, Саид показывал, что европейская политика в этой части Востока сопровождалась настойчивым вниманием публики к захваченным территориям, обезличивая их обитателей на основе ориенталистских стереотипов. Знание о жителях колоний определяло мир тех, кто управлял ими, и сами методы управления. Великие тексты «западной традиции» не были «невинными», но постоянно обращались к имперскому и колониальному опыту. Саид критиковал традиционный ориентализм за то, что тот представлял Запад и Восток как самодостаточные платоновские сущности, раздваивавшие имперское воображение, превращая его в «манихейский бред».

Современные авторы скорректировали многие аргументы Саида. На примере Британии Дэвид Кэннедайн (Cannadine 2001) продемонстрировал, что культурный обмен между метрополией и колониями на самом деле был двусторонним. Британский «орнаментализм», который подражал индийцам на кухне, в моде или в духовных исканиях, был скорее правилом, нежели исключением. Еще важнее было то, что в своих колони-

ях британцы предпочитали замечать скорее подобное, чем отличное, чтобы иметь дело со знакомыми иерархиями, а не с экзотическим и опасным беспорядком. Исследуя германский колониализм, Рассел Берман (Berman 1998) показал, что в других западных империях, за пределами Британской и Французской, культурная логика ориентализма была иной. Согласно Берману, немецкие ученые и миссионеры более внимательно относились к коренному населению и не отказывали ему в человеческом достоинстве в такой степени, в какой это делали их французские и британские коллеги. Ориентализм, таким образом, не был единообразной культурной моделью, но менялся в зависимости от обстоятельств места, времени и происхождения. Хоми Баба (Bhabha 1994) расшатал саидовское противопоставление имперских господ и колониальных подданных, обратив внимание на парадоксально творческие аспекты колониализма. Благодаря его трудам культурная гибридизация стала популярной темой в постколониальных исследованиях. Если Франц Фанон и Эдвард Саид описывали «манихейское противопоставление» колонизаторов и колонизируемых, предметом внимания новой волны постколониальных исследований стали огромные «серые зоны» и «срединные образования» (Cooper, Stoler 1997). Наконец, Гаян Пракаш отметил связь между логикой Саида и трехчастной картой мира, унаследованной от эпохи холодной войны. «Даже если мы признаем, что три мира соединились в единую дифференцированную структуру, запрос на ее критику остается актуальным», — писал Пракаш (Prakash 1996: 199).

На фоне других европейских держав Российскую империю выделяло пограничное положение между Западом и Востоком; сложная составная структура, включавшая и западные, и восточные элементы; и культура саморефлексии, позволявшая творчески соединять ориентализм с оксидентализмом и другими течениями. Этот исторический феномен сложно помыслить как воплощение платоновских идей Запада и Востока. Платоновские сущности неуклюжи и трудны в обращении. Гораздо

удобнее представлять себе Восток и Запад как гераклитовские стихии, которые могут свободно смешиваться, пусть и не в любых сочетаниях. Стихии Запада и Востока иногда нуждались друг в друге, подобно огню и воздуху; иногда вытесняли друг друга, как огонь и вода; а чаще всего сосуществовали в сложных, многослойных смесях, складках и карманах, как вода и земля.

Двигаясь по следам Саида, я собираюсь показать, как его герои, английские авторы, строили свои российские фантазии так, чтобы их рассказ был одновременно ориенталистским и «нетрадиционным», отличаясь от того, что Саид считал нормативным западным письмом о «традиционном Востоке». Я обращусь к Дефо, Киплингу и Бальфуру; далее последует отдельная глава, посвященная Конраду. Я не утверждаю, что подобное чтение приложимо ко всем или хотя бы к большинству героев «Ориентализма». Однако нет сомнения в том, что эти четыре автора важны и для Саида, и для его читателей. В заключительной части данной главы я обращусь к одному из источников пренебрежения Саида в отношении России, которая выпала из аналитической схемы ориентализма.

Соболя Робинзона

Некоторые принципиальные положения Саида вдохновлены «Робинзоном Крузо». Перечитывая это новаторское описание того, что происходит с человеком Запада на земле Востока, Саид особенно интересовался отношением Робинзона к деньгам, путешествиям и одиночеству. Но, подобно многим читателям Дефо, Саид читал или помнил только первый том его трилогии и игнорировал второй — «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо» (1719). Эти новые приключения завели Робинзона гораздо дальше всем известного острова. Пройдя тысячи миль почти исключительно по суше, Робинзон посетил Мадагаскар, Китай, Тартарию и Сибирь и вернулся в Англию через Архангельск. Новый географический опыт силь-

но отличался от полученного на необитаемом острове, а социальные приключения были совсем не те, что с Пятницей. В Евразии он имел дело с ушлыми местными торговцами, вступил в конфликт с командой собственного корабля, потерял Пятницу, уничтожил туземную деревню, основал новую колонию, потерпел неудачу как колониальный администратор и наконец, достигнув России, нашел нового друга и разбогател. Пересекая Сибирь с юга на запад, Робинзон испытывал одновременно облегчение и разочарование.

Я думал было, что, приближаясь к Европе, мы будем проезжать через более культурные и гуще населенные области, но ошибся. Нам предстояло еще проехать через Тунгусскую область... населенную такими же язычниками и варварами; правда, завоеванные московитами, они не так опасны, как племена, которые мы миновали [что же касается грубости нравов и идолопоклонства, вряд ли на земле есть народ, который их в этом превосходит]¹ (Дефо 1997: 499).

С учетом предыдущих приключений рассказчика это сильное заявление. Ужасные тунгусы особенно поразили Робинзона своей меховой одеждой: «Одеждой тунгусам служат звериные шкуры, и ими же они покрывают свои юрты» (Дефо 1997: 449). Как мы вскоре увидим, деловое чутье не подвело Робинзона; с его же представлениями о географии дело было сложнее. Озабоченный поиском природной границы между Европой и Азией, как и многие путешественники того времени (Вульф 2003), Робинзон вначале сообщил, что она проходит по Енисею, но несколько страниц спустя перенес ее далеко к западу, на Каму. В Сибири Робинзон также занимался сравнительными исследованиями.

¹ В квадратных скобках приведены фрагменты, отсутствующие в русском переводе З.Н. Журавской.

...Мы чувствовали себя очень обязанными московскому царю, построившему везде, где только было возможно, города и селения и поставившему гарнизоны — вроде солдат-стационаров, которых римляне поселяли на окраинах империи [как я читал, и в Британии]. Впрочем, проходя через эти города и селения, мы убедились, что только эти гарнизоны и начальники их были русские, а остальное население — язычники, приносившие жертву идолам... Из всех виденных мною дикарей и язычников эти наиболее заслуживали названия варваров, с тем только исключением, что они не ели человеческого мяса, как дикари в Америке (Дефо 1997: 446).

Мы не ожидаем этого от Робинзона, но он поделился своими наблюдениями с «московитскими правителями» Сибири. Те отвечали ему, что дикость царских подданных «их не касается», поскольку если бы царь захотел обратить их в христианство, то «присылал бы к ним священников, а не солдат». Эти «начальники» сказали еще, что «их монарху гораздо важнее сделать этот народ своими подданными, чем христианами». Робинзон также узнал, что Сибирь — место ссылки преступников из России, что не удивило британца. Подружившись со ссыльным русским князем, Робинзон придумал тайный план переправки его в Англию, но князь отклонил предложение Робинзона в высоком пуританском стиле:

Здесь ничто не искушает меня вернуться к моему прежнему жалкому величию; и я боюсь, что если попаду в другое место, то семена гордости, честолюбия, корыстолюбия и сластолюбия... оживут во мне, пустят корни... Дорогой друг, позвольте мне остаться в этой благословенной ссылке, ограждающей меня от соблазнов, и не побуждайте меня купить призрак свободы [freedom] ценой свободы [liberty] моего разума (Дефо 1997: 456).

То же самое и примерно в том же месте Сибири могли бы сказать и персонажи Достоевского, только вряд ли они бы заботились о «свободе разума». Взаимно тронутые предложением и отказом, британский путешественник и ссыльный русский князь обменялись дарами. Князь подарил Робинзону «соболий мех — подарок слишком роскошный для человека в его положении, и я хотел было отказаться от него, но он уговорил меня принять», — скромно рассказывал Робинзон. Его ответным подарком был «небольшой ящик чаю, два куска китайского шелку, четыре слитка японского золота... что далеко не окупало его соболей». На следующий день князь попросил Робинзона взять в Англию своего единственного сына. Вместе с новообретенным Пятницей Робинзон получил от князя шесть или семь лошадей, «нагруженных богатыми мехами, представлявшими собой очень большую ценность» (Дефо 1997: 457).

Эта часть «Дальнейших приключений» не только богата реалистическими деталями, но и несет сложный моральный смысл. Описание всеобщего сибирского идолопоклонства вполне соответствует восприятию Робинзона как путешественника-пуританина, склонного к экзотизации Востока. Он порицает равнодушие царя к его христианской миссии в Сибири, что соответствует тому, как понимал Дефо имперское бремя. Привязанность Робинзона к князю мотивируется сочувствием к благородному, но оклеветанному изгнаннику. Неприглядная картина сибирской жизни оправдывает замысел Робинзона обмануть русского царя, вывезя в Англию сосланного им подданного. Но из-за щедрости князя и ценности сибирского меха сделка между ними оказалась неравноценной, что омрачило внезапную дружбу, необычную для Робинзона. В двух эпизодах подряд общение с князем принесло Робинзону финансовую выгоду. Обмен дарами, приносивший западной стороне баснословную прибыль, являлся обычной целью колониальных проектов. Но в «Дальнейших приключениях...» Робинзон остается в выигрыше не из-за интеллектуального превосходства над русским, а скорее из-за своей моральной слабости. Очевид-

но, вся история с обменом дарами написана Дефо так, чтобы ссыльный русский князь казался не только богаче, но и мудрее, и добрее, чем путешествующий британский торговец. Способный на своем отличном английском оперировать разницей между физической свободой (*freedom*) и свободой внутренней (*liberty*), князь предстает человеком просвещения, что выгодно отличает его от Робинзона. Заброшенный в край варваров, благородный князь кажется представителем особенного российского колониализма, в котором высокое и низкое в человеке доходят до крайности, превосходя ожидания Запада. Такой друг очень далек от Пятницы из первой книги романа. Может быть, именно поэтому в путь с Робинзоном, заняв место Пятницы, отправляется не сам князь, а его сын.

Делая выводы о Робинзоне исключительно на основании первого тома и представляя его образцом и прототипом заморского, пуританского ориентализма, Саид совершал ошибку избирательного чтения, типичную для современных читателей «Робинзона». Как показала Мелисса Фри (2006), такая избирательность не была характерна для ранних издателей Дефо, но стала привычной в XX веке. Собрав статистику по более чем тысяче английских изданий «Робинзона», Фри продемонстрировала, что в XVIII веке роман обычно издавался во всех трех томах и лишь 4% изданий состояли из одного первого тома. В XIX веке число таких отдельных изданий первого тома немного возросло, но после Первой мировой войны более 75% изданий стали ограничиваться одним только первым томом. История Робинзона, которая оказалась более успешным товаром, чем любой колониальный груз, была упрощена путем сокращения. Одетый в меха российский князь был принесен в жертву голому Пятнице. В Сибири Робинзон не был достаточным ориенталистом, или его ориентализм оказался не того сорта. Поэтому он не заслуживал прочтения.

Медведь Киплинга

«О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут», — писал Редьярд Киплинг в 1889 году. Но они сходили с мест и встречались множество раз, и Киплинг, хоть его часто понимают неверно, это прекрасно знал: «Но нет Востока, и Запада нет... Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает!» (1989: 275).

Скрупулезно анализируя отношения между Первым и Третьим миром, постколониальные исследования слишком буквально следовали первой строке из баллады Киплинга, не замечая ее деконструирующей логики. В Большой игре между Британской и Российской империями, которую Киплинг описал в романе «Ким», в схватку вступают не два, а три элемента: Англия, Индия и на заднем плане — зловещая Россия. Игра толкает Индию на запад, а Россию на восток, и эту игру Киплинг вписывает в геополитику, угрожающую миру. Ким, мальчик-ирландец, в Индии ставший британским шпионом, борется с проникновением России способами, которые похожи не то на прошедшую Крымскую, не то на грядущую холодную войну.



Илл. 1. «Спасите меня от моих друзей!» Афганский эмир между русским медведем и британским львом. Джозеф Суэйн. 1978

В более позднем стихотворении «Мировая с Медведем» («Truce of the Bear», 1898) Киплинг выводит жалкого нищего, который повествует о своем единоборстве с ужасным зверем, «с Медведем, что ходит, как мы». Единоборство, если оно имело место, произошло за пятьдесят лет до того, но нищий рассказывает о нем как о главном событии своей жизни. Медведь хорошо известен нищему: «Я знал его время и пору, он — мой... // Я знал его хитрость и силу, он — мой» (Киплинг 1989: 267). Встретившись со зверем пятьдесят лет назад, охотник пожалел его и не выстрелил, и в ответ медведь изуродовал ему лицо. Теперь бывший охотник зарабатывает деньги, демонстрируя желающим свои ужасные раны: «Снова и снова все то же твердит он до поздней тьмы: // Не заключайте мировой с Медведем, что ходит, как мы» (Киплинг 1989: 268). Хотя в стихотворении нет ни слова о России, поколения читателей воспринимали медведя именно как символ России, а смысл стихотворения видели в призыве к Британии не заключать союз с этим соперником. В 1919 году журналист *Atlantic Magazine* писала, что Киплинг был «поразительно прав». После русской революции военный союз с Россией казался плохой идеей, «мировой с медведем». С точки зрения журналистки, «русские явно ведут себя совсем как “медведь, что ходит как мы”». Она подтверждает, однако, что русофобия Киплинга в это время была непопулярна:

За последние годы интеллектуалы настолько русифицировались, что смех Киплинга может показаться кощунством. Они не способны увидеть, что он оказался поразительно прав: это заставило бы их признаться в своей поразительной неправоте (Gerould 1919).

Но конструкция, которую создает Киплинг в «Мировой», намного сложнее. Рассказчик — нищий Матун, «беззубый, безгубый, безносый, с разбитой речью, без глаз» не похож на человека, а медведь Адам-зад, «лапы сложив на молитву, чудови-

щен, страшен, космат»², — как раз похож (Киплинг 1989: 267—268). Сходство Медведя и Человека подтверждается рефреном стихотворения; они словно близнецы, сошедшиеся в вечной схватке с открытым финалом. Надо вернуться к началу стихотворения, чтобы осознать, что рассказчик, нищий Матун — не белый человек, белыми у него были только бинты: «Ежегодно сопровождает беспечных белых людей // Матун, ужасный нищий, забинтованный до бровей» (Киплинг 1989: 267). Как в «Киме», конструкция здесь не линейная, а треугольная. Схватка и мировая имели место между индийским охотником и русским медведем, а англичане всего лишь публика для мемуара об этих давних событиях. Как гоголевский «Нос», это стихотворение превращает в двойников тех, кто в принципе не может быть подобным: часть и целое, зверя и человека, «двух и меньше чем одного».

Век империй заканчивался, и Великобритания все чаще считала Россию своим врагом. Во времена Киплинга обе империи обсуждали возможность российского нападения на Индию, в котором видели то месть за поражение в Крыму, то попытку вытеснить британцев из Азии. Термин «Большая игра», впервые употребленный в 1840 году британцами для обозначения их цивилизационной миссии в Средней Азии, изменил смысл, когда Россия расширила свое влияние в регионе, и стал означать местный конфликт двух империй (Yapp 1987; Norrkirk 1996). В 1879 году некий А. Дехневалла опубликовал памфлет «Великое российское вторжение в Индию», в котором описал будущую войну между Британской и Российской империями. Наступая через Афганистан, русские войска захватывают Пенджаб и центральные провинции Индии. Их вторжение отлично подготовлено многочисленными шпионами, которые провоцируют восстание низших каст. Британскую Индию спасает артиллерийский офицер, «тихий человек с большими мечта-

¹ В оригинале — эпитет «human», то есть похожий на человека. — *Прим. перев.*

тельными глазами», которому удастся отвести войска в Кашмир и оттуда атаковать захватчиков. В конце концов Британия посылает флот в Балтийское и Черное моря и заставляет Россию купить мир ценой уступки Афганистана и Персии (Dekhnewallah 1879: 43, 66). Мировая война будущего воображалась по аналогии с войной прошлого — Крымской кампанией.

В замечательном рассказе «Бывший» («The Man Who Was», 1889) Киплинг утверждал: «Русский человек восхитителен, пока не заправит рубашку», то есть не будет пытаться вести себя так, как англичанин. Британский полк, размещенный на севере Индии, принимает гостя, некоего Дирковича, «русского из русских, согласно его собственным словам». Диркович (Dirkovitch) — казацкий офицер и журналист, пишущий для газеты, «чье название он все время обозначает по-разному», то есть явный шпион. Однако британские офицеры относятся к нему с уважением: он проделал много «черной работы в Средней Азии» и участвовал в таком количестве схваток, что большинству мужчин его возраста и не снилось. На плохом английском этот казак пытается напомнить Белым Гусарам об их цивилизационной миссии:

Все это время он до изнеможения выказывал себя европейцем... Он часами мог говорить о прекрасном будущем, которое ожидает соединенные силы Англии и России, когда... начнется великая цивилизационная миссия в Азии. Все это звучало неубедительно, потому что Азию нельзя цивилизовать европейскими методами. Она слишком велика и слишком стара для этого. Старую развратницу нельзя исправить (Kipling 1952: 29).

Рассказчик, один из Белых Гусар, думает, что Диркович слишком пьян: «как и любой другой», он знает, что надеяться на перемены в Азии бесполезно. Не доверяя Дирковичу, Белые Гусары принимают его за равного, выражая признание понятным для них расовым способом: если со своим союзником, индий-

ским офицером, они не сядут за один стол, и он знает это, то Диркович проводит с англичанами долгие вечера в полковой гостиной. И правда, он может выпить больше коньяка, чем любой из них. Но неожиданно в гостиной появляется странное существо, «бывший человек», — жалкий афганец, который способен говорить по-русски и по-английски. Он оказывается бывшим офицером этого полка, который попал в Крыму в плен к русским и был сослан ими в Сибирь. Несколько десятилетий спустя «бывший человек» находит свой полк, «как голубь, вернувшийся домой», из Сибири в Индию. Избитый и запуганный, он раболепствует перед казаком, в котором сразу признает власть. А тот смутно угрожает британским офицерам: «Это всего лишь мелкое происшествие — такое мелкое, что никто и не вспомнит, вот он кто. Да, теперь он стал вот таким. И вы такими же будете, отважные братья-солдаты, вы станете такими же. Только вы никогда уже не вернетесь». Три дня спустя «бывший человек» умер. Провожая Дирковича, самый умный из его британских друзей бормочет про себя строки: «Вот уж будет веселье, когда он вернется вновь». Тема возвращения — центральная в рассказе. Британские войска в Индии ожидали возвращения событий Крымской войны. Дочитав рассказ до конца, мы неизбежно возвращаемся к его началу.

Поймите же, русский человек восхитителен, пока не заправит рубашку. Как человек Востока, он обворожителен. Только когда он начинает требовать, чтобы его воспринимали как самого восточного из людей Запада, а не самого западного из людей Востока, в нем проявляется расовая аномалия, с которой крайне сложно иметь дело. Никогда не известно, какая из сторон его характера возобладает через минуту (Kipling 1952: 28)¹.

¹ Не очень русское имя Диркович Киплинг мог выбрать по созвучию с именем русского агента в Средней Азии Ивана (Яна) Виткевича (1808—1839), отлично известного британцам. Человек с паразитальной биогра-

Современник Киплинга Джордж Натаниель Керзон посетил Россию перед тем, как был назначен вице-королем Индии (1898—1905). В своей первой книге — это был его российский травелог — он писал: «Ни по какому вопросу в Англии нет такого конфликта мнений, как по вопросу о возможных планах России в отношении Индии». После поездки в Россию Керзон ощутил этот конфликт внутри себя: «Каждый англичанин въезжает в Россию русофобом, а уезжает из нее русофилом» (Curzon 1889: 11, 20). Эта ранняя версия «Из России с любовью» красноречиво описывает отношение британцев к России, хоть и является чрезмерным обобщением. После отъезда из России Керзона продолжала беспокоить «русская угроза»: «Россия обречена и дальше продвигаться вперед, как Земля обречена вращаться вокруг Солнца», — пишет он. С другой стороны, если продвижение России в Азию будет «завоеванием одних людей Востока другими», оно должно быть приемлемо для британцев, формулировал Керзон (Curzon 1889: 319, 372). В свою бытность министром иностранных дел (1919—1924) Керзон провел на карте ту самую «линию», названную его именем, — границу между революционной Россией и только что получившей независимость Польшей. Через много лет она стала восточной границей Европейского союза и во всех практических отношениях все еще делит мир на Запад и Восток.

На революцию в России Киплинг ответил стихотворением «Россия — пацифистам». Станным образом он оплакивал Российскую империю, высказывая тревогу о возможности повто-

фией, Виткевич был вильненским поляком, сосланным в Оренбург за участие в гимназическом заговоре. Виткевич служил солдатом, был переводчиком у Александра Гумбольдта и потом сделал карьеру под покровительством оренбургского губернатора Василия Перовского. Будучи российским резидентом в Кабуле в 1838 году, Виткевич перехитрил британских агентов и в связи с этим успехом был отозван в Санкт-Петербург. После аудиенции у министра иностранных дел Карла Нессельроде, который, видимо, отказал ему в поддержке, Виткевич покончил с собой (Volodarsky 1984; Халфин 1990: 168—175).

ра далекой трагедии у себя дома: «А кто еще на слом, господа? Кто следующий — на слом?» В результате у него получился еще один, и, конечно, ранний, вариант истории о бумеранге: «Мы роем народу могилу с Англию величиной» (Киплинг 2011: 192).

Декларация Бальфура

Согласно Саиду, ориентализм — это способ мысли и действия, которые циклически связаны между собой, так что они пагубно влияют и на реальную жизнь Востока, и на то, как ее понимают люди Запада. Политическое действие создает знание, которое, в свою очередь, определяет поведение колонизаторов и направляет их исследования. Одним из значимых для Саида примеров был Артур Джеймс Бальфур, английский политик начала XX века, заложивший в 1917 году основы для еврейской миграции в Палестину. Как показал Саид, «аргументы Бальфура, если свести их к простейшей форме, абсолютно ясны... Есть люди Запада, и есть люди Востока. Первые господствуют, вторые нуждаются в том, чтобы над ними господствовали». Двойная доктрина западной власти и ориенталистского знания покоилась на «абсолютном разграничении между Востоком и Западом», которые использовались «в качестве отправной и конечной точки анализа». Их «полярное разграничение», «бинарное противопоставление» и «радикальное различие» обеспечили «буквальное и эффективное» воплощение того, что Саид назвал бальфуровским типом ориентализма. В представлении Бальфура с ходом истории «восточные люди становятся еще более восточными, а западные — еще более западными», что Саид называл «поляризацией различия». Бальфур был человеком дела, но «восточные люди оставались для него платоновской сущностью» (Саид 2006: 56—72).

Платоновскую сущность невозможно изменить, расширить или поляризовать. Она не может сливаться с другими сущностями. Наконец, она не может осознавать саму себя. Однако

Бальфур заслужил такую критику. В 1917 году он использовал киплинговские строки «Запад есть Запад, Восток есть Восток», чтобы убедить своих коллег по кабинету министров, что к таким территориям, как Индия, нельзя применять понятие «самоуправление». Даже на Западе, говорил Бальфур, парламентские институты редко достигают успеха, «кроме как у англоговорящих народов». Керзон назвал это выступление, будто сошедшее со страниц иронического рассказа Киплинга, «очень реакционным» (Gilmour 1994: 485). В ответ на события, происходившие в России, Бальфур проецировал свой ориентализм не только на индийцев или арабов, но и на российских евреев. Встретившись в 1906 году с будущим лидером сионистов Хаимом Вейцманом, Бальфур спросил этого выходца из Белоруссии, куда евреи хотели бы переехать: в Уганду или Палестину? В Манчестере политик обсуждал с эмигрантом разнообразные и, возможно, взаимозаменяемые земли Востока, такие как Палестина, Уганда и территории черты оседлости Российской империи. Вейцман ответил вопросом на вопрос: «Г-н Бальфур, если бы я предложил англичанам Париж вместо Лондона, вы бы согласились?» Бальфур заметил: «Д-р Вейцман, Лондон у нас уже есть». «Это так, — возразил Вейцман, — а у нас был Иерусалим, когда Лондон еще был болотом». Вместо того чтобы задуматься о значении слова «нас» в этой конструкции, Бальфур спросил: «И много евреев думают так, как вы?» На это Вейцман ответил: «Я знаю, что так думают миллионы евреев, которых вы никогда не встретите и которые не могут говорить от своего имени» (Weizmann 1949: 144).

Рожденный в деревне Мотол под Пинском, Вейцман в глазах Бальфура выглядел экзотичным. Тот знал, как разговаривать с восточными людьми, и придирчиво расспрашивал Вейцмана; но и Вейцман хорошо знал свое дело. Он разговаривал с Бальфуром не просто от имени чужого племени, но как представитель народа невидимого и неизвестного, народа, который не может говорить сам за себя. Десять лет спустя, став министром иностранных дел, Бальфур вручил Вейцману свою знаменитую

декларацию, выразившую британское «сочувствие сионистским устремлениям» и поддержку создания в Палестине «национального очага для еврейского народа». Это не означало создания еврейского государства. Бальфур проводил политику по аналогии: ведь российская черта оседлости тоже не подразумевала государственности для евреев. Безгосударственный народ перемещался из-за нарушенной черты рухнувшей Российской империи за новую черту, проведенную Британской империей. Декларация Бальфура была подписана 2 ноября 1917 года, за пять дней до большевистской революции. Цель этого документа была двойной — создать британский протекторат для евреев в Палестине и предотвратить политический взрыв в России, где большевики, часть которых была евреями, думали о сепаратном мире с Германией.

Так вышло, что Вейцман и Бальфур стали близкими друзьями, что напоминает историю Робинзона и русского князя. Не выдерживая практического применения, менялись и эссенциалистские теории Бальфура. «Люди Востока» включали теперь и пинского еврея, и иерусалимского муфтия: оба были важны для британской политики в Палестине. Да и сама восточная политика Британии, включавшая теперь и Восточную Европу, была иной. Население Востока состояло из разнообразных групп, между которыми правительство Бальфура посредничало во имя империи. Этот Восток не был миром платоновских сущностей, а скорее напоминал витгенштейновскую констелляцию образов, людей и территорий. Между ними не было ничего общего, кроме воображаемой, одинаково далекой дистанции, отделяющей их от Тринити-колледжа в Кембридже, где Бальфур учился на юриста.

Если для Киплинга Россия была мифическим врагом, который всегда угрожал, но так и не вторгся в Индию, то Джозеф Конрад в детстве пережил российское господство в своей родной Польше. Для взрослого Конрада российская колонизация была пространством катастрофы, уже совершившейся и всегда вновь ожидаемой, преступным разделом единого тела, «мировой

с медведем». Поразительно, что в первой книге Эдварда Саида «Джозеф Конрад и автобиографический вымысел» (Said 1966) практически игнорируются мучительные отношения Конрада с Российской империей, которые стали одним из центральных элементов его биографии, вымысла и автобиографии (см. главу 11). Критик Бальфура и Керзона, Киплинга и Конрада, Саид не заметил их одержимости Россией, низведя их многомерные миры до традиционного, одномерного ориентализма.

Дядюшкин урок

Во вселенной Саида не было места Второму миру. Рисующие картину его неожиданно одинокой, аполитичной юности, мемуары Саида подсказывают возможное объяснение. Для подростка, росшего в семье арабов-христиан в Иерусалиме и Каире, отгороженного от реальной жизни богатством отца и любовью матери, пробуждением стала египетская революция 1952 года. После переворота отец Эдварда лишился значительной части бизнеса, а мать стала яркой сторонницей лидера революции Гамалы Абделя Насера, все более сближавшегося с СССР. Семнадцатилетний Эдвард стал свидетелем и участником семейных споров о политике — Холодной войны в миниатюре. Его симпатии были на стороне матери, хотя он не соглашался с ее «социалистическим панарабизмом» (Said 1999: 264). Противоположный полюс воплощал, однако, не отец, занятый делами, но еще один родственник — Чарльз Малик, муж тети.

Философ, учившийся у Хайдеггера, и государственный деятель, составивший вместе с Элеанор Рузвельт текст Всеобщей декларации прав человека, Малик был выдающейся фигурой. Посол Ливана в США, позже Малик занимал должность ливанского министра иностранных дел, а в конце 1950-х — председателя Генеральной Ассамблеи ООН. Саид называл его «харизматической» и «поляризующей» фигурой. Визионер и космополит, Малик был истинным воином холодной войны. Ведущей темой его речей и памфлетов был антикоммунизм.



Илл. 2. Чарльз Малик и Элеанор Рузвельт работают над текстом Всеобщей декларации прав человека, 1948. Эдвард Саид мог быть среди этих детей.

Сначала юный Эдвард был очарован знаменитым родственником, но с годами дядя все сильнее раздражал его. Малик предупреждал свободный мир об опасности порабощения Советским Союзом с его «миссионерским пылом и империалистическими идеями». В 1960 году во время дебатов с Эдвардом Теллером, отцом водородной бомбы, Малик поделился своей мечтой о мирном распаде коммунизма под давлением изнутри. Для этого, считал Малик, существует «множество возможностей, кроме войны» (Teller, Malik 1960). Он ненавидел «нейтрализм» и охотно оперировал понятиями «Запад» и «Восток», посвящая их философскому анализу многие страницы своих трудов. Для Малика коммунизм и ислам были двумя силами, занимавшими «промежуточное» и «неаутентичное» положение между Востоком и Западом. Ливанский христианин, он в равной мере не доверял коммунизму и исламу, но с особой страстью нападал на Советы. «Коммунизм бесконечно изобретателен в своем стремлении отравить нормальные отношения между Западом и Востоком», — писал Малик в 1953 году, во время революции в Египте. Примерно в это же время он рассказывал Эдварду Саиду «о столкновении цивилизаций, войне между Востоком и Западом, между коммунизмом и свободой».

В этих словах сквозит недоверие Саида к рассказам дяди, но оценить интенсивность и длительность его борьбы с влиянием Малика помогает другая цитата: «Мне ясно, что это был великий отрицательный интеллектуальный урок моей жизни». Все последующие десятилетия, признавал Саид в 1999 году, он жил под воздействием этого «урока», анализируя его «вновь и вновь с сожалением, ощущением тайны и бесконечным разочарованием» (Said 1999: 264—265).

Для многих интеллектуалов Третьего мира Советский Союз был вдохновляющим образцом, а для некоторых — также и источником поддержки. Самые известные леворадикальные мыслители принимали участие в борьбе за освобождение, которую направлял (а порой и манипулировали) СССР. Эту конвергенцию коммунизма и антиимпериализма в начале XX века иллюстрирует судьба американца Джона Рида, сторонника большевистской революции, который умер в Москве в 1920 году после участия в Конгрессе народов Востока в Баку. Жизнь и труды Розы Люксембург, Антонио Грамши и Жан-Поля Сартра являются более значимыми примерами. Но по мере того как Советский Союз превращался в крупное империалистическое государство, на равных соперничавшее с другими сверхдержавами, свободомыслящие, тяготевшие к марксизму интеллектуалы лишались своих интеллектуальных опор. Те способы, которыми мыслители XX столетия понимали две основные тенденции своего времени — деколонизацию и распад имперского порядка, с одной стороны, и холодную войну и распад социалистической системы, с другой, — мучительно противоречили друг другу.

Именно в основополагающих трудах Саида заметна эта неполнота постколониального мировоззрения, которое отмахивалось от Второго мира как от досадной помехи. Для либералов, которые верили в «теорию модернизации», Второй мир не отличался от Третьего, так как оба они были только ступенями на лестнице усовершенствования, ведущей в Первый мир. Постколониальные критики рассуждали обратным образом:

для них Второй мир не так уж сильно отличался от Первого, поскольку ни тот ни другой не смогли поддержать Третий мир. Это безразличие ко Второму миру укрепилось, когда советский режим рухнул, надежды его попутчиков не оправдались, а уважение к нему сменилось презрением. Саид, однако, никогда не был советским попутчиком. Юношеские споры с матерью, сторонницей Насера, привели к упорному избеганию им просоветских идей, которые были популярны в его кругу. Со своим рано сформировавшимся «бесконечным разочарованием» в идеях своего круга Саид пытался найти особенный, творческий путь, который бы развенчал принципы и Насера, и Малика. Но к этому времени пали не только режим Насера в Египте, но и СССР. Если бы Малик дожил до 1991 года, он бы радовался тому, как сбылось его предсказание о ненасильственном распаде социалистической системы под давлением изнутри. Саид никак не отозвался на эти и дальнейшие события во Втором мире. Комментировать их значило бы согласиться с дядей.

Но в одной из последних своих книг Саид попытался взглянуть на Восточную Европу чуть более пристально. В книге «Фрейд и неевропейское» (Saïd 2003) Саид обратился к восхитительной и спорной идее Фрейда, что Моисей, основатель иудаизма, был не евреем, а египтянином. Саид был прав, подчеркивая ориенталистский интерес Фрейда к Египту; но Фрейд в такой же степени интересовал и «нетрадиционный Восток». Более глубокий анализ показал бы, что в кругу Фрейда германские и австрийские евреи смотрели на евреев-беженцев из Восточной Европы сквозь призму тех самых стереотипов, которые были описаны Саидом в «Ориентализме». Однако клиентура в Вене по большей части состояла именно из восточно-европейских евреев (Эткинд 1993). Как и в случае с Моисеем, Фрейд не шел по пути стереотипов.

Замечательная книга Саида о Фрейде заканчивается самым неожиданным образом — панегириком Исааку Дойчеру, тоже «еврею, но не иудею», поляку, ставшему британским подданным, критиком сталинизма и сионизма, автором фундамен-

ЧАСТЬ II. ПИСАТЬ С НАЧАЛА

тальной биографии Троцкого. Фрейд выбрал Моисея, а Саид — Дойчера: оба евреи, но не сионисты; подлинные европейцы, но не люди Запада; борцы с идолами, преданные революционеры... Этот удивительный выбор — свидетельство интереса позднего, зрелого Саида ко Второму миру.

Часть II

ПИСАТЬ С НАЧАЛА

Глава 3

В погоне за Рюриком

«Повесть временных лет» рассказывает, как в IX веке некие северные племена не смогли миром разрешить свои споры и пригласили варяга по имени Рюрик принести порядок в их «обильную землю». Согласившись, Рюрик дал начало первой российской династии Рюриковичей, которые правили вдвое дольше Романовых. «Происхождение — это молчаливая нулевая точка, замкнутая в себе самой», — писал Эдвард Саид. Миф о происхождении доминирует над тем, что проистекает из него, подобно тому как центр в имперской мифологии доминирует над периферией (Said 1985: 318, 372). Автором «Повести временных лет» считают монаха XII века Нестора, хотя единственное, что о нем известно, — это то, что он автор «Повести». В современном языке выражение «начать от Рюрика» означает говорить не по делу, обращаясь к дальним истокам проблемы вместо того, чтобы предложить ее решение. Еще в 1841 году критик Виссарион Белинский жаловался, что «имена Рюриков, Олегов, Игорей и подобных им героев наводят скуку и грусть на мыслящую часть публики» (1954: 5/94). Невзирая на это предупреждение, я вновь обращаюсь к спорам о Рюрике, имея в виду примечательный и спорный образец — курс лекций Мишеля Фуко о французской историографии (2005).

Пригласить Левиафана

В 1818 году, прочитав новейшую на тот момент версию этой истории, генерал Михаил Орлов, герой Наполеоновских войн и будущий бунтовщик и каторжник, писал другу:

Я читал Карамзина. Первый том мне не пришелся по сердцу... Зачем же он в классической книге своей не оказывает того пристрастия к отечеству, которое в других прославляет? Зачем хочет быть беспристрастным космополитом, а не гражданином?.. Зачем говорит, что Рюрик был иноземец? Что варяги не были славянами? Что находит он похвального в призвании иностранца на престол Новгородский? Что лестного в том, что Рюрик ходил по России, с варяжскими войсками, собирать дань для варягов? (1963: 57).

Как и создание Российской империи, написание ее истории было международным проектом, против которого выступал зарождавшийся русский национализм. В исторических трудах национализм находит воплощение так же, как в романах и газетах. Как и романы, исторические труды тоже плоды «капитализма печатного станка», только их читают как правду, а не вымысел, и они тоже формируют тело нации, даже если их все время переписывают и они противоречат друг другу (Anderson 1991; Hroch 1985). Во время войны и мира поколения российских подданных читали истории Рюрика. Кем был он, кем были его спутники? Историей занимались из-за патриотического желания больше узнать о своей стране и получить назидательные уроки, полезные для военной и гражданской службы; и при этом все учебники и все курсы российской истории начинались и начинаются с Рюрика. Мало удивительного, что вокруг его этнического происхождения шли яростные споры, а остальные аспекты его истории игнорировались.

Первым российским автором, опубликовавшим «Повесть временных лет», был Василий Татищев (1686—1750), историк-любитель и чиновник, автор увлекательный и недостоверный (Толочко 2005). Имперский администратор общей компетенции, Татищев строил шахты и подавлял бунты старообрядцев на Урале; усмирал калмыков на Волге и киргизов в южных степях; управлял Астраханской губернией, граничащей с экзоти-



Илл. 3. «Прибытие Рюрика в Ладогу». Три брата — Рюрик, Трувор и Синеус — получают «дары» мехами от славянского племени. Виктор Васнецов. 1909.

ческим Востоком. Петр I приказал Татищеву составить карту новой империи, но географии он предпочел историю. Рыться в архивах для него было все равно, что рыть шахту, а писать историю — что делать металл: все было нужно империи. Позитивистски настроенные историки следующих двух столетий не понимали — или, понимая, не одобряли — этой органической связи между национальной историей и имперской политикой. Но, замыкая этот круг к началу XX века, Павел Милюков, академический историк, который помог свергнуть Романовых, признавал, что деятельный Татищев и его способ писать историю были ему ближе, чем вся позитивистская традиция, лежавшая между ними (Милюков 2006: 35).

Жизнь и творчество Татищева схожи с биографией его французского современника и коллеги, Анри де Буленвилье, о котором писали Арендт (Arendt 1970) и Фуко (2005). Оба исто-

рика жили в эпоху войн и служили своим монархам разными способами, в том числе и как историки. На век Татищева выпали три больших войны со Швецией, одна из которых закончилась поражением, а две другие — победой. Во время перемирия Татищев провел два года во враждебной Швеции, где изучал горную промышленность и занимался тем, что сегодня назвали бы шпионажем. Уралом он управлял с военной жестокостью, обращая местных крестьян в крепостных, чтобы силой заставить их работать на фабриках. Буленвилье дал научное обоснование права завоевателя, и Татищеву тоже нравилась идея, что Российское государство было основано завоеванием. Однако его смущало, что предполагаемые завоеватели, варяги, были предками нынешних врагов России, шведов: «Пришествием Рюрика с варягами род и язык славянский был уничижен» (1994: 1/344). Некоторое утешение Татищев находил в гипотезе, что пришедшие на Русь викинги все были мужчинами и потомки их быстро ослабялись; мы бы назвали это ассимиляцией. Может быть, с Рюриковичами так и было, но Романовы своими балтийскими браками обратили предшествовавшую им русификацию вспять. После многих сомнений Татищев пришел к выводу, что варяги пришли в Северную Русь из Финляндии, а не из Швеции. Поскольку часть финской территории была аннексирована Россией в 1721 и 1743 годах, локализация родины Рюрика в Финляндии натурализовала его в Российской империи. Отвечая Татищеву, геттингенский историк Август Шлёцер, работавший в Санкт-Петербурге, с издевкой повторял, что варяги были шведами и никем другим быть не могли (1809: 2/430).

Но российским читателям «Повести временных лет» было так же трудно принять, что Рюрик был шведом, как читателям Библии трудно согласиться, что Моисей был египтянином. В первые годы существования Императорской Академии наук ее собрания оживлялись спорами на эту тему (Rogger 1960; Obolensky 1982). Начиная с Ломоносова ученые выводили происхождение варягов от пруссов, литовцев, балтийских славян и даже хазар-иудаистов. Екатерина II написала на эту тему пьесу

«в подражание Шакеспиру», «Историческое представление из жизни Рюрика», где Рюрик изображен финским князем, сыном короля Финляндии; Екатерина отлично знала, что такого королевского дома не существовало (1990: 145; 2008: 44). В этой драме славянские старейшины приглашают Рюрика после того, как он возвратился из успешного похода во Францию: таким образом получалось, что у французской и русской знати одни и те же предки. Но Екатерина изображает и бунтаря-славянина, который не признает викинга князем (Wachtel 1994: 26).

В начале XIX века Карамзин нашел семантическое решение проблемы варягов, назвав их норманнами. Один ранний источник именовал норманнами людей, пришедших в Константинополь из «Руси» (Vasil'ev 1946; Franklin, Shepard 1996). Более важно, что, приравняв варягов к норманнам, Карамзин приравнял россиян к другим европейским народам, которыми в прошлом тоже правили норманны. Конкурирующая историческая школа стала известна под именем «антинорманнистов». Дебаты не смолкают и сегодня. Как пророчески заметил Август Шлёцер:

Во всей словесности не знаю я примера, чтобы наука отечественной истории у какого-нибудь образованного народа имела столь странный ход. Повсюду шла она *вперед*... — а здесь [в России], не один раз возвращалась она *вспять* (1809: 2/391).

Татищев и амазонки

«История Рюрика — тихая, даже “идиллическая”», — писал Ключевский (1956: 1/140). Она рассказывает о добровольном соглашении, заключенном викингами с финно-славянскими племенами. Одна сторона сказала другой: придите и владейте нами. Другая, наверно, спросила: а что там у вас есть? Но ведь Рюрик иностранец, мог сказать кто-то в толпе. Пересказывая эту историю вначале, Татищев должен был верить, что, во-пер-

вых, без суверенной власти нет гражданского мира, а во-вторых, что не важно, явится ли суверен извне или изнутри племени. Первое из этих двух положений было высказано Томасом Гоббсом и в XVIII веке стало политическим мейнстримом. Второе же было довольно необычным.

Как и мы, если не еще сильнее, Татищев воспринимал историю о варягах как парафраз гоббсовского «Левиафана». Как рассказывает «Повесть», среди славян «не было... правды, и встал род на род, и была у них усобица», пока они не сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву» (Повесть временных лет 1950: 214). Ко времени Татищева идеи Гоббса достигли России благодаря трудам немецкого философа Самуэля фон Пуфендорфа (1632—1694). Большую часть жизни он работал во враждебной России Швеции, и потому его учение очень подходило для импорта в Россию. Работая после Вестфальского мира, который закончил долгую религиозную войну в Европе, и на фоне Северных войн с Россией, главной политической ценностью — общим интересом, который соединяет правителя и подданных, — Пуфендорф объявил безопасность государства. Только тот правитель легитимен, кто обещает и предоставляет подданным должную защиту. Только лояльные подданные достойны защиты суверена.

В России, как и в германских землях конца XVIII века, за спорами о трудах Пуфендорфа скрывалась дискуссия о Гоббсе (Кемре 2007). Вот как Пуфендорф передает основную идею «Левиафана»:

В то время, как я добровольно делаюсь подданным государя, я беру обет послушания ему и получаю его защиту; с другой стороны, государь, чьим подданным я становлюсь, обещает мне защиту и получает мое послушание... Те, кто создают суверена, в то же самое время обещают ему то, чего требует природа подданства... Как же можно назвать это, если не заключением завета? (Pufendorf 2002: 595).

Эта версия гоббсовской идеи договора-завета оправдывает насилие со стороны суверена тем, что в его отсутствие подданные прибегнут к еще большему насилию. У Пуфендорфа эта идея приобретает форму действия, драмы: подданные «создают суверена», обмениваясь «обетами» и непосредственно обсуждая их друг с другом, а потом и с монархом. Именно этим в «Повести временных лет» заняты варяги и славяне. Как у Пуфендорфа, славяне обещают варягам послушание, а те в ответ обещают безопасность. Постколониальным исследователям хорошо знакома ситуация, в которой завоеватель стремится превратить захват в договор. Как поясняет индийский историк Ранаджит Гуха:

Конкистадор должен... перейти от момента, когда он обнажил меч, к истории, от внезапного насилия к закону... В то мгновение, когда совершается этот переход, он перестает быть завоевателем и становится правителем, хотя привычки мышления и речи могут по-прежнему определять его действия в терминах изначального захватнического проекта (Guha 1998: 86).

Посвящая теории одну из глав своей «Истории российской», Татищев ссылается на Макиавелли, Гоббса, Локка, Вольфа и Пуфендорфа. Из всего этого в русском переводе был доступен только труд Пуфендорфа, выполненный по личному заказу Петра I и опубликованный в 1724 году. Приспосабливая систему Гоббса к пост-Вестфальской Европе, Пуфендорф очищал ее от богословских и других религиозных идей, которые могли быть по-разному истолкованы католиками и протестантами (Hunter 2001). Чтобы покончить с религиозными войнами, надо было спроектировать такую систему мира, которая бы отняла у религиозных различий политическое значение. Если такую систему примут протестанты и католики, ее смогут принять и православные.

Татищев начинает свою политическую философию не с коллективного опыта гоббсовской «войны всех против всех», а

с идиллической идеи брачного союза. Сам по себе человек беспомощен, он не может один обрести «пользу, удовольствие или спокойность» и потому вступает в гражданские «сообщества». Образец такого союза — брак, тоже институт, основанный на договоре, как и государство. Брак заключают по свободному выбору, но после того, как стороны подпишут соглашение, они не могут его нарушить, и каждая сторона может принудить другую к соблюдению контракта. То же справедливо и в отношении государства, доказывает Татищев. В семье муж «от естества» властвует над женой и детьми, и на том же основании стоит монархия: «Монарх яко отец, а подданные яко чада почитаются, каким бы порядком оное и учинилось» (Татищев 1994: 1/359).

Патриархальная философия уживалась в Татищеве с альтернативной историей. Он утверждал, что славяне произошли от амазонок — женщин-воительниц, которых Геродот помещал в Скифии. По Татищеву, в древности амазонки переселились из Африки на берега Волги, где стали славянками. Это открытие он приписал Феофану Прокоповичу, архиепископу Новгородскому и одному из ближайших сподвижников Петра. В историческом воображении Татищева эти амазонки, предки русских, играли особую роль. В соответствии со своей идеей брака как образца договорных отношений он полагал, что договор между викингами и славянами был браком, в котором викинги играли мужскую, а славяне — женскую роль. Русские стали хорошими воинами потому, что происходили от брака викингов и амазонок. Позднее и, наверно, независимо от Татищева, Екатерина Великая создала настоящий культ амазонок, включавший такие элементы, как «амазонская» одежда, способ верховой езды «амазонкой» и женский «отряд амазонок» — вооруженных дворянских жен, которые приветствовали Екатерину в покоренном Крыму (Зорин 2001; Проскурина 2006). Видя саму себя амазонкой, Екатерина даже писала Дидро, что в Санкт-Петербурге ей не хватает варягов, этих «первых русских» (Diderot 1992: 123).

Размышления об амазонках и брачная модель государства помогли Татищеву примирить Рюрика с Гоббсом и Пуфендорфом. Как известно, Гоббс отличал государство, основанное на «установлении», от основанного на «приобретении». В первом случае имеет место добровольное соглашение между членами общества, во втором — завоевание извне. Оба типа государства берут свое начало в страхе и предоставляют одинаковые права суверену. Ужас перед иностранной оккупацией помогает Гоббсу объяснить, почему суверен использует ужасающие методы власти. В то же время уравнивание этих двух типов государств дает Гоббсу возможность нейтрализовать расовое наследие норманнского завоевания, которое в его время еще оставалось значимым для Англии. «Невидимым противником Левиафана было [норманнское] завоевание», — писал Фуко (2005: 112). Татищев понимал логику «Левиафана» достаточно хорошо, чтобы почувствовать схожий миротворческий потенциал в «Повести временных лет». Добровольное приглашение заграничного суверена объединяет оба гоббсовских типа государства, нейтрализуя разницу между «установлением» и «приобретением». Наемник становится князем, приглашающая сторона переходит в подданство, а идея добровольности позволяет этому договору сохранить легитимность. Эта комбинация нейтрализует расовую модель Российского государства, в котором варяги-Рюриковичи доминировали над поработоченными славянами. Потом логику такой нейтрализации можно было развивать двумя способами. Первый, к которому историки обратились позднее, состоял в том, чтобы преуменьшить различия между вступившими в соглашение сторонами (варягами, славянами и финнами) и представить общество как мультиэтничную целостность, которая путем консенсуса выбрала себе суверена. Татищев нашел второй и более сложный путь, преувеличивая различия между викингами и славянами и потом объединяя их с помощью гендерных метафор и брачной модели государства.

Шлёцер скептически воспринял эту мирную и все же невероятную, вполне барочную историю Татищева. Задавая себе и

читателю вопрос, какой была Северная Русь в 800 году, он опирался на колониальный опыт, который его современники приобретали в далеких путешествиях. Русь тогда напоминала «Сибирь, Калифорнию, Мадагаскар», писал Шлёцер. С горечью он сравнивал «просвещение», занесенное на Русскую равнину норманнами, с тем, какие казаки принесли камчадалам (Цит. по: Милюков 2006: 142). Из отчетов Георга Вильяма Стеллера, который путешествовал на Камчатку в 1740 году, Шлёцер знал, что российское завоевание этих земель было одним из самых кровавых в истории. Всего за сорок лет после прибытия казаков население Камчатки сократилось в пятнадцать раз. Чуждый русскому национализму, Шлёцер приложил идею колонизации к самым истокам российской истории. Древняя Русь для него была экзотической, пустынной страной, которую завоевали викинги.

Шлёцер и его покровитель Герхард Фридрих Мюллер (Миллер), который годами путешествовал по Сибири, стали основателями дисциплины, позже названной этнологией. В их описаниях Россия напоминала немецкие земли после Вестфальского мира, опустошенные и замиренные, но все равно неоднородные. Этнологический дискурс вырос из конфликта между универсалистскими идеями Просвещения и реальным разнообразием народов Российской империи (Vermeulen 2006, 2008). Позднее два прусских мыслителя — Кант и Гердер — создали иную версию антропологии, игнорируя то, что Мюллер и Шлёцер писали о России. Хотя философские труды Гердера определили будущее антропологии, в России история, классическая филология и педагогика во многом пошли за «великим Шлёцером». Готовясь к неудачной карьере профессора истории, Гоголь в 1832 году написал занимательный очерк «Шлёцер, Мюллер и Гердер», в котором изобразил их как «великих зодчих всеобщей истории». Приписывая Шлёцеру власть громовержца, он предпочитал его двум другим историкам, а также Канту:

Шлёцер... первый почувствовал идею об одном великом целом, об одной единице, к которой должны быть приведены и в которую должны слиться все времена и народы... Его слог — молния, почти вдруг блещущая то там, то здесь и освещающая предметы на одно мгновение, но зато в ослепительной ясности... Он долженствовал быть непременно гением оппозиционным... Его справедливее, нежели Канта, можно назвать всесокрушающим (Гоголь 1984: 6/88—89).

После окончания Семилетней войны (см. главу 9) Шлёцер вернулся в Германию. В Геттингене он преподавал всеобщую историю, занимался социальной статистикой и стал плодовитым журналистом, одним из создателей общегерманской публичной сферы. Применяя протестантские методы критического чтения Нового Завета к анализу «Повести временных лет», он написал своего «Нестора» до того, как его коллеги создали подобные исследования немецких хроник (Butterfield 1955: 56). Он также написал фундаментальную книгу о Севере, от Исландии до Камчатки. Вслед за Пуфендорфом Шлёцер стал одним из первых, кто проводил различие между народом и государством, придумал термин «этнография» и начиная с 1772 года полемизировал с Гердером, которому этот термин не нравился (Stagl 1995). В своих занятиях русской историей Шлёцер первым использовал «эпистемологический бумеранг» — метод интерпретации, который использует колониальное знание для анализа положения дел в метрополии.

Уваров и черная Афина

В 1812 году чиновник и классицист Сергей Уваров объяснял развитие Древней Греции, применяя идею колонизации:

Возможно, что из всех европейских стран Греция была первой заселена азиатскими колониями... Мы знаем, что Грецию, заселенную колонистами из Азии, поочередно покоряли племена, различные между собою, но происходившие из одного общего источника. Эти новые колонии приносили с собой элементы своих религиозных культов... Египетские и финикийские колонии перенесли в Грецию со своими верованиями свои языки и традиции (Uvarov 1817: 73—74).

В 1801—1803 годах Уваров учился у Шлёцера в Геттингене. То, что Древняя Греция создала множество колоний в Средиземноморье, было хорошо известно ученым. Уваров, однако, выдвигает более глубокое и радикальное предположение: сама Греция была продуктом колонизации. Два восточных народа, египтяне и финикийцы, волнами вторгались в греческие земли и смешивались с местным населением; Уваров считал, что им были пеласги. От Шлёцера, который первым описал семитскую языковую семью, он также узнал, что египтяне и финикийцы имели «одно общее происхождение». Описывая эти процессы, Уваров часто и без колебаний использовал термин «колонизация», не отмечая его новизны, и проводил аналогию между колониальными ситуациями в Древней Греции и России. Такую аналогию отмечают и современные исследователи (Malkin 2004). Историография Шлецера стала популярной в Российской империи еще до возвышения Уварова, и их сотрудничество было взаимовыгодным. В 1803 году Шлёцеру было даровано Александром I российское дворянство, и на его гербе был изображен Нестор, легендарный автор «Повести временных лет». Видя свою роль в том, чтобы популяризировать изучение древних языков и Античности, Уваров описывал Грецию, используя исторические концепции, взятые из русского опыта, а Россию воспринимал в контексте того, что почерпнул из изучения Античности. Колонизуя и подвергаясь колонизации, Россия и Греция имели много общего.



Илл. 4. Герб историка Августа Людвиг Шлёцера, профессора Российской Академии наук и Геттингенского Университета. Возведен в дворянское достоинство в 1803 году.

Уваров позднее опубликовал свой план открытия в Санкт-Петербурге Азиатской академии (Whittaker 1984; Майофис 2008). «Именно Азии мы обязаны основами великого здания человеческой цивилизации», — писал Уваров (Uvarov 1810). Изучать и просвещать континентальную Азию — задача России, ее цивилизационная миссия. В этом проекте Уварову помогал немецкий лингвист Юлиус Клапрот, только что вернувшийся из путешествия в Монголию и на Кавказ (Venes 2004). В 1932 году советский ученый и бывший православный священник Сергей Дурылин описывал проект Уварова, словно начитавшись Фуко: «С Наполеоном или против Наполеона, с Англией или против Англии Россия должна знать свой и соседний Восток, чтоб над ним господствовать: вот мысль, положенная в основу проекта Азиатской академии» (1932: 191). Тот проект был отвергнут, зато карьера Уварова оказалась блестящей: он стал президентом Императорской Академии наук (1818), создателем Императорского Санкт-Петербургского университета (1819) и министром народного просвещения (1833—1849).

Идеи Уварова созревали в кругах европейских романтиков, для которых, как иронично заметил Саид, были притягательны «нации, расы, умы и народы — все, о чем можно говорить со страстью (и в постоянно сужающейся перспективе популизма, от чего первым предостерегал Гердер)» (2006: 153). В 1813 году, когда российская армия вела войну по всей Европе, Уваров составил план вечного мира. Ссылаясь на Гоббса, аббата де Сен-Пьера, Руссо и Канта, чьи проекты вечного мира он считал устаревшими, Уваров выделил одну идею, которая могла стать целью послевоенной Европы. То была идея колонизации Востока, грандиозный проект, который бы надолго занял победителей после окончания войны. Самые благородные свои дела государства совершают после затяжных и кровавых конфликтов, утверждал Уваров. Война с Наполеоном была великой, и наступавший мир должен был соответствовать ей. Проект Уварова означал колонизацию такого масштаба, что правильнее было бы назвать ее глобализацией: «Мир еще достаточно обширен... Половина земного шара состоит из пустынь, из диких стран и народов... Могущественные государства станут создателями нового мира», — писал Уваров (цит. по: Майофис 2008: 78).

Для этого проекта глобального империализма ключевым должен был стать союз двух империй, Британской и Российской. Однако Британия подозревала, что Александр I стремится создать мировую империю за ее счет, и в 1815 году отказалась вступить в Священный союз, а позднее помешала России отнять у Османской империи Грецию. Уваровская идея вечного мира, как и историческая аналогия между Россией и Грецией, сразу устарела. В переписке с Гете — высшим авторитетом для его современников — Уваров переформулировал роль России. Из «новой Греции» она становилась «новым Египтом» — не «центром» современного мира, а скорее «мостом» между его частями, Востоком и Западом. Египет принес азиатскую культуру в Грецию и Европу; Россия должна сделать то же самое в обратном направлении, из Европы в Азию (Дурылин 1932: 202). На ментальной карте Уварова ясно прорисовывались три мира — Европа, Азия и Россия.



Илл. 5. Сергей Уваров между восточной скатертью и классической колонной. Портрет работы Ореста Кипренского. 1815, Третьяковская галерея, Москва.

Начиная с 1987 года американский китаист Мартин Бернал опубликовал многотомное исследование, которое выдвигало тезис, очень похожий на то, что сформулировал Уваров в 1812 году. Все еще спорное, положение Бернала состояло в том, что Греция действительно была колонизована финикийцами и египтянами, которые создали древнегреческую цивилизацию, смешавшись с пеласгами. В конце XX века эта работа использовала ту же терминологию колонизации, что и Уваров в начале XIX. С учетом историографических доводов Бернала, его близость к Уварову не так уж удивительна. Примерно до 1800 года исследователи Античности принимали идею восточных корней греческой цивилизации, утверждал Бернал. Потом европейские ученые поняли, что, если вести генеалогию классических греков из Египта и Финикии, они сами делаются потомками африканцев и семитов. Из-за растущего расизма европейской элиты началась новая интеллектуальная эра: падение Египта и

возвышение Индии, формулирует Бернал. Отвергнув идею черной и семитской Афины, историки и лингвисты изобрели индоевропейцев.

Бернал утверждал, что начало этому расистскому ревизионизму положил геттингенский кружок семитолога-антисемита Иоганна Давида Михаэлиса, который предлагал, в частности, депортировать европейских евреев на острова Карибского моря (Hess 2000). Шлёцер был учеником Михаэлиса, и он первым описал семитскую языковую семью; Клапрот, помощник Уварова по азиатскому проекту, описал семью индоевропейских языков (Venes 2004). Судьбоносный контраст между ариями и семитами быстро подхватили парижские востоковеды и Шлегель. Бывший в контакте со всеми ними, Уваров не мог или не захотел предпочесть одну из этих позиций другой и в своей книге об элевсинских таинствах свел их воедино. Дополняя идею семитской колонизации Греции, Уваров прочел в элевсинских надписях священные слова на санскрите — например,



Илл. 6. Деметра-Церера, греко-римская богиня, сидящая на камне. С одной стороны камня изображены индийские боги — Брахма, Вишну и Шива, с другой — Исида египетская. Надписи на покрывале: «Деметра» (вверху) и «Гомер» (внизу). Рисунок Алексея Оленина. 1812

известное Ом. Одну из иллюстраций к книге сделал друг Уварова, Алексей Оленин, в то время Государственный секретарь Российской империи. Она изображала Деметру-Цереру, сидящую на пьедестале, на котором изображены лица индийских и египетских богов. В руках Деметра держит пергамент с мистическими письменами на той же комбинации языков. Этот образ необычно инклюзивен, как и та версия истории, которую хотел видеть Уваров. В качестве чиновника он бывал менее терпим, чем в качестве историка. Эпиграфом к своей книге о мистериях он выбрал строку из третьей эклоги Вергилия: «Non nostrum inter vos tantas componere lites» — «Нет, такое не мне меж вас разрешать состязанье».

Сердце и исток

Быть колонией — значит иметь суверена вне своей территории. Но с Россией и Древней Грецией все было не так: на разных стадиях своей истории они и колонизовали другие народы и земли, и сами подвергались колонизации. Весь потенциал этой системы сходств и различий Уваров реализовал, занимая должности президента Академии наук и министра просвещения. В духе уваровского просвещенного — даже утилитаристского — монархизма официальный историограф Российской империи Карамзин поддержал идею, что славяне с помощью Рюрика создали самодержавие, чтобы усмирить самих себя. Внутренние конфликты и годы нищеты «открыли Славянам опасность и вред народного правления», и в результате они «возненавидели его и единодушно уверились в пользе Самодержавия». Но Карамзин делает еще один шаг, противопоставляя создание государства в России и в других странах: «Везде меч сильных или хитрость честолюбивых вводили Самовластие... в России оно утвердилось с общего согласия граждан: так повествует наш Летописец» (1989: 1/93). В Западной Европе норманны захватили Францию и Англию, но в земли славян их

пригласили. Карамзин не только испытывал сомнения в исторической точности летописного рассказа о Рюрике, но и считал нужным отразить эти свои сомнения в официальном тексте своей «Истории». И все же вера в ненасильственный характер русской экспансии, важная для Карамзина, вытекала именно из мирного призвания варягов. В договорном характере правления, даже если оно было правлением над дикими народами, вряд ли способными к договорам, и состоит отличие Российской империи от ее соперников:

Взглянем на пространство сей единственной Державы: мысль цепенеет; никогда Рим в своем величии не мог равняться с нею... Подобно Америке Россия имеет своих Диких; подобно другим странам Европы являет плоды долговременной гражданской жизни. Не надобно быть Русским: надобно только мыслить, чтобы с любопытством читать предания народа, который смелостию и мужеством снискал господство над девятою частию мира... без насилия, без злодейств, употребленных другими ревнителями Христианства в Европе и в Америке, но единственно примером лучшего (Карамзин 1861: 7/107).

Михаил Погодин, сын крепостного и профессор Императорского Московского университета, еще усилил этот контраст. Для него история Рюрика, этот «судьбоносный текст», стал притчей, которая разрешает «тайну российской истории» (1859: 2; Maierova 2010).

История всякого государства есть не что иное, как развитие его начала... Начало государства есть самая важная, самая существенная часть, краеугольный камень его Истории, и решает судьбу его на веки веков. В начале должно искать источника главных государственных явлений, и вместе отличия Русской истории от всех прочих, западных и восточных (Погодин 1846: 2).

Происхождение и история здесь различаются, причем первое определяет последнюю. С точки зрения Погодина, приглашение Рюрику «прийти и владеть нами» было не однократным событием, как описано в «Повести...», а продолжающейся цепью однотипных событий, вроде сериала. «Как на Западе все произошло от завоевания, так у нас происходит от призвания, беспрекословного занятия и любовной сделки». Для Погодина российский «государь был званым мирным гостем, желанным защитником», а западный государь — «ненавистным пришельцем, главным врагом, от которого народ напрасно искал защиты» (1859: 187, 218). Исток занял свое место и стал вечным центром империи.

Приспосабливая историю Рюрика под свою теорию происхождения, Погодин централизовал свое собственное владение, российскую историографию, на основе идеи добровольной колонизации. Концепция «любовной сделки» соответствовала колониальной доктрине его начальника Уварова. В 1818 году, когда Погодин был еще студентом, Уваров сформулировал идею, которая стала центральной для его нарративов просвещения и власти в России:

Невозможно основать или удержать свое владычество одною силою меча... Завоевание без уважения к человечеству, без содействия новых, лучших законов, без исправления состояния побежденных — тщетная, кровавая мечта. Но побеждать просвещением, покорять умы кротким духом религии, распространением наук и художеств, образованием и благоденствием побежденных — вот единственный метод завоевания, от коего можно ожидать прочности вековой, и который может некоторым образом освятить право сильного (цит. по: Майофис 2008: 281).

Если такой проект и выглядел нереалистичным, пример Рюрика помогал усвоить его. Пролит моря крови во внешних и внутренних конфликтах, государственные деятели постнапо-

леоновской Европы хотели царить в сердцах и умах своих подданных. Становясь все более консервативным, Уваров создал тройной лозунг «Самодержавие—православие—народность», который Романовы проповедовали и проводили в жизнь до 1917 года (Рязановский 1959; Зорин 1997). Но Уваров уделял внимание и религиозным меньшинствам, например евреям, выражая надежду на их моральное и культурное сближение с христианским обществом (Stanislawski 1983: 68). Сергей Соловьев, который стал профессором истории при Уварове, шутил, что Уваров поклонялся Православию, но не верил в Христа, проповедовал самодержавие, но был либералом и призывал к народности, хотя не прочитал ни одной русской книги (1983: 268). Последнее уж точно несправедливо.

При Уварове российские историки становились все более профессиональными. Они чувствовали обязанность писать и преподавать российскую историю во всемирном сравнительном контексте, который выталкивал уникальные и странные события, как призвание Рюрика, на периферию исследования. Такой взгляд не помешал их историям превратиться в имперский нарратив, повествующий о том, как постепенно и неуклонно росла мощь российской державы. Но сначала им приходилось иметь дело с Рюриком, история призвания которого открывала их учебники. Основатель российской истории как академической науки Сергей Соловьев замкнул этот круг, соединив Рюрика с Петром I. Без видимых оснований историк заставил Рюрика высадиться со своей ладьи именно на том месте, где позже был построен Санкт-Петербург: «Положение при начале великого водного пути, соединяющего и теперь Европу с Азией, условило важное значение Петербурга как столицы: здесь в IX веке началась первая половина русской истории, здесь в XVIII — началась вторая ее половина» (1988: 1/60). Зато великий ученик Соловьева Василий Ключевский пересказывал историю варягов с откровенным раздражением:

Что это такое, как не стереотипная формула идеи правомерной власти, возникающей из договора, — теории очень старой, но постоянно обновляющейся... Сказание о призвании князей, как оно изложено в «Повести», совсем не народное предание... это — схематическая притча о происхождении государства, приспособленная к пониманию детей школьного возраста (1956: 1/144).

Ирония — частый гость в трудах Ключевского, и договорную теорию власти он приписывал православным монахам XII века с очевидной насмешкой, понимая, что это анахронизм. И правда, Нестора ли винить в том, как его история была приспособлена к российской школе? Мысль о том, что история варягов была вставлена в «Повесть» кругом Татищева под влиянием Пуфендорфа, имела бы очевидный смысл; проблема в том, что и другие списки «Повести временных лет», которых не трогали руки Татищева, тоже упоминают Рюрика. Ключевский сомневался в подлинности этой части «Повести», но эти сомнения оставил запискам, которые не предназначал к публикации (1983: 113; Киреева 1996: 424).

Соединив в себе историографические и идеологические проблемы, фигура Рюрика воплотила споры об империи и нации, суверенитете и современности, которые вновь и вновь возникали на поворотах российской и мировой истории. Устав от погони за Рюриком, но видя невозможность стереть его из летописей, российские историки создали ряд творческих концепций, эпистемологических Рюриковичей, у которых появилась собственная энергия воспроизводства.

Глава 4

Страна, которая КОЛОНИЗУЕТСЯ

Русские романтики и потом советские поэты воспевали тепло и красоту России. Историки, напротив, были склонны к тревогам в отношении российского климата, природного и социального. «В семьях мы имеем вид чужестранцев; в городах мы похожи на кочевников... Мы как бы чужие для себя самих», — писал Чаадаев, открывая русскую интеллектуальную историю (см. главу 3). Для русских природа была не матерью, а мачехой, писал Сергей Соловьев (1988: 7/8—9). Во время смуты XVII века, по словам Василия Ключевского, «московские люди как будто чувствовали себя пришельцами в своем государстве, случайными, временными обывателями в чужом доме» (1956: 3/52). Удивительно, но тот же оксюморон Ключевский применяет и к Петру I, человеку XVIII века: «Петр был гостем у себя дома» (1956: 4/31). Еще интереснее, что этот троп всплывает вновь, когда Ключевский описывает типического дворянина начала XIX века: «...с книжкой Вольтера в руках где-нибудь... в тульской деревне», этот дворянин был «чужой между своими» (1956: 5/183). Наконец, в очерке о пушкинском «Евгении Онегине» Ключевский теми же словами говорит о литературном персонаже: «Он был чужой для общества, в котором ему пришлось вращаться» (1990: 9/87). Колонизация всегда связана с попыткой *освоить чужое*, а ее неудачи и срывы приводили к размножению объективирующих дискурсов о *своем*. Если ощущение невозможности стать *своим среди чужих* часто сопровождало неудачи внешней колонизации, то ощущение себя *чужим среди своих* оказалось постоянной формой недовольства и протеста, связанных с ситуацией внутренней колонизации. Этот троп —

быть чужим среди своих; тосковать по родине, оставаясь дома, — популярен и среди деятелей афроамериканского движения, и среди постколониальных авторов. «Почему Бог сделал меня странником и изгоем в моем собственном доме?» — спрашивал в 1903 году афроамериканский интеллектуал У.Э.Б. Дюбойс. «Отчуждение от дома — парадигматическое колониальное и постколониальное состояние», — утверждает Хоми Баба; для него основная проблематика колониального сознания — не в отношениях Себя и Другого, но в Чуждости Себя, Инакости Я, *Otherness of the Self* (Bhabha 1994: 13, 62; см. также: Kristeva 1991). В этой главе мы увидим, как в XIX веке пионеры российской историографии искали и находили похожие термины, чтобы рассказать об имперском опыте России¹.

Соловьев и фронтир

Посетив Россию в 1843 году, Август фон Гакстгаузен писал, что в России происходит не колониальная экспансия, а скорее, «внутренняя колонизация», которая стала «важнейшим предметом всей внутренней политики и экономики этой империи» (Maxthausen 1856: 2/76). В отличие от других открытий, сделанных прусским чиновником в России (см. главы 7 и 10), это осталось почти без внимания. Однако Гакстгаузен наверняка опирался в своих суждениях на дискуссии с российскими коллегами, которые охотно использовали идею колонизации в

¹ В своем интересном исследовании Сергей Глебов (2011: 295) показывает оживление антиимперской риторики и освоение колониальной терминологии в среде российских эмигрантов-евразийцев. По наблюдениям Глебова, «эмиграция со свойственной ей неуверенностью в собственном статусе» идентифицировала Россию в качестве «объекта европейского колониализма». Как показывают многие примеры, от Чаадаева до Любавского, российская интеллигенция высказывала сходные идеи задолго до евразийцев и отлично от них; возможно, этот постоянный антиимперский мотив связан с неуверенностью в собственном статусе, которая часто была свойственна российской интеллигенции.

надежде регулировать миграции российских крестьян на периферию империи, прежде всего на юг России и в Сибирь, а впоследствии — в Среднюю Азию. В 1861 году в Русском географическом обществе прошло одно из таких прений о колонизации, понимаемой как организованное переселение людских масс. Журналист и писатель Николай Лесков, который сам в молодости управлял внутренними переселениями (см. главу 11), отвечал на речь географа Михаила Венюкова, который в своих экспедициях много раз пересек Азию, а потом руководил аграрной реформой в российской Польше. Лесков утверждал, что на деле многие переселения направляются не в отдаленные владения империи, а в ее «серединные места», и в этом, говорил Лесков, состоит основное различие между британским и российским способами колонизации (1988: 60).

Середина и конец XIX века были периодом масштабной экспансии европейских империй (Arendt 1970). Российской империи, которая участвовала и в разделе Америки, и в Большой игре в Азии, надо было учиться говорить о том, что происходило на ее огромных внутренних пространствах. Историкам, освоившим язык мировых империй, нужно было приспособить иностранную идею колонизации к просторам провинциальной России. Концептуальный прорыв в этом деле совершил московский историк Сергей Соловьев. Ведя свою генеалогию как историка прямо от Шлёцера и координируя свои действия с министром просвещения Уваровым, он вступил в яростную полемику с Хомяковым и славянофилами, которых назвал «антиисторическим направлением». Применяя дискурс колонизации к допетровской России, Соловьев отрицал само различие между колонизирующими и колонизируемыми: «То была обширная, девственная страна, ожидавшая населения, ожидавшая истории: отсюда древняя русская история есть история страны, которая колонизируется» (1988: 2/631).

Соловьев сформулировал эту поразительную фразу в своем обзоре древнейшей Российской истории. Если нет смысла разграничивать субъект и объект российской колонизации, зачем

это делать? Соловьев живо описывал заботы страны, которая колонизируется:

Населить как можно скорее, перезвать отовсюду людей на пустые места, приманить всякого рода льготами; уйти на новые, лучшие места, на выгоднейшие условия, в более мирный, спокойный край; с другой стороны, удержать население, возвратить, заставить других не принимать его — вот важные вопросы колонизирующейся страны (1988: 2/631).

Для колониального сознания нет большей дистанции, чем между колонией и метрополией. Как может страна колонизовать сама себя? Соловьев понимал эту проблему и специально подчеркивал ее:

Но рассматриваемая нами страна не была колония, удаленная океанами от метрополии: в ней самой находилось средоточие государственной жизни; государственные потребности увеличивались, государственные отправления осложнялись все более и более, а между тем страна не лишилась характера страны колонизирующейся (1988: 2/631).

Для русского языка эта возвратная форма глагола, «колонизоваться», необычна, как и для других европейских языков. На русском она звучит безлично, но сильно и парадоксально. Несмотря на этот лингвистический факт или благодаря ему, Соловьев и его ученики постоянно употребляли именно эту формулу, «колонизируется». В своей многотомной истории Соловьев разъяснял, что колонизация России последовательно шла с юго-запада на северо-восток, от берегов Дуная к берегам Днепра и далее. На севере древнерусские племена продвигались к Новгороду и Белому морю, на востоке захватили Верхнюю Волгу и земли вокруг Москвы. Там они основали Российское государство, но колонизация продолжалась дальше на восток и да-

лее в Сибирь. Важно, что Соловьев не применял идею «страны, которая колонизируется», к новой истории России. В последних томах его «Истории», посвященных «новой», а не «древней» российской истории, термин «колонизация» не встречается.

Марк Бассин (1993) сравнил соловьевскую идею «колонизирующейся страны» с концепцией американского фронта Фредерика Дж. Тернера. Сходства и различия этих идей существенны для российской и американской историографии. Как и американский фронт, внешняя граница российской колонизации была нечеткой, расплывчатой и постоянно перемещалась. Как и в Америке, эта граница была ключевым фактором для имперской культуры. На обоих фронтах особую роль играли преследуемые религиозные меньшинства (Turner 1920; Эткин 1998; Breyfogle 2005). Но между концепциями Тернера и Соловьева есть существенные различия.

Тернер исследовал современные ему события в районе фронта, тогда как Соловьев ограничивал самоколонизацию России древнейшим периодом ее истории, Средневековьем. Это не такое серьезное различие, как может показаться: в этой концепции колонизации нет ничего, что мешает применить ее к новой истории России. Как мы скоро увидим, если на такой шаг не решился Соловьев, то его сделал Ключевский. Внимание Тернера, однако, было сосредоточено на собственной культуре западного фронта, и он детально исследовал механизмы ее влияния на культуру восточных штатов. Соловьев не оставил подобного описания внешней, движущейся границы российской колонизации, но другие историки подробно исследовали отдельные ее части¹. Пионеры пограничных земель — охотник, торговец и сектант — были примерно те же, хоть в России сюда нужно добавить казака; но вторая и третья линии колонизации сильно отличаются. В Америке, согласно Тернеру, на прилега-

¹ Наиболее примечательными мне кажутся следующие работы: Lantzeff, Pierce 1973; Slezkine 1994; Barrett 1999; Khodarkovsky 2002; Sunderland 2004; Breyfogle 2005; Долбилов 2010.

ющих к фронтиру землях последовательно хозяйствовались, по принципу «четырех стадий», охотники, скотоводы, фермеры и индустриалисты. Потом фронтир двигался дальше на запад, и туда же переносилась очередь из этих четырех стадий. В России было иначе. На протяжении веков граница колонизации все двигалась на восток, оставляя позади огромные пространства столь же девственными, как и прежде. В дальнейшем эти пространства приходилось колонизовать снова и снова. У американского фронтира и российской колонизации — разные топологии: первый непрерывен, как линии фронта и траншеи современных Тернеру войн; вторая оставляла разрывы, карманы и складки. Возможно, русский опыт ближе другому тезису об американской экспансии — идее Уолтера Уэбба о «Великой американской пустыне» между восточным и западным побережьями Северной Америки, которая оставалась неосвоенной долго после того, как линия фронтира пересекла ее всю. Как показал Уэбб, для культивации прерий требовались иные навыки и орудия, чем для заселения лесов, более понятных европейцам. Поэтому колонизация Америки напоминала не плавное движение линии с востока на запад, но прыжки, возвраты, бурные движения по краям и долгие паузы в середине (Webb 1931).

От Финляндии до Маньчжурии земли Северной Евразии, покоренные российским сувереном, сложно было наносить на карту; еще труднее было исследовать народы, их населявшие (Widdis 2004, Tolz 2005). По военным и торговым соображениям, земли и народы на границах, где экспансия останавливалась ввиду равного противника, всегда оказывались более известными, чем земли внутри страны. Хотя на разных участках огромной границы внешней колонизации России возникало множество зон, где колонизаторы сотрудничали, соперничали и гибридизовались с колонизируемыми, эти смешанные культуры были локальными, сильно различались между собой и далеко отстояли друг от друга во времени и пространстве. Создать единое этносоциологическое описание всех этих культур в рамках одного труда, как это сделал Тернер с американским фронти-

ром, кажется невозможным; никто и не ставил перед собой такой задачи. С помощью пороха, алкоголя и бактерий русские уничтожили, вытеснили или ассимилировали многие народы — соседей, конкурентов, союзников, врагов. Но этот процесс растянулся на столетия. Волны авантюры и насилия, тяжкого труда и массового скрещивания катились от центра России к движущимся границам колонизации; оттуда возвращались колониальные товары и знания. В культурном отношении российский фронт был скорее скудным, зато в географическом — очень обширным. Как бы ни изменяло его время, он всегда растягивался на огромные пространства. В его пределах регулярные переходы от охоты к скотоводству и от сельского хозяйства к промышленному развитию были скорее исключением, чем правилом. Часто единственным выгодным бизнесом на многие века оставалось звероловство; иногда на земле, не знавшей плуга, сразу вырастали города.

Развиваясь центробежно, бурная жизнь на движущихся границах колонизации способствовала развитию экономических центров России, от Новгорода до Москвы и Санкт-Петербурга. Но даже и российские столицы были основаны на территориях, чужих для их основателей. Новгород и Киев были столь же иноземными для правивших там варягов, как Санкт-Петербург — для основавших его москвитов. От границ и до столиц, пространство внутренней колонизации простиралось по всей России.

Щапов и «зоологическая экономия»

Значительное влияние на идею российской колонизации оказал историк Афанасий Щапов, главные работы которого были написаны не в бытность его университетским профессором, а в то время, когда он был государственным чиновником и политическим ссыльным. Он первым представил колонизацию не как бурную и победоносную авантюру, а как

кровавый, подлинно политический процесс. В нем были жертвы и победители, и задачей историка было разглядеть тех и других. Будучи в конце 1850-х профессором истории Императорского Казанского университета, Щапов разбирал архив Соловецкого монастыря, перевезенный в Казань во время подготовки к Крымской войне. В этом же северном архиве, уцелевшем в Казани, ведущий историк следующего поколения, Василий Ключевский, собрал материал для своей первой монографии о «монастырской колонизации» российского Севера. Первая написанная им рецензия была на работу Щапова, о котором Ключевский был «самого высокого мнения» (Нечкина 1974: 434).

К тому времени Щапова уже не было в Казани. В 1861-м он был арестован за подстрекательство к бунту, но потом помилован царем и, более того, назначен на чиновничью должность в Министерстве внутренних дел. Позже Щапов был сослан в Сибирь, где продолжал писать ревизионистские статьи, публикуя их в столичных журналах. Соглашаясь с Соловьевым, что российская история была историей колонизации, Щапов описывал этот процесс как «вековое напряжение физических сил народа... в тысячелетнем распространении колонизации и агрикультуры среди лесов и болот, в борьбе с финскими и турко-монгольскими племенами...» (1906: 2/182). Родившийся под Иркутском сын русского дьякона и бурятки (в Сибири таких людей называли «креолами»), Щапов подчеркивал роль смешения рас сильнее, чем другие российские историки. Ему помогало всеобщее в середине XIX века увлечение колониальной этнографией, которое Щапов перенял, в характерно спекулятивном ключе, от французских авторов. Зато Щапов вполне оригинален как первопроходец экологической истории. Он подробно описывал два направления русской колонизации: пушную, в ходе которой охотники постепенно истощали популяции пушных животных, продвигаясь все дальше в глубь Сибири и на Аляску, и рыбную, которая снабжала Центральную Россию пресноводной и морской рыбой и икрой.

Создавая свою концепцию «зоологической экономии», Шапов считал пушнину ключом к российской колонизации (1906: 2/280—293, 309—337). От Рюрика и до Ивана Грозного богатство России измерялось мехами. Бобры манили славян вверх по финским рекам, серая белка обеспечила богатства Новгорода, соболь звал московитов в бесконечную Сибирь, морская выдра довела их до Аляски и Калифорнии (см. главу 5). Колонизация для Шапова не несла отрицательного смысла; этот любимый им термин встречается почти на каждой странице его многословных и страстных текстов. За промышленниками шли, часто не по своей воле, ссыльные, казаки, крестьяне. «Сельскохозяйственная колонизация», писал Шапов, следовала за «пушной» и постепенно вытесняла ее. В экологическом отношении колонизация означала обезлесение. Вырубая леса для своих подсобных хозяйств, промышленники не знали, что они уничтожали именно то, что интересовало их в далеких и холодных землях, — пушных зверей. Движущей силой российской колонизации, по Шапову, были не меч и ружье, но топор и следовавший за ним плуг. Но им всем предшествовали лук и капкан. Шапов понимал российскую колонизацию как ряд параллельных историй — переселение людей, уничтожение животных, культивация растений и многогранный процесс открытия, заселения, возделывания и истощения земель. Такой концепции, многомерной, экологической и человеческой, до Шапова не создал никто.

Ключевский и современность

Десятилетия спустя Василий Ключевский повторил девиз своего учителя Соловьева, пересмотрев его в одном важном отношении: «История России есть история страны, которая колонизируется... То падая, то поднимаясь, это вековое движение продолжается до наших дней» (1956: 1/31). Если для Соловьева колонизация России началась в древности и закончилась в

Средние века, то у Ключевского она продолжалась и далее, захватывая современность. Перерабатывая свой труд в 1907 году, он добавил длинный фрагмент о переселениях в Сибирь, Среднюю Азию и на Дальний Восток. Пользуясь новыми железными дорогами, эти массовые переселения в начале XX века организовывала империя. Ключевский считал их новейшей формой все того же «векового движения» российской колонизации. Других значительных правок в новое издание «Курса Российской истории» Ключевский не внес: переселения оказались единственным фактом современности, достойным упоминания в учебнике истории. Таким образом, Ключевский применял идею колонизации ко всему длинному времени российской истории, от первых ее шагов до начала XX века. Будучи самым влиятельным российским историком, Ключевский утверждал, что «колонизация страны была основным фактом нашей истории» и что привычные периоды российской истории — на деле «главные моменты колонизации» (1956: 1/31—32). Повторяя и видоизменяя формулу Соловьева о России как стране, «которая колонизируется», Ключевский стремился расширить понятие колонизации, довести его до современности и усилить его критический характер. То было личным достижением Ключевского, хотя здесь можно усмотреть и влияние Шапова или их общего учителя, Ешевского.

Говоря о древних славянах, Соловьев дал определение национального характера, которое потом часто применяли к русским:

От такой расходчивости, расплывчатости, привычки уходить при первом неудобстве происходила полуседлость, отсутствие привязанности к одному месту, что ослабляло нравственную сосредоточенность, приучало к исканию легкого труда, к безрасчетливости, какой-то межеумочной жизни, к жизни день за день (1988: 2/631; см. также: Bassin 1993: 500; Sunderland 2004: 171).

Ссылаясь на этот портрет, Ключевский доказывал, что эти нелестные характеристики «русского характера» возникли именно как следствие колонизации — ситуации «гостя в собственной стране», и часто нежеланного гостя. В этом виден критический потенциал идеи российской колонизации, который осознавали, хотя и не вполне развили, ее отцы-основатели. Именно как «своеобразное отношение населения к стране», утверждал Ключевский, колонизация действовала «в нашей истории целые века» и действует «поныне». В колонизации Ключевский видел «основное условие», которое вызывало «своим изменением... смену форм общежития» в российской истории.

У самоприменимых суждений особенная логика. Если X делает Y с Z , как, например, в утверждении «Британия колонизовала Индию», это подразумевает, что X и Z уже существовали до того, как произошло действие Y . Но такая прямолинейная логика не работает в случае российской колонизации, потому что, как утверждали Соловьев и Ключевский, в ходе колонизации Россия создала саму себя. В их формуле «Россия колонизовала саму себя», X сделало Y с X . До Y не было X , и нет Z , которое изначально отличалось бы от X . Все они возникли одновременно. Как писал Ключевский, «область колонизации» в России «расширялась вместе с государственной ее территорией». Поскольку колонизованные области не сохраняли особый статус, а поглощались государством, в России нет причины различать колонии и метрополию. По мере того как расширялось государство, Россия колонизовала не только вновь освоенные территории, но и саму себя. Более того, центральные территории неоднократно подвергались процессу колонизации.

История России не есть история страны, которая колонизирует, и она не есть история страны, которую колонизируют. «История России есть история страны, которая колонизируется». Спокойный, академический повтор в начале этой формулы никак не готовит к ее парадоксальной, деконструктивной концовке.

Однако формула устоялась и, более того, стала каноном. На деле и повтор в начале формулы («История России есть история страны») не тавтология. Соловьев и Ключевский предупреждают читателя, что в данном случае они говорят о России как о стране, а не как о народе, государстве или империи. В русском, как и во многих других языках, слово «страна» стоит между географической «землей» и политической «нацией». Именно это слово и было нужно историкам. Они не могли передать свою мысль без риторического повтора, потому что альтернативное определение (например, «История России состояла в колонизации самой себя») предполагало бы, что Россия существовала до этой самоколонизации. Но их замысел состоял в описании того циклического, рефлексивного или возвратного процесса, который создал и продолжает создавать Россию, осуществляющую этот самый процесс. Отполированная многократным употреблением, эта формула не могла выглядеть по-другому. Потому ее и повторяли, как мем.

Школа колонизации

Последователи Ключевского различали разные способы колонизации России: «свободную колонизацию», которую вели частные люди — беглые крепостные, солдаты-дезертиры, гонимые сектанты; «военную колонизацию», ставшую результатом военных кампаний, от взятия Новгорода и Казани до операций на Кавказе, в Средней Азии, на Амуре; «монастырскую колонизацию», сосредоточенную вокруг крупных православных обителей, которые владели тысячами крепостных, вели торговлю и создавали фактории; и «казацкую колонизацию», которая осуществлялась сословием, созданным империей специально для задач внешней колонизации и пограничной службы (но по мере продвижения границ на восток, превращавшегося в касту, неспособную к внутренней колонизации). Историки рассказывали о том, как пути России на восток были проложены про-

мышленниками, благословлены монахами, укреплены казаками и культивированы поселенцами. Цель школы Ключевского была в том, чтобы создать систематизированный и взвешенный обзор этих событий, выявляя цивилизационную миссию России на просторах Евразии. Верные делу русского национализма, ученики Ключевского склонны были недооценивать массовое насилие, которое несли с собой такие формы колонизации. Хотя именно местное сопротивление и колониальное насилие сделали необходимым все эти частоколы, стены и башни острогов, кремлей и монастырей, развитие которых было детально описано школой Ключевского, чувствительность к такому насилию и сострадание к его жертвам пришли с новым поколением историков, переживших российскую революцию. Став ее участниками, многие из них были арестованы или эмигрировали, но самые удачливые продолжали писать.

Ученик Ключевского, Павел Милюков, десятилетиями соединял историю с политикой. В молодости он успел принять участие в военных действиях на Кавказе (1877), а став преподавателем Московского университета, был уволен и осужден за политическую деятельность в столице (1895). С победой революции в феврале 1917-го он стал министром революционного правительства, а после большевистского переворота принял участие в Гражданской войне. Потом он многие годы играл роль политического лидера антисоветской эмиграции. В своем многотомном курсе российской истории Милюков лучше своих предшественников показал масштаб насилия, которого требовал процесс колонизации. Соединяя историческую традицию, полученную им от его предшественников, от Шлёцера до Ключевского, со столь же сильной этнографической традицией, развивавшейся от Гердера до Щапова, Милюков представил детальное исследование народов, которые были ассимилированы или уничтожены русскими в процессе их колонизации. Соединяя источники из государственных архивов с записками путешественников и солдат, а также с местными легендами, фольклором, названиями рек и селений, он восстанавливал

имена исчезнувших народов, наносил их на географическую карту и пытался вернуть в историю. Для Милюкова это были и долг исторической памяти, и форма сопротивления режиму, творившему новое насилие в России. Понятие колонизации играло центральную роль в работах Милюкова. В статье, написанной им для Российской энциклопедии как раз в год его ареста говорится: «Колонизация России русским племенем совершалась на всем протяжении русской истории и составляет одну из самых характерных черт ее» (1895: 740).

Учеником Ключевского был и Михаил Покровский, который взял на себя непростую задачу подвергнуть ревизии наследие имперской историографии, приспособляя его к новым условиям, созданным большевиками, к которым принадлежал и он сам. Среди других своих идей он ценил «ересь», уподоблявшую развитие российской политэкономии «колониальной системе», как ее изображал Маркс в первом томе «Капитала». Скорее критик и полемист, нежели теоретик или архивный историк, Покровский видел в любом историческом сочинении кривое зеркало идеологии, подлежащей толкованию с марксистских позиций. Посвятив много язвительных страниц критике русских либеральных историков, Покровский подчеркивал влияние на них гонимого Щапова, считая учеником этого «материалиста» и самого Ключевского. Империя Романовых, писал Покровский, всегда оставалась «колониальной державой наиболее примитивного типа», а потому требовала экстенсивного развития на восток; так он объяснял войны на восточных рубежах империи. Сибирь, Кавказ, Средняя Азия — «громадный восточный пузырь, тяжелым грузом висевший на русском народном хозяйстве» (недавняя книга о Сибири [Hill, Gaddy, 2003] буквально повторяет этот образ). До тех пор пока у империи была возможность экстенсивного развития, она могла избегать социальных реформ и технического прогресса, поэтому именно «в колонизаторской деятельности Романовых» состоит причина российской отсталости (Покровский 1933: 248). Идеи Покровского о сущностном различии между двумя видами ка-

питала, торговым и промышленным, давно устарели, но в его обличениях российской колонизации узнали бы свои идеи многие постколониальные историки, родившиеся столетием позже. Больше интересовавшийся историей международных отношений, чем социальными изменениями в России, Покровский писал и о попытках западных держав колонизовать Россию через систему банковского кредита. Занимаясь процессами внешней колонизации, он не воспользовался возможностями, которые мог бы ему дать марксистский анализ внутренней колонизации имперских пространств; а ведь на эти возможности прямо указывал Ленин (см. главу 1). Вступив в азартную полемику с Троцким и, кажется, снискав в ней симпатии молодых историков-коммунистов (см. главу 4), Покровский не знал, что после смерти подвергнется нелепой, но разрушительной критике Сталина. У меня нет сомнений, что основанием для кампании 1938 года, в которой школа Покровского объявлялась «базой шпионов, вредителей и террористов», были вполне реальные различия между агрессивным сталинским империализмом и освободительными, деколонизаторскими идеалами ранних лет революции. От них, именно как от идеалов, не должно было остаться и следа.

Дожив до начала деколонизации и пережив трагический опыт революции, коллективизации и террора, ученики Ключевского по-новому понимали политический смысл своей работы. Самый видный из них, Матвей Любавский, до 1917 года был ректором Императорского Московского университета. Он остался в России и был арестован в 1930 году по так называемому «делу историков», так что свою последнюю книгу, «Обзор истории русской колонизации», Любавский написал в политической ссылке в Башкирии. В ней он еще раз повторил мысль, что «русская история есть в сущности история непрерывно колонизирующей страны». Вместо возвратной формы, которую использовали его предшественники, он применил более простую конструкцию: «непрерывно колонизирующей» вместо «колонизирующей саму себя». Изменение небольшое, но

существенное: оно вполне соответствует концепции Любавского, выявлявшей значение внешней колонизации в формировании Российского государства (Любавский 1986). Доведя свое исследование до конца XIX века, Любавский включил в него и главу о колонизации балтийских земель. Он, наверно, видел иронию истории в том, что книга о колонизации заканчивалась главой о территории, на которой была возведена столица империи. Грустная ирония была и в том, что ведущий московский историк создал свою главную книгу в Башкирии — одной из тех колонизованных областей, о которых писал. Книга осталась в рукописи, но уцелела и была опубликована полстолетия спустя.

Более молодой ученый Евгений Тарле, тоже арестованный по «делу историков», был вскоре выпущен на свободу и стал крупнейшим советским историком. Он написал свой главный труд (Тарле 1965) о европейском колониализме, высшем проявлении империализма, которому непоследовательно противодействовала Российская империя и последовательно — Советский Союз. Сочувственная к Третьему миру бывших колоний и критическая к Первому миру империализма, эта книга советского историка оставляла не заполненной ту же гигантскую лакуну, что и книги Саида, а потом и постколониальные исследования, — Второй мир. Океанская разница между Покровским, Любавским и Тарле — их трудами в той же мере, что и их судьбами, — иллюстрирует диапазон интерпретаций центрального для них понятия, колонизации, и общего наследия, школы Ключевского (Эткинд 2002).

В поздний имперский период школа колонизации доминировала в российской историографии. Из лекций ее идеи и понятия перешли в учебники, оттуда в энциклопедии. Российские историки написали подробные труды о том, как Россия захватила Сибирь, Крым, Финляндию, Польшу или Украину. Однако эти территории они редко называли российскими колониями, предпочитая в целом говорить о России как «стране, которая коло-

низуется». Примечательным исключением в этом отношении является еще один политический ссыльный, Николай Ядринцев, чья книга «Сибирь как колония» (2003, первое издание — 1882) стала замечательным примером критической, антиимперской истории. Первое в украинской литературе упоминание того, что Украина являлась российской колонией, принадлежит к 1911 году (Velychenko 2012). Но труды Щапова и Ядринцева не вошли в основное русло российской историографии. Говоря, что Россия колонизовала саму себя, Соловьев и Ключевский не отрицали завоевания Сибири, Кавказа или Польши, но и не протестовали против них. На академическом языке, однако, их формулы критиковали специфический характер Российской империи: «По мере расширения территории вместе с ростом внешней силы народа все более стеснялась его внутренняя свобода», — писал Ключевский (1956: 3/8). «Государство пухло, а народ хирел» (1956: 3/12), — писал он, обобщая эту ситуацию законом обратного соотношения между имперским пространством и внутренней свободой. Все это вкладывалось в короткую и повторяющуюся формулу «страны, которая колонизируется».

Соединив субъект и объект, идея самоколонизации дала русским историкам сложный и парадоксальный, но полезный язык. Дискурс самоколонизации составил всего лишь один из периодов в российской историографии, хотя господствовал он долго и оказался живуч. Работая в эпоху колониальных империй и занимаясь страной, которая соперничала с этими империями, ведущие российские историки считали язык колонизации нужным и подходящим для своих исследований России. Тем не менее они радикально переосмыслили западную идею колонизации. Во-первых, школа Соловьева—Ключевского поняла колонизацию как процесс внутренний и направленный на самого субъекта, а не только как внешний процесс, направленный на далекий и чуждый объект. Во-вторых, историки этой школы амбивалентно осуждали и одобряли процессы колонизации, что отличается от критической традиции британской и французской историографии и особенно от идеологизирован-

ного постколониального подхода. В XIX веке российские историки не обязательно придавали «колониальной» терминологии критический смысл. Даже ссыльный Шапов восхищался героизмом тех, кто колонизовал огромную страну, но осуждал массовые убийства, ими же осуществленные. Когда Милюков, самый смелый критик российской колонизации, стал министром иностранных дел, он превратился в «ястреба», для которого целью Первой мировой войны было завоевать для России Константинополь. И все же на столетнем пространстве русской историографии, от Погодина и Соловьева до Милюкова и Любавского, заметна постколониальная динамика: имперское самовосхваление колониационных процессов становилось все менее актуальным, а обращение к памяти колонизованных, ассимилированных или уничтоженных народов, наоборот, вызывало все больший интерес у историков.

С разгромом Покровского советские историки отказались от идеи, что дискурс колонизации приложим к российской истории: он не соответствовал классовому подходу и идее союза социалистических республик. В России конца XIX века колонизация могла считаться прогрессивным явлением, но в Советском Союзе ее стали воспринимать как реакционный процесс, который именно поэтому имеет мало общего с отечественной историей. Биограф Ключевского считала его концепцию российской колонизации одной из самых слабых идей своего учителя (Нечкина 1974: 427). Но парадигма колонизации продолжала жить в работах почти забытой школы политической географии, во главе которой стоял Вениамин Семенов-Тянь-Шанский (1915; Полян 2001). Советское освоение Арктики продолжалось под именем колонизации, к чему приложили руку некоторые историки школы Ключевского (Очерки 1922; Holquist 2010a). Закономерным образом колониальная терминология совсем исчезла из официального дискурса в начале 1930-х, когда советское правительство вело самую массовую колонизацию России самыми жестокими в ее истории методами — коллективизацией и ГУЛАГом.

Историки школы колонизации не специализировались на критике имперских устремлений России. Их историографическая традиция носила светский, либеральный и националистический характер. Как и российские монархи, эти историки участвовали в глобальном процессе «обмена знаниями между империями» (Stoler 2009: 39), соединявшем Российскую и другие империи отношениями выборочного и иногда взаимного подражания. Записные книжки Ключевского, признанного лидера российской исторической науки, поражают читателя политическим отчаянием, которое глубже спрятано в его курсе лекций: «В Европе царей Р[оссия] могла иметь силу, даже решающую; в Европе народов она — толстое бревно, прибиваемое к берегу потоком» (Ключевский 2001: 406). Со середины XIX до начала XX века историки трех поколений, чьи идеи и учебники составили основу российской историографии, мало в чем соглашались между собой. Но была одна формула, которую они согласно повторяли друг за другом: «Россия — это страна, которая колонизируется».

Глава 5

Баррели меха

Историки пишут от прошлого к настоящему, но мыслят от настоящего к прошлому. В XXI веке у России есть достижения и есть проблемы. Как и многие другие, я считаю, что зависимость России от экспорта нефти и газа стала источником и первых, и последних (см., например: Ross 2001, 2012; Friedman 2006; Goldman 2008; Gelman, Marganiya 2010). Соединяя новейшие идеи институциональной политэкономии с забытыми интуициями Афанасия Щапова, в этой главе я хочу показать, что ресурсная зависимость существовала в России задолго до нефти и газа и что эта зависимость сформировала саму ситуацию внутренней колонизации.

Protego ergo obligo

Представим себе страну, в которой есть какой-то ценный ресурс, например редкий металл, и нигде больше на всей земле этого металла нет. Цена на этот металл будет мало зависеть от труда, затраченного на его добычу. Цена на него будет зависеть от спроса, который формируется далеко за границей этой страны, и вообще за границами понимания. В такой стране не будет работать многое, чему учит классическая политэкономия, например трудовая теория стоимости. Государство здесь не будет зависеть от налогообложения; наоборот, население такого государства будет зависеть от перераспределения доходов, полученных монопольной торговлей данным ресурсом. У такого государства будет, наверно, множество врагов, а значит, возникнут серьезные издержки, связанные с безопасностью. Вместо обычных институтов налогообложения, решения конфликтов и по-

литического представительства, в ресурсозависимом государстве сложится аппарат безопасности, необходимый для защиты транспортных путей и финансовых потоков, и появится административная система, которая перераспределяет материальные блага, оставляя себе нужную долю.

Политические философы всегда знали, что те, кто обеспечивает безопасность собственников, склонны захватывать контроль над их собственностью. «*Protego ergo obligo — это cogito ergo sum государства*», — писал Карл Шмитт (Schmitt 1976: 56; см. также: Bates 2011). В нашем гипотетическом случае это означает, что группа, торгующая ресурсом, и группа, которая защищает государство, сливаются до неразличимости. Кроме классической монополии на легитимное насилие, как ее определял Макс Вебер, в таком государстве складывается монополия на легитимные ресурсы. Таковую двойную монополию можно сравнить с лентой Мёбиуса: одна сторона управляет ресурсами, другая — безопасностью, и обе незаметно переходят друг в друга (Etkind 2009).

Представим еще, что исторически сложилось так, что государство контролирует гораздо больше территории, чем та, на которой добывается ресурс, и населения там гораздо больше, чем нужно для его добычи. Возникают два класса граждан: небольшая элита, которая добывает, защищает и торгует ценным ресурсом, и все прочие, чье существование зависит от перераспределенной ренты с этой торговли. Такая ситуация создает жесткую структуру, похожую на кастовую. Государство полностью зависит от первой группы; более того, эти незаменимые люди и являются государством. Но оно не обязательно игнорирует остальной народ; из опасений восстания или для поддержки нужной демографии государство предоставляет народу безопасность и другие блага, оставшиеся после удовлетворения собственных потребностей государства. Человеческий капитал тут избыточен; не он определяет богатство государства. Наоборот, в ресурсозависимой стране государство оказывается благотворителем, а население становится предметом его неусыпной филантропии.

В соседней стране, которую я назову трудозависимой, богатство нации создается трудом граждан. Тут нет другого источника благосостояния, чем конкурентоспособная работа населения. В этой экономике действует старая аксиома: стоимость создается трудом. Государство облагает этот труд налогом и не имеет других источников дохода. Тут не только граждане заинтересованы в своем образовании и здоровье, но и государство, поскольку чем лучше работают граждане, тем больше они платят налогов. Но вот эти счастливые граждане обнаруживают, что рост их экономики зависит от ресурса, которого у них нет. Чем больше этого ресурса они приобретают у соседа, тем выше его цена. Так труд становится все дешевле относительно ресурса, и оба государства оказываются ресурсозависимыми. Теперь ничто не изменит эту зависимость, пока привычные к творческому труду люди не сосредоточат свою деятельность на том, чтобы заменить дефицитный ресурс каким-то другим, который имеют в изобилии.

С нефтью этого еще не произошло. Но несколько столетий назад вся наша история в самой полной и выразительной форме развернулась с другим ценным ресурсом.

Дивное чудо

Одна запись «Повести временных лет», датированная 1096 годом, живо рассказывает о давнем ресурсном проклятии:

Дивное чудо мы нашли, о котором не слыхивали раньше... есть горы, упирающиеся в луку морскую, высотой как до неба, и в горах тех стоит крик великий и говор, и кто-то сечет гору, желая высечься из нее... И не понять языка их, но показывают на железо и делают знаки руками, прося железа, и если кто даст им нож ли, или секиру, они в обмен дают меха (1950: 369).

Эти люди, народ югра, были нечисты, рассказывает «Повесть», и потому Александр Македонский с Божьей помощью запер их в горах Северного Урала. Они выйдут на свободу, когда придет конец света, до тех же пор их участь — торговать пушниной в обмен на железо. Летописец воображает их торговой машиной, не имеющими дара речи недоллюдьми. Не говорят они потому, что для их промысла язык не нужен. Для новгородцев не было другого смысла ездить в Югру, кроме как за пушниной.

Если не считать упоминания об Александре Македонском, этот рассказ недалек от истины. В поисках пушнины потомки Рюрика колонизовали огромные экзотические просторы Севера, которые арабские путешественники называли «страной тьмы» (Slezkine 1994; Martin 2004). Используя бартер и принуждение, русские промышленники загнали народы арктического Севера в торговую систему, которая уничтожала и животных, и людей. Новгородцы думали, что такая торговля будет продолжаться до конца света, и на самом деле ее прекращение означало конец Великого Новгорода. Пушнина, составлявшая «главный экспортный товар Новгорода XIV—XV веков» (Хорошкевич 1963: 121, 338), требовала колонизации восточных земель. Московское государство продолжило эту колонизацию и распространило ее намного дальше, что привело к накоплению огромных богатств и уничтожению малых народов.

Пушнина была конвертируемой валютой северных стран, главной статьей их экспорта и источником дохода. В отличие от других доступных ресурсов, например древесины или зерна, «мягкая рухлядь» была легким и ценным грузом, который можно было вывозить по суше и морю, обменивая на жизненно важные товары и технологии. Именно меха были в средневековой Руси символами богатства и власти. Первым у восточных славян словом, обозначающим денежную единицу, было «куна», куница. Символом власти московских царей стала шапка Мономаха, отороченная соболем. На изображениях московской знати мы неизменно видим шубы, шапки, опушки и ото-

рочки, сделанные из соболя, бобра, ласки и куницы. Все это не уникально: шотландская корона была оторочена мехом горноста́я; для официальных портретов английские короли часто позировали в меховых мантиях; остров Манхэттен и река Гудзон осваивались голландцами ради экспорта бобровых шкур в Европу; и очень долго символом принадлежности к британской элите оставался цилиндр, сделанный из меха бобра. Но с XIV века спикер британской палаты лордов сидел и до сих пор сидит на мешке шерсти, источнике английских богатств.

Первым предметом внешней торговли новгородских купцов была серая белка, которую они собирали в качестве оброка с собственных имений. Ее били луком с тупыми стрелами, и с промыслом мог справиться любой крестьянин. На огромных территориях от Новгорода до Суздаля поставки беличьих шкур наряду с зерном зачитывались в крестьянский оброк, составляя определенную его долю, часто значительную. По мере истощения белки или (что кажется более вероятным) роста объемов экспорта новгородским отрядам приходилось двигаться в чужие земли, которые они считали ничейными, и заставлять местные племена добывать шкурки. К XVI веку экспорт белки из Новгорода приобрел масштабы, которые историк называет «грандиозными»: одна партия белки состояла из 100 тысяч шкурок, а в целом Хорошкевич (1963: 52) оценивала новгородский экспорт в полмиллиона беличьих шкурок в год. В 1391 году Лондон импортировал 350 960 беличьих шкурок. Только на один костюм для Генриха IV у лондонских скорняков ушло 12 тысяч беличьих шкурок, отнятых у диких племен за тысячи миль к востоку (Veale 1966: 20, 76). В конце XIV века для пошива нескольких парадных мантий для герцога Беррийского, сына французского короля Иоанна, было закуплено 10 тысяч шкур куницы. Средневековые моды на дорогие меха менялись, но беличий мех, дешевый и легкий, в основном был товаром массового спроса. В течение трех веков он устойчиво лидировал в новгородском экспорте; другие меха (горноста́й, бобер, соболь, лиса, ласка) ценились гораздо выше, но по объемам не состав-

ляли конкуренции белке. После нее вторым по значению экспортным товаром торговой республики был воск. В соответствии с логикой колониальной эксплуатации скорняжный промысел — обработка шкур и пошив из них готовых товаров — в Новгороде не развивался. Ему активно препятствовали покупатели-монополисты, немецкие купцы, так что скорняки работали только на местный рынок.

Торговля пушниной была одним из главных занятий Ганзейского союза. В эту торгово-политическую лигу входил и Новгород, где был основан «немецкий двор», крупная фактория со складами и причалами. После покупки и сортировки меха немцы перевязывали шкурки, а связки упаковывали в бочки. Весной эти баррели меха переправляли путем Рюрика, по Волхову через северные озера в Неву и дальше по Балтийскому морю в Любек и Бремен, откуда русский мех доставлялся дальше — в Лондон, Париж, Флоренцию. В обмен русские «гости» получали серебро, оружие, ткани, соль и вино, которыми торговали в Новгороде и сопредельных княжествах; они импортировали также пиво, сельдь и цветные металлы, а когда в городе случался голод, и зерно. Пушной промысел обеспечивал значительную часть серебра, которое было необходимо торговой республике для оплаты наемников и выплаты дани татарскому хану. Ему, впрочем, платили также и мехом.

До конца XV века белок добывали не только под Новгородом, но и под Устюгом, Суздалем, вокруг Онеги и Белого озера; тогда и бобров ловили около Москвы (Хорошкевич 1963; Павлов 1972: 57, 67). Под Новгородом массовый промысел белки организовывали сами землевладельцы — бояре и монастыри, которые сбывали шкуры через посредников-купцов. Но охота смещалась к востоку, и купцы сами отправлялись туда с вооруженными отрядами, собирая дань с югорских племен. В этом промысле состоял механизм возвышения новгородского купечества, которое стало необычно сильной, вооруженной корпорацией, независимой от родовой аристократии и имевшей свои, торговые представления о мире и власти. В поисках пуш-

нины новгородские отряды исследовали обширные земли, лежащие далеко на восток и север, вплоть до Белого моря, Уральских гор и Западной Сибири. Промысел был опасен: в 1445 году племена Югры нанесли поражение трехтысячному отряду новгородцев (Хорошкевич 1963, 52).

Хотя Россия не была монопольным поставщиком пушнины, с обезлесением Европы этот источник становился все более важным. В конце XIV века почти весь мех ввозился в Лондон ганзейскими купцами, большая часть — из Новгорода. Но в XV веке Лондон стал импортировать меньше пушнины. Одни авторы объясняют это сменой западной моды, другие говорят об оскудении русских лесов. Трудно, однако, поверить в то, что вездесущую белку можно было выбить на огромном пространстве от Новгорода до Урала; к тому же ничто не мешало новгородцам продвигаться дальше на восток, если бы это сулило выгоду. Вероятное объяснение кризиса новгородского экспорта в том, что белка была товаром массового потребления и в этом качестве не могла выдержать конкуренции с овечьей шерстью, товаром надвигавшейся промышленной революции. Хотя ресурсозависимое государство больше всего боится истощения сырья, его кризисы чаще происходит из-за падения спроса на него, вызванного новыми технологиями.

Хотя Ганза торговала на Балтике и многими другими товарами, ее распад в XVI веке произошел вслед за снижением объемов меховой торговли. Падение прибылей повлекло за собой эскалацию конфликтов между русскими княжествами. Осада и оккупация Новгорода московскими войсками в 1478 году происходила на фоне снижения цен на меха и уменьшения пушного экспорта в Европу.

Но в это время в истории пушного промысла началась новая глава. На смену новгородской белке пришел сибирский соболь, предмет роскоши, который не конкурировал с шерстью. Путь в Сибирь, страну соболей, лежал через Казань. Московские войска захватили ее в 1552 году, что стало поворотным моментом в истории российской колонизации. В 1581 году

Ермак с 800 казаками добрались до владений сибирского хана, перетаскивая лодки между реками и поднимаясь на веслах вверх по течению, как это когда-то варяги делали в Европе. Историки, поэты и художники воображали эти события по аналогии с другими колониальными предприятиями. Попробую и я.

Все глубже и глубже проникали мы в сердце тьмы. Здесь было очень тихо. Иногда по ночам за стеной деревьев раздавался бой барабанов и катился над рекой. До рассвета слышались слабые отголоски, словно парившие в воздухе над нашими головами... Мы были странниками на земле доисторических времен — на земле, которая имела вид неведомой планеты. Мы могли вообразить себя первыми людьми, завладевающими проклятым наследством... (Конрад 2011: 64).

На третьем году своего сибирского промысла Ермак погиб, но 24 тысячи соболиных, 2 тысячи бобровых шкур и 800 шкур чернобурой лисы были отосланы в Москву (Fisher 1943: 26). Прямая связь открытия и освоения Сибири с пушным промыслом не вызывает сомнений. Во многих отношениях история русской Сибири аналогична истории французской Канады, где многое было похоже, хотя и происходило позже: исключительный интерес первооткрывателей к пушному зверю, быстрое его истощение и перемещение промысла дальше в неизвестные земли, нужда европейских промышленников в сотрудничестве с туземными трапперами, развитие институтов кросс-культурной торговли и рост огромных городов из меховых факторий. Харолд Иннис в знаменитой в свое время книге 1930 года показывал, что бобровый промысел сформировал территорию Канады, местоположение ее городов и другие аспекты ее истории и культуры, в частности характер сотрудничества между туземцами Первых Наций и французскими торговцами, характер банковской системы и циклические паттерны сырьевой зависимости, от бобра к древесине и потом, как мы знаем, к нефти (Innis 1977; Watson 2006).



Илл. 7. Покорение Сибири Ермаком. Василий Суриков. 1895, Русский музей, Санкт-Петербург. Обратите внимание на изобилие огнестрельного оружия у одной стороны, и мехов — у другой.

В Канаде, однако, пушной промысел оставался в частных руках, как это было в Новгороде. Прямое участие Московского государства, а потом Российской империи в организации сырьевого промысла в восточной колонии необычно в колониальной истории. Такая роль государства делала возможным неограниченное применение насилия. Ключом к успеху было огнестрельное оружие, хотя применялось оно только против людей, а для пушного промысла было бесполезным: портило шкуры. Московские гости создавали пушной промысел в несколько этапов. Во-первых, вооруженные отряды отнимали уже выделанные меха. Во-вторых, пришельцы накладывали на туземцев дань в виде определенного количества шкур в год, вынуждая их становиться трапперами. В-третьих, служивые люди создавали в городах и на дорогах таможенные посты, которые снимали пошлину с каждой сделки, обычно десятину, мехами. Коррупция была высокой; взятки и другие поборы съедали большую часть государственных доходов (Bushkovitch 1980: 117). Государству приходилось посылать на северные просторы все больше своих людей, хотя русских там все равно было мало.

Русские прибывали небольшими группами и сами редко охотились на пушных животных. Для ловли зверей и свежевания тушек — занятий, требовавших специальных навыков, — они нуждались в коренном населении, которое традиционно использовало меха для изготовления теплой одежды и строительства жилищ. Но интереса к добыче пушнины в массовых количествах у северных племен не было, как не было и понятий о справедливой цене, о выгоде и накоплении. Только принуждение могло превратить рыбаков или оленеводов в ловцов и охотников. Рассказ о дивном чуде оказался пророческим: коренное население оказалось запертым внутри русской системы пушного промысла. Ясак пушниной брали только с нерусского и неправославного населения; русские платили подушный налог, который взимался деньгами. Пока туземцы поставляли меха, чиновникам было выгоднее поддерживать их «в первобытном состоянии», а не крестить их, создавать для них школы и набирать рекрутов. После крещения они перестали бы платить ясак мехами, а платили бы налог в рублях; разницу знали и промышленники на местах, и чиновники в Петербурге. Впоследствии даже христианским общинам старообрядцев приходилось платить ясак, а не налог: государство пользовалось любой возможностью для того, чтобы сохранять меховые сверхдоходы с «неправославного» населения (Znamenski 2007).

Со всей Сибири ясак поступал в Тобольский Кремль, где сортировался, оценивался и санными караванами переводился в Московский Кремль. Наряду с ясаком, который шел прямо государству, процветала и частная торговля, обкладывавшаяся десятиной, которая тоже поступала в Сибирский приказ. Во многих случаях участники сделок не имели общего языка и боялись друг друга. В XIX веке стороны все еще вели немой обмен, похожий на тот, что описан в «Повести временных лет»:

В течение многих лет чукчи имели дело с русскими только посредством копья. На остро отточенный наконечник чукотской пики они насаживали связку мехов, и русский

торговец мог выбирать: снять ли ее и насадить на ее место справедливый эквивалент в виде упаковки табака, или отказаться от сделки (Kennan 1870: 286).

В Сибири, как позже и в Канаде, пушной промысел отличался от других видов «кросскультурной торговли», потому что требовал сотрудничества европейцев с местным населением, которое многие века жило изолированно и не имело представления о торговле. Ловля зверя не имела длительных циклов, характерных для сельского хозяйства, и не нуждалась в участии женщин (Curtin 1984: 219). Массовое насилие рутинно применялось в отношении животных и людей; в этих условиях бартерная торговля немногим отличалась от кабальной сделки. Русские обменивали меха на железо и другие продукты своей цивилизации, такие как алкоголь, табак, бусы, а позже — капканы и ружья. Советские ученые мягко определяли этот метод торговли как «неэквивалентный обмен», характерный, по их словам, для периода «первоначального накопления капитала». Понимали суть происходящего и местные племена, и пришлые русские. В начале XV века московский монах Епифаний Премудрый, рассказывая о трудностях миссионерской работы в пермских лесах, так передавал слова местного шамана:

У вас, у христиан, один бог, а у нас много богов... Потому они дают нам добычу... белок, соболей, куниц, рысей — и всю прочую ловлю нашу, часть которой ныне достается и вам. Не нашей ли ловлей обогащаются и ваши князья, и бояре, и вельможи? В нее облачаются и ходят, и кичатся... Не наша ли ловля посылается и в Орду, и... даже в Царьград, и к немцам, и к литовцам, и в прочие города и страны, и к дальним народам? (2003: 97).

Охотясь на охотников, завоеватели встречали серьезное сопротивление со стороны многих племен, таких как чукчи, камчадалы и коряки (Ядринцев 2003; Slezkine 1994; Reid 2002;

Вockstoce 2009). Сталкиваясь с вызовом, русские отвечали на него все более жестокими методами, от публичной порки до массовых убийств. Иннокентий Вениаминов, православный епископ Аляскинский и впоследствии митрополит Московский, свидетельствовал, что в 1766 году Иван Соловьев и его моряки убили почти 3 тысячи алеутов — более половины восставшего племени (1840: 188—190). Сотни алеутов были силой переселены на соседний архипелаг, где еще оставались каланы. Ненавидя русских, туземцы отказывались пользоваться их орудиями, например капканами, и продолжали охоту с помощью лука и стрел, проигрывая в конкуренции (Павлов 1972).

Промысловые термины, такие как «капкан», часто имели арабскую или тюркскую этимологию, которая была чужда обеим сторонам этого неэквивалентного обмена. «Ясак» означал особый режим налогообложения — дань натурой, как правило пушниной, которая была предписана далеким сувереном каждому мужчине, члену местного племени. Судя по свидетельствам XVIII и XIX веков, распространенным методом получения пушнины от туземцев был захват заложников-аманатов. Русские держали у себя туземных женщин и детей, предъявляя их мужчинам в обмен на ясак. Если дети доживали до зрелого возраста, они осваивали русский язык; если мальчиков крестили, то они могли брать в жены русских женщин и вносили свой вклад в креолизацию местного населения (Ляпунова 1987: 59). В 1788 году в «аманатах» находилось 500 алеутских детей. Российские императоры, включая просвещенную Екатерину, санкционировали такие методы в официальных документах, считая их верным способом «усмирить туземцев» и собрать ясак (Slezkine 1994). Первое упоминание аманатов встречается в конце XVI века (речь идет о южных степях); во время долгих кавказских войн XVIII—XIX веков аманатов брали все воюющие стороны (Khodarkovsky 2002: 57). Институт похищения заложников-аманатов широко использовался в российской колонизации в Сибири и на Аляске, но был неизвестен в британской, французской и испанской колонизации Америки (Гринев б/г).



Илл. 8. Сбор ясака казаками Енисейской губернии. Акварель неизвестного художника. XIX век, Красноярский краеведческий музей.

Идеи и практики насилия расходились по Российской империи, двигаясь с Кавказа до Аляски.

Как все предприятия Российского государства, пушной промысел был многонациональным делом. Среди российских колонизаторов Сибири были не только этнические русские, но и казаки, ссыльные поляки и шведы, татарские и еврейские торговцы (Glebov 2009). В воображении суверена добыча меха была налогом, местное население понимало ее как вид рабства, а промышленникам приходилось искать среднюю линию, чтобы вести относительно успешную и безопасную торговлю (Ssorin-Chaikov 2003). Постепенно казаки и промышленники учились приводить туземцев «под высокую руку великого государя», не применяя силу, а только демонстрируя ее. Когда вожди местных племен давали клятву служить русскому царю, в их присутствии палили из пушек и мушкетов, а туземцев выстраивали как лейб-гвардию (Lantzeff 1972: 93). Приносить «дары»

вождям племен, поддерживать дружбу с шаманами, воспитывать и даже усыновлять аманатов, вооружать одно племя против другого — таковы были обычные методы принуждать племена к выплате ясака.

Ресурсная зависимость Московского государства все увеличивалась. В 1557 году каждый мужчина в Югре должен был сдать одну соболиную шкуру в год, в 1609 году — уже семь (Павлов 1972: 70). По данным, которые приводит историк сибирской пушной торговли Олег Вилков (1999), всего в Сибири за 1621—1690 годы было добыто более 7 миллионов соболей. Подсчеты американского историка дают меньший итог¹. Среди немногих заимствований из русского в английском появилось слово *sable* — соболь. Дженет Мартин (Martin 2004) считает, что одна соболиная шкура в конце XVI века в Москве стоила 1 рубль. Если взять за основу наименьшие цифры, получится, что доходы от торговли соболем могли составлять 50—100 тысяч рублей в год. Российские источники оценивают доход от торговли пушниной в одну четверть валового дохода Московского государства, но американский ученый приводит более правдоподобную долю в 10% (Fisher 1943: 122), а советский исследователь — в 20% (Павлов 1972). Однако роль пушнины в государственном казначействе была намного больше. Для средневековой экономики оценка валового дохода не имеет большого смысла: в него вошла бы огромная доля товаров, производившихся и потреблявшихся в натуральном хозяйстве, к которому государство не имело непосредственного отношения. Зато доход от пушного экспорта Московское царство использовало исключительно в своих интересах. Соль была вторым важнейшим товаром, но продавалась лишь на внутреннем рынке. Российский экспорт зерна до конца XVIII века оставался незначительным.

Для сравнения, в 2005—2010 годах доля нефтегазовой отрасли в валовом национальном доходе России составляла око-

¹ Бушкович оценивает число добытых соболей с 1630 по 1660 год «не менее чем» в 50 тысяч в год (1980: 94, 69).

ло 10%, но в российском экспорте и в государственном бюджете ее роль значительно больше — 60—75%. В поздний советский и постсоветский периоды России удавалось обменивать нефтегазовое сырье на еду, одежду и другие нужды, что помогло ее населению пережить коррупцию и развал государства. Московская Русь в равной степени зависела от экспорта пушнины, но импорт складывался иначе. Меха обменивались на серебро, предметы роскоши и военное снаряжение. Все это питало рост государственных структур и оставалось недоступным для населения. Ввоз продовольствия и товаров массового потребления, столь характерный для России рубежа XX—XXI веков, был технически невозможен, да и противоречил бы государственным интересам.

Во многих отношениях российские владения в Северной Евразии были сопоставимы с другими зонами европейской колонизации — французской Канадой, британской Индией, бельгийским Конго. Правление было непрямым, многие племена сохраняли автономию, а число колонистов в соотношении с размерами колонизованной территории было ничтожно. Пушнина делала российскую колонизацию очень прибыльным предприятием. Местные племена уничтожались с размахом, который был невозможен в Индии; потери коренного населения скорее сопоставимы с тем, что происходило в Северной Америке (Curtin 1984: 208). Самое важное различие принадлежит постколониальному периоду. Даже после истощения ключевого ресурса, пушнины, Российская империя сохранила контроль над Сибирью и другими восточными владениями, за исключением Аляски. Деколонизация, которая лишила европейские метрополии их сырьевых колоний, не коснулась Сибири.

Бум и истощение

В своей субарктической колонии Россия создала политическую пирамиду из четырех уровней: далекого государя, европей-

ских промышленников, местных трапперов и, наконец, пушных животных. Насилие в этой пирамиде распространялось сверху вниз, а прибыль росла снизу вверх. Описывая иной опыт, Джорджо Агамбен и Жак Деррида говорили о сходстве суверена и зверя: оба исключены из системы права, оба живут по ту сторону закона. В этом они похожи на преступников, которые заселяли Сибирь наряду с животными: «Зверь, преступник и суверен пугающе схожи: они взывают друг к другу и напоминают друг друга... находясь вне права» (Derrida 2009: 38). Это сходство зверя и суверена создало мощный слой политической мифологии, с левиафанами и бегемотами, волками Рима и львами Венеции, российскими соболями и медведями. Политическая экономия Новгорода и Москвы была основана на прямой связи, экономической и эстетической, между царями, одетыми в меха и жившими доходами от их экспорта, и пушными животными в далеких лесах. Те, кто не имел отношения к этой связи, не принимали участия в национальной экономике; их могло бы и не быть. Экономика, зависящая от ресурсов, делает население излишним. Определяющий ее элемент — территория. Географическое пространство России, в ее огромной протяженности на север и восток, сформировано пушным промыслом. С истощением популяций пушных животных казаки и трапперы двигались все дальше на восток, ища в новых землях все тех же соболей, бобров, лис, куниц и другие плоды севера. Так русские достигали самых дальних северо-восточных концов Евразии, Чукотки и Камчатки и потом Аляски.

Если смотреть сверху, эта пирамида была жесткой, но ненадежной. Чем ближе мы подходим к писаной истории, тем больше знаем о восстаниях туземцев, исчезновении животных, ожесточении промышленников и недовольстве суверена. Торговля пушниной привела многие племена на грань вымирания. В некоторых случаях это происходило настолько быстро, что говорить нужно о геноциде. В 1882 году сибиряк Николай Ядринцев перечислил многие народы Сибири, которые были к тому времени полностью уничтожены, но память о них еще

сохранялась. С середины XVIII до середины XIX века камчадалы потеряли 90% населения, вогулы (манси) — 50% и так далее (Ядринцев 2003: 137—139).

На смену туземцам приходили русские трапперы, которые имели лучший доступ к властям и рынкам. С их появлением пушной промысел мог бы нормализоваться, но тут началась депопуляция соболя. В начале XVII века хороший зверолов мог добыть 200 соболей в год, а к концу того же столетия — всего 15—20, что делало промысел невыгодным (Павлов 1972: 224). Русский охотник мог выжить только соболями; белки, лисы и другие пушные звери оставались делом туземцев. В начале XX века Дерсу Узала, герой романов Владимира Арсеньева, все еще охотился на белок, и делал это с искусством, которое поражало его русского друга.

Сибирские меха очень долго питали демонстративное потребление по всей Европе. Серебро из испанских колоний, специи из голландских, чай из английских создали больше богатства и причинили больше страданий, чем меха; но с символической ценностью русского меха мало что могло сравниться. Многовековой доход от торговли пушниной помог создать государство, которое некоторые историки (прежде всего Павел Милюков) определяли как «гипертрофированное» и «сверхактивное». Однако в разные эпохи и в разных регионах эта роль государства проявлялась по-разному.

В Новгороде независимые торговцы мехами создали торговую республику, которая подписывала с князем договор об обороне. Москва соединила сырьевой промысел и государственную безопасность: кремлевские цари сами торговали пушниной или даровали на это привилегии своим служилым людям. Составляя львиную долю государственного дохода, пушной промысел играл значительную роль в финансировании военных кампаний, в дипломатической деятельности и даже в религиозной политике. Когда российский посланник приезжал в южные степи, он одарял местного хана мехами. В XVII веке в хороший подарок входило 40 соболиных шкур, кунья шуба и

еще несколько шуб из более дешевого меха (Khodarkovsky 2002: 66). Спрос на пушнину на внутреннем рынке также был высок. Когда не хватало серебра, роль валюты играли меха: были периоды, когда кремлевские чиновники и придворные доктора получали половину жалованья мехами (Павлов 1972: 102). В 1623 году одна шкура сибирской чернобурой лисы стоила столько, сколько целое хозяйство с землей, домом, пятью лошадьми и десятью коровами (Reid 2002: 26). Прибыльность колоний всегда спорная тема, но Сибирь была очень прибыльной колонией. В начале XVI века польский наблюдатель, епископ Ян Лаский, сравнивал богатство, которое приносила Московии торговля пушниной, с успехом британской торговли индийскими благовониями (Филюшкин 2011: 45). Сибирские исследователи сравнивали воздействие пушного промысла на российскую экономику с потоком серебра из Нового Света в Европу в XVI веке (Покшишевский, Кротов 1951: 57).

В отличие от новгородской пушнины, которую ганзейские купцы вывозили по воде, сибирские меха доставлялись в Москву сухопутным путем; оттуда они, тоже по суше, через Варшаву и Лейпциг, следовали в Европу. В 1560—1570-х годах объемы этой торговли резко упали, что совпало с началом инфляции, продолжавшейся все Смутное время (Ключевский 1959). В ответ российский суверен монополизировал экспортную торговлю всеми видами мехов и внутреннюю торговлю соболями (Fisher 1943: 65). Эти меры не помогали; пушной промысел приходил в упадок. Собранный Афанасием Шаповым статистика московских «даров» иностранным державам показывает, что в течение XVII века доля соболя в них уменьшалась (1906: 2/330—332). Истощение этого «зоологического богатства», по выражению Шапова, вызвало кризис Российского государства. Он описывает, как по всей Сибири охотники, промышленники, возчики пушнины искали новые способы существования. Экологическая катастрофа превратила авантюристов в крестьян, но этот процесс занял целые поколения. Для русского государства он был столь же пагубным. Когда в крем-

левском казначействе соболиный мех сменился заячьим, московский период российской истории подошел к концу.

Государство экспериментировало с другими товарами и институтами. Пенька, железо и, наконец, пшеница заменили меха в российском экспорте. Опричнина, крепостное право и, наконец, имперская бюрократия заменили собой континентальную сеть пушного промысла. Но государство оставалось или стремилось остаться сверхактивным. Его институты процветали, когда могли создать политическую экономию, обеспечивавшую доход, зависящий от ресурсов и не зависевший от труда. Были периоды, когда, по словам Ключевского, «государство пухло, а народ хирел» (1956: 3/12). Были и такие времена, когда хирело государство. Установив торговлю с Архангельском в 1555 году, англичане интересовались древесиной, воском и другими лесными товарами; меха составляли небольшую долю в этой торговле (Bushkovitch 1980: 68). Английский король Иаков ценил этот регион столь высоко, что в 1612—1613 годах, когда польские и казацкие войска захватили Москву, он обсуждал возможность прямой колонизации Архангельска (Dunning 1989; Кагарлицкий 2003). Волжский купец Кузьма Минин спас тогда Россию от поражения, финансируя войну из прибылей от солеварения: то была победа новой экономики, в которой ресурсы добывались не для экспорта, а для внутреннего массового потребления. Когда смута наконец завершилась, притязания русского бизнеса переместились с северо-востока на юго-запад. Осторожная ранее политика Московского государства в отношении южной степи сменилась экспансионизмом (Воеск 2007). Что еще важнее, государство изобретало новые практики контроля и дисциплинирования населения. Пшеница, товар будущего, требовала намного больших затрат труда, чем пушнина, и, главное, труда совсем иного качества.

Упадку пушного промысла способствовали изменения как в производстве, так и в потреблении сырья. На международных рынках российские меха теперь конкурировали с американскими, которые были дешевле за счет морской транспортировки.

ки и низких таможенных пошлин. К концу XVII века промысел в Канаде производил столько бобра, что его не могли поглотить западноевропейские рынки. В это время определенная часть бобровых шкур даже экспортировалась из Канады в Россию, через Амстердам в Нарву или Архангельск; русские знали такой секрет обработки бобра, который был неизвестен в Западной Европе, и часть обработанных этим секретным способом шкур подлежала реэкспорту (Rich 1955). Более важно было то, что как предмет массового потребления меха проигрывали шерсти, которая переживала пик популярности в Европе и Америке. В середине XVIII века доля пушнины в российском бюджете была небольшой, но меха все равно преобладали в российском экспорте в Китай (Павлов 1972: 119; Foust 1969: 344). Доходы все падали, и империя то закрывала, то вновь учреждала Сибирский приказ, собиравший ясак. Потом Екатерина II превратила государственную монополию в личную, передав пушной промысел в ведение Собственного Кабинета (Slezkine 1994: 67). В эту просвещенную эпоху меха обсуждали в терминах меркантилизма, который призывал создавать государственные монополии в колониальной торговле. В своих «Комментариях» к «Наказу» Екатерины Дидро писал, что государство должно установить свою торговую монополию тогда, когда источник богатств расположен в далеких странах, где не установилось верховенство закона, нужное для конкуренции. В России это относилось к Сибири и ее пушнине. Дидро писал эти «Комментарии» после того, как он вернулся из Санкт-Петербурга и начал получать жалованье из средств Собственного Кабинета Екатерины (Diderot 1992: 135, 159).

Итак, соболь был выбит, белка вышла из моды, а государство нуждалось в доходах. Тут пришла новость о каланах, торговую ценность которых открыла экспедиция капитана Кука. Его моряки обменяли несколько шкур на восточном побережье Австралии за пару стеклянных бус и продали их в Кантоне за 2 тысячи фунтов. После того как эта история была опубликована в 1784 году, британцы и французы послали новые экспедиции на

Аляску. Екатерина поручила молодому российскому капитану с британским образованием, Григорию Муловскому, повести к Аляске российскую экспедицию. В ней согласился принять участие Джордж Форстер, один из спутников Кука и автор знаменитого отчета о его экспедиции. Но тут началась очередная война со Швецией, и плавание пришлось отменить, а Муловский погиб в сражении (King 2008). Последующие плавания обнаружили изобилие каланов на Аляске и неистощимый спрос на их мех в Китае. В 1802 году Иван Крузенштерн стал первым российским капитаном, совершившим кругосветное путешествие; повод для него был все тот же — меха (Foust 1969: 321). Основанная в 1799 году Русско-Американская компания торговала пушниной следующие полвека, что привело к депопуляции каланов и восстаниям туземцев. Из-за непосильных расстояний компания так и не стала прибыльной. Ничего, кроме пушнины, не привлекало российское правительство на Аляске и в Калифорнии, и в 1867 году компания была ликвидирована, а имперские владения в Америке проданы Соединенным Штатам. Но и в конце XIX века пушной ясак, собираемый с сибирских народов, составлял более 10% дохода Императорского Кабинета (Znamenski 2007: 125). В какой-то степени коллекции Эрмитажа тоже были приобретены на доход от сибирского зверя, хотя его доля в них была меньше, чем в кремлевских башнях.

Венера в мехах

В XVII веке европейские мыслители сформулировали историко-экономическую теорию «четырех стадий». Согласно ей, изначальный способ существования экономики состоял в охоте и рыболовстве, которые сменило скотоводство, затем земледелие и, наконец, промышленность и торговля. Этот нарратив был основан на событиях в колониальной Америке, где четыре стадии сменяли друг друга именно таким образом (Meek 1976). «Вначале весь мир был как Америка», — говорил Локк в

одном из своих знаменитых афоризмов. Но российская торговля пушниной показала, что далеко отстоящие друг от друга стадии, такие как охота и торговля, могут сосуществовать в течение длительного времени, определяя жизнь огромной части света. Те из европейских мыслителей, кто был ближе к России, например Пуфендорф, не соглашались с теорией «четырех стадий», считая, что разные модусы экономики сосуществовали еще с библейских времен. В своей версии европейской истории Пуфендорф называл Российскую империю «протяженной и обширной», но «бесплодной и незаселенной». Доходы императора, однако, «очень значительны», а «торговля соболями, которая находится целиком в его руках, очень много к ним добавляет» (Pufendorf 1764: 2/347—348). Пуфендорф понимал, что вначале весь мир, может, и был как Америка, но на следующих стадиях он, смешав все слои и стадии, стал больше похож на Россию.

Хотя плоды российского Севера, шкуры пушных животных, были давно известны европейцам, о самих этих землях просвещенный мир узнал подробно только в XVIII веке. В это время в Сибири оказались немецкие ученые, православные миссионеры и российские ссыльные, и они писали о Сибири для России и Европы. Сосланный туда в 1790 году, Александр Радищев был первым, кто трактовал захват Сибири как колонизацию, мотивом для которой была добыча пушнины. В «Сокращенном повествовании о приобретении Сибири» он писал, что московские цари давали сибирским первопроходцам, например Строгановым, «грамматы» «на земли, России не принадлежащие» и избавили их «от всяких податей» в обмен на поставки меха в Москву (1941: 2/148). В 1830-х годах еще один сибирский историк с диссидентским прошлым, Петр Словцов, с горечью писал, что, занимаясь поиском зверей, первопроходцы Сибири игнорировали все остальное, включая металлы, которые впоследствии обнаружались в тех же местах; позже это повторится на Аляске. «Сибирь как страна заключала в себе золотое дно, но как часть государства представляла ничтожную

и безгласную область», — писал Словцов. В своем «Историческом обозрении Сибири» он довольно часто называл Сибирь колонией.

Петр Великий отверг древний символ российской власти, шапку Мономаха с ее собольей оторочкой, ради имперской короны из золота и бриллиантов. Но память о пушистых источниках российских богатств была жива и в петровской империи. Путешественник, посетивший Москву в 1716 году, записал местную интерпретацию греческого мифа об аргонавтах: золотое руно — это сибирские меха, а аргонавты — торговцы пушницей (Погосян 2001: 282). Самые успешные из сибирских пушных промышленников, Строгановы, поставлявшие соболя Ивану Грозному и столетиями финансировавшие царей, давно перешли к новым видам бизнеса — солеварению, добыче железной руды, выплавке металлов; в XIX веке один из Строгановых стал президентом Академии художеств, другой — министром внутренних дел. Но когда эти сибирские олигархи, родом из поморских крестьян, приобрели графское достоинство, щит на их гербе держали два соболя. Богатства, порожден-



Илл. 9. Герб Строгановых. 1753. Два соболя держат щит с изображением медвежьей головы. Девиз Строгановых гласил: «Ferram opes patriae, sibi nomen» («Отечеству принесу богатство, себе — имя»).

ные пушным промыслом, не знали границ; не знали их и мифы, связавшие сибирские меха с русской душой. Вершиной этого мифотворчества стал роман австрийского писателя и историка-слависта Леопольда Захер-Мазоха «Венера в мехах» (1870), в котором славянская красавица дает и получает наслаждение от игр с двумя русскими символами, кнутом и соболями.

Маркс в «Капитале» сравнивал первоначальное накопление капитала с первородным грехом, который европейцы совершили в своих колониях. «Но в кроткой политической экономии искони царствовала идиллия», — иронизировал Маркс (1983: 663). Истоки имперских богатств скрываются в кровавых сырьевых товарах — серебре, мехах, слоновой кости. Это низкое происхождение величия ускользает из корыстной памяти империй и их наследников, национальных государств в метрополиях; отсюда и кротость политэкономии, и идиллия имперской истории. Но были и еретики. Среди русских ученых-историков XIX века ключевую роль пушного промысла в развитии России описал один Афанасий Щапов. Он знал о тех трагедиях, что происходили на передовой линии «зоологической колонизации», где казаки истребляли местные племена, стремясь заставить их истреблять пушных животных. Примером, к которому часто прибегал Щапов, была поздняя колонизация Алеутских островов, где русские принуждали местное население охотиться на морских бобров, пока не исчезли и каланы, и алеуты (1906: 2/291). Жертвы этих геноцидов были неграмотны, немногие бывшие там европейцы были их соучастниками, а историки молчали о них, идентифицируясь с палачами. Об алеутской катастрофе мир узнал благодаря свидетельству миссионера Иннокентия Вениаминова, ставшего потом одним из самых уважаемых иерархов православной церкви. В этой ситуации Щапов разработал свой анахронистический метод, воображая далекое прошлое по аналогии с недавними и лучше известными случаями. Он понимал и историческое значение пушного зверя для России, и связь между его истощением в сибирских лесах и наступлением Смутного времени в Москов-

ском государстве. Идеи Щапова оказывали влияние на российских радикалов вплоть до начала XX века (см. главу 11).

В начале XX века пушной промысел был еще жив, и сибирские ссыльные, среди них будущие вожди революции, приняли в нем участие. Юный Лев Троцкий во время ссылки в Сибирь в 1900—1902 годах «пару месяцев» работал на купца Якова Черных, который в верхнеленских селениях обменивал у тунгусов меха на водку и ситец, а потом продавал меха в Москве. Будучи неграмотным, Черных получал миллионы рублей прибыли, и на него работали тысячи человек на огромных пространствах от Лены до Волги. «Диктатура его... была неоспоримой», — рассказывал Троцкий (1922); вспоминая о Черных с насмешкой, он намекал на то, что благодаря этому пушному олигарху понял некоторые особенности русской диктатуры, а заодно и политэкономии. Троцкий вспоминал Черных в 1922 году в поучительной полемике с Михаилом Покровским, учеником Ключевского, который претендовал на лидерство в советской исторической науке. Полемика была знаковой: народный комиссар военных и морских дел спорил с заместителем народного комиссара просвещения. Оба соглашались, что историческое развитие России было, по определению Троцкого, «неравномерным», но Покровский нападал на Троцкого за то, что тот не видел «связи фактов» и не объяснял «диалектически» крайности, присущие российской истории. На деле объяснительная схема Покровского состояла в систематической аналогии между российской «неравномерностью» и европейским колониализмом. Эта аналогия была, писал он со здоровой самоиронией, «одной из моих ересей». Противореча сам себе, Покровский писал, что Россия развивалась «по типу... колониальной страны», хотя «форменной колонией Россия все-таки не была». Он с удовольствием цитировал заключительные главы первого тома «Капитала», которые рассказывают, как по окончании Средних веков «колониальная система» играла «решающую роль» в Европе, а «неведомый бог» колониализма «взошел на алтарь наряду со старыми богами Европы» (Маркс

1983: 697). Утверждая преемственность между Строгановыми и Черных, Покровский видел в них примеры российской «колониальной системы» и так объяснял «комбинированное и неравномерное развитие» по Троцкому. В итоге Покровский задавал Троцкому замечательный вопрос:

«Колониальная система» была приложима только в странах с жарким климатом и цветнокожим населением, или ее можно мыслить и в обстановке сибирской тайги, либо севернорусского болота? Необходимо ли для этого, чтобы по степям бегали страусы, по лесам бродили носороги, или же достаточно лисицы, соболя и горносталя? ([1922] 1933: 145—147).

Перерабатывая наследие Ключевского, чтобы переписать российскую историю в марксистском ключе, Покровский легко применял колониальные идиомы, но предпочитал ссылаться на Маркса, и о «колониальной системе» писал в уважительных кавычках. Понимая значение пушного промысла для развития российской «колониальной системы», Покровский рекомендовал подчиненным ему советским учителям истории делать из его «ереси» педагогические выводы: «Дело преподавателя, — пользуясь примерами из жизни колониальных стран, показать учащимся... признак[и] катастрофически быстрого развития капиталистической России» (1922).

По другую сторону океана импульс исследованиям российской колониальной торговли дал американский ученый Фрэнк А. Голдер. Родившийся в Одессе, Голдер начал карьеру в 1899 году с должности учителя английского языка на Аляске. В это время, через тридцать лет после ухода России с Аляски, местное население все еще предпочитало русский язык английскому: по случаю Дня независимости США Голдеру пришлось держать речь на русском языке. Потом он изучал российскую историю в Гарварде, а в 1921 году принимал участие в работе АРА (Американской администрации помощи), которая пыталась помочь жертвам голода в Поволжье. Между этими занятиями Голдер написал ка-

питательный труд о российской экспансии в Тихом океане (Golder 1914). Основываясь на собственном опыте, он критически анализировал пушной промысел и сибирских промышленников, которых все еще воспринимали как новых аргонатов:

Сибиряки в XVII и XVIII веках были частью движения, в котором были застигнуты... но от нас ожидают, что мы падем перед ними на колени и поклонимся этим героям. В сущности, они были в лучшем случае весьма обычные люди, а многие — порочны и развращены... В каждом портовом или пограничном городе встречаются такие (цит. по: Lantzeff, Pierce 1973: 224).

Два историка из Калифорнии, Гарольд Фишер (соратник Голдера по АРА) и Джордж В. Ланцев, продолжили труд Голдера (Dubie 1989; Emmons, Patenaude 1992). Рассуждая о меховой торговле уже в 1950-х годах, Ланцев писал, что «никогда еще погоня за одним-единственным товаром не приводила к приобретению столь огромной территории, как это было в России» (введение к Lantzeff, Pierce 1973). Можно добавить, что ни одна погоня за одним-единственным товаром не была столь же прочно стерта из истории человеческих страданий. Мы кое-что знаем о Кортесе и о Куртце, но, глядя на роскошные портреты одетых в меха английских королей, никто не думает о малых народах Арктики, которые меняли эти меха на милость русского государя.

Склонность к приключениям

Екатерина Великая объясняла необходимость монархического правления в России ее необычно большой территорией. Но зачем была приобретена сама эта территория? Екатерина утверждала, что «огромным протяжением земли от Иртыша до Курильских островов...» Россия обязана «склонности к при-

ключениям», свойственной русскому народу (1869: 256). Просвещенная императрица игнорировала грубую экономическую реальность: эти земли были захвачены в поисках пушнины. Однако Российская империя сохранила контроль над ними и после того, как пушнина закончилась, а этот факт не поддается экономическому объяснению. Исключая лишь Аляску, вся территория пушного промысла осталась под властью России, даже когда зверь исчез и земли потеряли коммерческую ценность. В XIX веке они использовались как место каторги. В советское время там строились военно-промышленные объекты, но и они не изменили картину. Огромные пространства Северной Евразии, по размерам далеко превосходящие Европу, остаются слабо заселенными и неразвитыми (Hill, Gaddy 2003).

Но в XX и XXI веках эти земли пушной торговли стали играть новую и важную роль, которая удивительно похожа на прежнюю. Те самые территории, что поставляли меха средневековым Новгороду и Москве, давали и дают средства к существованию СССР и постсоветской России. Нефтегазовые месторождения Западной Сибири были открыты на тех же землях югры, хантов, манси и других северных народов, которые были колонизованы ради пушнины. Как и в те времена, истощив старые месторождения, промышленники двигались все дальше на восток в поисках новых заповедных богатств. И потребители российской нефти и газа все там же, от Гамбурга до Лондона. Трубы Газпрома тянутся по суше от Москвы через Польшу в Лейпциг, повторяя сухопутные пути московской меховой торговли. «Северный поток» — подводный газопровод, который несет в Северную и Западную Европу газ из Западной Сибири, — проходит точно по старинным морским путям ганзейской торговли с Новгородом.

Географически эти совпадения случайны: в других местах нефть и газ добывают не в лесах и болотах, но в морях и пустынях. Эстетически нет ничего менее похожего, чем нефть и мех. Но политически между экономикой, которая зависит от

экспорта белки и соболя, и экономикой, зависящей от экспорта газа и нефти, много общего. Обе они — жертвы ресурсного проклятия, которое ставит экономику в зависимость от моноресурса, оставляя прочие ее ветви неразвитыми и неконкурентоспособными. В течение столетий российской истории торговля ресурсами стала для государства основным источником дохода, организация их добычи — главным занятием, контроль над транспортировкой их через Евразию — исключительной ответственностью. Такой промысел требует специализированных навыков, которые имеют мало общего с работой остального населения, и участвуют в нем немногие. Аппарат безопасности становится идентичен добывающему государству, а население становится ненужным. В свое время Ханна Арендт писала, что «излишность массового человека» является основой тоталитаризма (Arendt 1966: 11). Проще говоря, в этих условиях неизбежно возникает общество, подобное кастовому: малая и сущностно важная часть населения, которая участвует в торговле моноресурсом и его охране, живет иначе, чем большая и избыточная часть, которая существует дотациями, получаемыми от первой части, и натуральным хозяйством.

Недавно институциональная экономика описала два способа отношений между ресурсами, государством и гражданами (North et al. 2009). В «естественном государстве» доминирующая группа ограничивает доступ к ценным ресурсам, создает на их основе ренту и управляет населением с помощью принуждения и благотворительности. Другой социальный порядок возникает в «государстве открытого доступа», которое берет внутреннее насилие под демократический контроль, предоставляя гражданам равный доступ к образованию и карьере. В таком обществе нет правовых и метафизических различий между элитой и народом. Соотношение между этими двумя типами государства и природными ресурсами подразумевается, но не описывается в этой работе Дугласа Норта и его соавторов. В исторической перспективе ясно, что изобилие природных ресурсов не давало государству выйти из ресурсной зависимости, а

их нехватка, напротив, стимулировала развитие системы открытого доступа, зависящей от человеческого капитала.

И все же из этого правила есть исключения. Несмотря на изобилие нефти, Норвегия и Канада успешно диверсифицируют свои экономики. Нидерланды к концу XX века преодолели «голландскую болезнь». В России «неравномерное развитие» по Троцкому означало, что отдельные регионы в отдельные периоды полностью зависели от торговли сырьем, а в других развивались ремесла и обрабатывающая промышленность, что вело к нехватке рабочих рук и к бурному развитию. Политически с ресурсной зависимостью можно справиться. Исторически она приходит и уходит.

В российской истории было много моментов, когда частные люди и государство получали выгоду от добычи сырья — соли, древесины, железа, зерна... Бывало и так, что государство пыталось организовать промысловую торговлю новым и особо прибыльным ресурсом. Но в России было только два периода общей зависимости государства от моноресурса, два периода ресурсной зависимости: эра пушнины и эра нефтегаза. Хотя между ними нет исторической преемственности, у этих периодов много сходства. Зависимость государства от таких ресурсов делала трудовое население излишним. Для добычи, хранения и транспортировки безопасность была более важна, чем свобода. Добыча этих ресурсов — грязное дело, и оно уничтожает природную и культурную среду. И, как нефть сегодня, меха тоже считали баррелями.

Мы знаем, чем кончилась первая ресурсная зависимость: Смутным временем. Истощение пушного зверя в России и спад международного спроса на него, вызванный технологическим развитием в Европе, вызвали экономический кризис, за которым последовала череда религиозных, военных и династических конфликтов. Кризис вынудил государство к радикальному изменению московских нравов, выбору новой династии голосованием, импорту европейского просвещения и формальному установлению империи. Государство перенаправило свою

ГЛАВА 5. БАРРЕЛИ МЕХА

колониционную деятельность с богатых мехом восточных лесов на богатые зерном южные степи, а потом на богатое шелком Закавказье и богатую хлопком Среднюю Азию. Но ничто, кроме нефти, не сравнилось с пушным промыслом по прибылям, устойчивости бизнеса и обретенному величию государства. Менялись и потребители, хотя цивилизованному человечеству понадобилось немало времени, чтобы избавиться от своего пристрастия к меху.

Часть III

КОММУНАЛЬНАЯ
ИМПЕРИЯ

Глава 6

Черное волшебство

В 1849 году создатель поселений в Новой Зеландии обвинял британских колониальных чиновников в том, что они «глубоко убеждены в неполноценности или ничтожности других классов». Усиливая аргумент, он добавлял, что у этих людей «больше привилегий, чем у любого другого класса в любой европейской стране, кроме разве России» (Wakefield 1849: 59). В Новой Зеландии и в других британских колониях расстояние между привилегированными и дискриминированными группами зависело от расы, а последняя определялась цветом кожи. Видимые расовые признаки определяли все множество различий между группами, подчиняясь простой матрице из условных цветов, сводившей все разнообразие человечества к нескольким категориям: «белые», «черные», «желтые», «красные»... (Gates 1985). Но в обществе внутренней колонизации, которое аннексировало, ассимилировало или уничтожило своих внешних и внутренних «других», почти все имели одинаковый цвет кожи. Место рас здесь заняли сословия — правовая категория, по функциям схожая с расой и кастой, но отличная от них по происхождению. Раса представлялась как принадлежащая природе, каста обычаю; сословие определялось законом. Как и раса, сословие определяло роли и регулировало отношения между людьми. Как и каста, оно было наследственным и практически несменяемым: изменить сословную принадлежность было трудно или невозможно. Как раса и каста, сословие пришло в столкновение с современностью, капитализмом и ранними попытками демократической политики.

Хотя у расы предполагалась биологическая природа, а у сословий — правовая, на деле оба конструкта принадлежали сфере культуры. Культурное конструирование расы натурализова-

ло имперскую власть; культурное конструирование сословия легализовало ее. Чем большие культурные дистанции между группами создавало такое конструирование, тем менее стабильными оказывались сами конструкты. По словам карибского психиатра и философа Франца Фанона (Fanon 1967: 183), колониальная ситуация была «зоной оккультной нестабильности», и это сильное выражение особо применимо к ситуации внутренней колонизации.

Terra nullius

Британские колонисты применяли английские законы к любой земле, которую считали лишенной правовых установлений. Этот принцип империализма назывался *terra nullius*, «ничейной землей». Хотя по факту люди на земле жили, по закону она считалась необитаемой. Принцип ничейной земли позволял игнорировать все существующие там обычаи, права собственности и порядок наследования. На практике этому принципу следовали гораздо раньше, чем он был кодифицирован британцами (Gosden 2004). История о необитаемой земле — робинзоновом острове — стала символическим центром колониализма, его несбыточной утопией. Физиократы XVIII века расширили применение *terra nullius* и сузили понятие населения, связав его с обязанностью возделывать земли: закон не должен был признавать обществ, которые не делали этого надлежащим образом (Nelson 2009; Boucher 2010). Принцип *terra nullius* был риторически связан с библейской идеей творения земли «из ничего» и с локковской идеей *tabula rasa*, что создавало удобное единство имперской политики, богословия и эпистемологии (Arneil 1996; Bauman 2009).

Во многих акциях Петра I видно интуитивное применение принципа ничейной земли. Петр представлял себя как творца не только Российской империи, но и страны, народа и даже самого себя. Он изменил множество законов и институтов и не

скрывал, а скорее преувеличивал новизну своих начинаний; иногда, пишет внимательный историк, он намеренно играл роль иностранного завоевателя (Wortman 1995: 1/44). Еще заметнее это стремление представить допетровское состояние страны как *terra nullius* у интеллектуалов Высокого Имперского периода, которые прославляли Петра. Сто лет спустя после его смерти министр финансов Егор Канкрин говорил, что Петр настолько изменил русских, что лучше бы им теперь называться петровцами, а Россию переименовать в Петровию (Riasanovsky 1985: 109). Виссарион Белинский рассказывал о творении Петра словами, взятыми из Книги Бытия: «Петр своим мощным “да будет” разогнал тьмы хаоса, отделил свет от тьмы и воззвал страну великую к бытию великому, назначению всемирному» (Белинский 1954: 5/117). В том же духе Белинский призывал историков прекратить споры о Рюрике и сосредоточиться на Петре, который «несравненно важнее» для создания государства (1954: 5/94). Петр Чаадаев писал, что «Петр Великий нашел у себя дома только лист белой бумаги» и «могучим дуновением смел все наши учреждения», «вырыл пропасть между нашим прошлым и нашим настоящим» и «грудой бросил туда все наши предания» (цит. по: Ермичев, Златопольская 1989: 205, 225). Медный всадник — памятник Петру в его столице — представляет императора скачущим через невскую бездну, в которую сброшены, как говорил Чаадаев, «все наши предания».

В своих философических размышлениях об истории Чаадаев выдвинул необычную идею, согласно которой «точка отправления народов определяет их судьбы», исток становится центром, начало — предназначением: своего рода телеология наоборот. Найдя похожую мысль у Токвиля в «Демократии в Америке», Чаадаев писал другу (неизвестно, насколько серьезно), что Токвиль украл у него эту идею. Комментаторы до сих пор сомневаются, имел ли он в виду под началом, равносильным открытию новой земли, деяния Рюрика, или Петра, или обоих. И Чаадаев, и Пушкин называли петровские преобра-

вания «революцией»; с этим согласны некоторые историки¹. Если это действительно была «революция», она опережала революции в США, Гаити, Франции. Работая над незавершенным романом «Арап Петра Великого», Пушкин привел историю своего черного предка, Абрама Ганнибала, в пример того, как Петр хотел изменить свой народ:

Петр имел горесть видеть, что подданные его упорствовали к просвещению, желал показать им пример над совершенно чуждою пороною людей и писал к своему посланнику, чтоб он прислал ему Арапчонка с хорошими способностями <...> Император был чрезвычайно доволен и принялся с большим вниманием за его воспитание, придерживаясь главной своей мысли (1995: 67).

Императору удалось переделать гаремного мальчика в артиллерийского офицера, но более масштабные задачи, считал Пушкин, не удались Петру: его подданные с «упорным постоянством» сохраняли «бороду и русский кафтан», и «азиатское невежество царило при дворе». В этой популярной истории видна работа обратного ориентализма: в черном африканце видят личность и облачают его властью, а русские подданные подвергаются ориентализации оптовым, безличным способом. Черный предок Пушкина — африканский строитель фортификаций в Сибири и причалов в Эстонии — был восхитительно имперской фигурой (Barnes 2005). Но он вовсе не относился к себе и к своему прошлому как к *terra nullius*, а был скорее анти-примером. Ганнибал не скрывал своего африканского происхождения, но, напротив, открыто им гордился, в чем ему следовал Пушкин. В своем поместье под Псковом Ганнибал построил дом в южном стиле, неизвестном российской провинции. Получив русское дворянство, он заказал себе герб со слоном в

¹ См.: Ермичев, Златопольская 1989: 388; Riasanovsky 1985: 104; Кагарлицкий 2003: 222, Cracraft 2004.



Илл. 10. Герб Абрама Ганнибала. Около 1742.

центре щита и девизом «*Fortuna vitam meam mutavit optime*» — «Фортуна жизнь мою изменила чрезвычайно» (Леец 1980: 117; Телетова 1989).

В рассуждениях русских философов и критиков *terra nullius* — скорее исторический период, чем определенная территория. Рисуя картину допетровской Руси как страны пыток и невежества, Белинский видел в ней много «азиатского, варварского, татарского» (1954: 5/103). «Неподвижность и окаменелость слиты с Азией, как душа с телом», — писал Белинский, настоящий ориенталист в точном понимании этого слова по Саиду. Развивавшее сходные мысли «Философическое письмо» Чаадаева, опубликованное в журнале «Телескоп» в 1836 году, вызвало скандал. Николай I отправил в ссылку редактора «Телескопа», философа Николая Надеждина, а Чаадаева поместил под домашний арест. Еще одним действующим лицом был врач Чаадаева, Иван Ястребцов, который стал одним из его учеников (Сапов 1991). Под давлением три мыслителя придали той же

идею новое значение. Свобода России от исторического наследия — не ее недостаток, а преимущество. Пересказывая идеи Чаадаева, Ястребцов писал: «Россия свободна от предубеждений; ...прошедшее как бы не существует для нее... Она есть белая бумага, пишите на ней» (1833: 197). В ссылке Надеждин формулировал выразительно и немного комично:

Мы дети, и это детство есть наше счастье... С нашей простой, девственной, младенческой природой, не испорченной никакими предубеждениями, <...> можно сделать все без труда, без насилия: из нас, как из чистого, мягкого воска, можно вылепить все формы истинного совершенства. О! какой невообразимый верх дает нам пред европейцами это святое, блаженное детство! (1998: 26).

Благодаря их детству и девственности, Россия и русские — идеальные объекты для имперской трансформации. После скандала с Чаадаевым эта российская идея гражданского инфантилизма стала привычной. Белинский называл русский народ «юным, свежим и девственным» (1954: 5/119). Историк Соловьев верил, что «русский человек XVIII века явился совершенно чистым, вполне готовым к восприятию нового — одним словом, явился ребенком» (1856: 500). Меняя метафоры от белой бумаги к чистому воску и от варварства к девственности, идея *terra nullius* утверждала трансформирующую энергию имперской власти.

Место власти

Одержав первые победы в Северной войне (1700—1721), Петр I захватил у Швеции дельту Невы и вместе с ней контроль над стратегически важным речным путем из Балтийского моря в Новгород. В 1712 году Петр перенес резиденцию и часть администрации в Санкт-Петербург (многие структуры прави-

тельства оставались в Москве еще пятьдесят лет). По праву завоевания эта земля принадлежала ему. Но право завоевания действовало в колониях; в Европе XVIII века земли переходили от одного государства другому по международным договорам. Согласно этим договорам Швеция получила право на эти земли в 1617 году и сохраняла его до 1721 года. Ключевский писал: «В России центр — на периферии» (1990а: 369). Более того, сама столица была основана на чужой, новой земле. Петру, считал Белинский, «нужна была почва совершенно новая, без преданий, где бы его русские очутились совершенно в новой сфере и не могли бы сами собою не измениться в обычаях и привычках жизни» (1954: 5/145).

Новая земля имела название: Ингрия. Петр основал здесь герцогство Ижорское, но рассматривал ее как *terra nullius*, не имеющую своего наследия или «предания». Слабо населенная финскими крестьянами, оккупированная Ингрия была не очень привлекательной колонией и совсем невероятной метрополией. Ее низкие земли, холодные зимы и частые наводнения затрудняли все начинания власти — военные действия, судоходство, строительство, торговлю. Но Петру нравилось это место на Неве. Оно обманчиво напоминало Амстердам, где юный царь учился государственным делам и европейской жизни. На этих берегах была жива память о Ганзе, а может, и о Рюрике. Чтобы править Россией с нуля, нужна была внешняя точка, откуда можно было бы запустить новый проект.

Проведя четыре месяца в Ост-Индской компании в Амстердаме в 1697 году, Петр познакомился с голландской колониальной практикой и ее составными элементами — кальвинистской энергией и радикальным духом раннего голландского Просвещения, технологическими прорывами и бухгалтерскими книгами, экономической теорией и таможенной практикой меркантилизма. Гидом царя в его европейском путешествии был Франц Лефорт, кальвинист из Женевы, который служил новгородским наместником, а до того объездил Россию от Архангельска до Крыма. Под его началом великое посольство посетило импер-

ские центры Европы — Кенигсберг, Лондон, планировалась и поездка в Венецию; но для стажировки в искусствах империи была выбрана Голландия. Лидер европейской торговли и колыбель Просвещения, Голландия была тогда центром огромной империи, чьи источники богатства находились еще дальше от Амстердама, чем российские от Санкт-Петербурга.

Николай Карамзин в 1811 году иронизировал над попыткой Петра «сделать Россию Голландией» (1991: 36). И правда, в Европе не было и нет двух более различных стран, чем Россия и Нидерланды. Однако Голландия была популярна, как и сама идея переделки страны в соответствии с чужой моделью. По голландскому образцу перестраивалась Пруссия, где успех был обеспечен сочетанием личной энергии монарха с религиозным пробуждением народа (Gorski 2003). Прусский король Фридрих-Вильгельм делал ставку на пиетизм, который обеспечил нужный баланс между протестантской энергией и социальной дисциплиной, и вдобавок приглашал кальвинистских колонистов. В отличие от Фридриха Петр подавлял религиозное пробуждение, видя в нем еще одно проявление русского варварства. Петровская реформа православия подчинила церковь государству и не оставила места народному энтузиазму.

Историки по-разному описывали политику Петра, находя в ней «реформы», «модернизацию» или «революцию». В моих терминах, петровские преобразования стали еще одним шагом во внутренней колонизации России. В отличие от прежних этапов петровская колонизация касалась не столько территории страны, сколько ее населения. Ресурсозависимая экономика Московской Руси предоставляла подданных самим себе, но эта зависимость осталась в прошлом вместе с принесенным ей богатством. Новизна петровского государства была в том, что оно зависело от населения и его производительного труда. Как заметил один иностранный наблюдатель, подданные Петра — его «единственные источники золота и серебра» (Hughes 1998: 135). Основав империю, Петр положил начало всеобщему налогодобложению и воинскому призыву, полицейской дисципли-

не и низовому сопротивлению. Грандиозная задача — перестроить сеть уделов, собиравших ясак и другие виды дани, в единое, законопослушное, собирающее налоги государство — так и не была решена ни им, ни его преемниками (Raeff 1983). Экономические идеи Петра обычно считают авторитарной версией голландского и британского меркантилизма. Для этих конкурировавших империй меркантилизм был стратегией, которая увеличивала доходы имперских государств, монополизируя их торговлю с дочерними колониями. Ученичество в старых и новых имперских центрах Европы помогло Петру понять правила этой игры. Он знал то, что трудно понять историкам: в России мать и дочь, метрополия и колония были одним телом, и император был господином их обеих. Хоть Петр не сформулировал этот принцип, он реализовал его, и практика инцеста изменила меркантилистские подсчеты. Поскольку колонии находились внутри империи, можно было забыть о заботах меркантилистской Европы: пошлинах, пиратстве, торговом балансе с колониями. Важнее всего было то, что империя могла не беспокоиться о рентах в метрополии. Наложив на население подушный налог и другие сборы, финансисты Петра не делились со столичными рантье, которые доставляли все больше беспокойства заморским империям. Огромные колонии давали прибыли или убытки, но суверен распоряжался ими без оглядки на жадное население метрополий. Для империи это была отличная сделка.

Выстроенная Петром и его наследниками, новая столица России воплощала универсалистское воображение Древнего Рима. Результаты были блистательны и разрушительны. Новой имперской культуре удалось стереть не только слабые воспоминания о полухристианских-полуязыческих племенах Ингрии, но и преемственность с традиционной культурой Руси. Между средневековыми Новгородом или Москвой и имперским Санкт-Петербургом не было ни сходства, ни преемственности. Сверхкомпенсируя то, что она воспринимала как отсталость, империя собрала огромные коллекции европейского искусства.

ва и наняла отличных архитекторов и скульпторов Европы, а русских художников отправила обучаться в европейские академии. Российские музеи наглядно подтверждают разрыв между имперской культурой и допетровским прошлым. Когда посетитель переходит из залов с иконами и «народным искусством» в крыло российского искусства, он чувствует столь же резкую разницу между ними, какую видит между залами искусства аборигенов и искусства имперского периода в любом музее Америки, Австралии или Индии. Начиная с XVIII века искусство имперских метрополий становилось все более похожим по всему миру. В период империй элитное искусство России и Индии были больше похожи между собой, чем каждое из них имело больше сходства, чем каждое из них было похоже на традиционное искусство собственной страны.

Основанный великим воином, Санкт-Петербург был прежде всего военной столицей. Над городом возвышается «точка отправления» — Петропавловская крепость, ставшая тюрьмой. Императорская гвардия была повелителем города и империи. Гвардейские офицеры начинали и заканчивали войны, давали балы, бились на дуэлях, сажали на трон и свергали с него императоров и императриц, прославляли или убивали поэтов. Многие из величественных парков, площадей и зданий столицы были местами жизни, учебы и парадов гвардии. Многие офицеры владели двумя языками и в заметной их части были европейскими дворянами; солдаты оставались в большинстве русскими. До 1762 года дворянство было обязано служить на военной или, в виде исключения, гражданской службе. Петр III отменил это требование, но карьера в гвардии, а после нее — в губернских администрациях оставалась обычным путем для дворянской элиты. Отслужив в столичных или провинциальных гарнизонах, дворяне возвращались в родовые поместья, заводя там караулы, фейерверки и фрейлин примерно так, как это когда-то сделал Петр в Петербурге. Распространяя в провинции образ жизни имперской столицы, дворяне продолжали колонизовать империю.

Ганноверский дипломат писал в 1714 году, что Санкт-Петербург состоял тогда из «нескольких соединенных вместе поселений, как какая-нибудь плантация в Вест-Индии» (Hughes 1998: 215). Но по царской воле двор и правительство переезжали в Санкт-Петербург, формируя будущую столицу: то был единственный случай, в котором массовое принудительное переселение затронуло не только крестьян, но и дворянство. Семьи чиновников тратили на переезд до двух третей своего капитала (Rogger 1960: 12). Столичному дворянству пришлось оставить старый обычай кормиться со своих поместий; теперь дворянским семьям приходилось покупать продовольствие на столичных рынках по ценам в пять раз выше, чем в центральных губерниях. Новая столица подражала Амстердаму не только своими островами и каналами, но и тем, что находилась очень далеко от жизненно важных источников имперской экономики. Рабочих, зерно и даже строительный камень для нового города доставляли из Центральной и северной России — по суше и речным путем.

В отличие от старых европейских метрополисов Санкт-Петербург не был обнесен стенами. Разделенный на две части — официальный центр и жилые пригороды, — он рос по всем направлениям. Мало что ограничивало рост Санкт-Петербурга, как и рост самой империи; и, как в самой империи, центр города развивался медленнее, чем окраины. Пустые площади в сердце столицы и строительные площадки для ее дворцов растянулись вдоль берегов очень широкой реки, что создавало гигантскую пустоту в центре города, аналогичную географии империи. Строительство центра продолжалось в течение Высокого Имперского периода: ансамбль Дворцовой площади был закончен только в 1843 году, Исаакиевский собор — в 1858-м. Мы не всегда помним это, читая петербургские повести Пушкина и Гоголя: они и их герои жили и гуляли среди пыли и пустот незавершенного строительства.

Классические колоннады, оштукатуренный кирпич, прямые улицы, регулярные парки и грандиозные площади следовали

палладианскому канону, передававшему величие Римской империи в новых материалах, а в данном случае и в совсем иных природных условиях. На фоне далекого, плоского и холодного горизонта многоцветные фасады выглядели непримиримо чужеродными: воплощение оккультной нестабильности колониальной ситуации. Но такие же арки, портики, греческие ордера, конные статуи, гербы, фонтаны, газоны, ограды можно встретить по всему колониальному миру: ампи́р, стиль империи, — так удивленная столица назвала собственную эстетику, когда строительство подходило к концу и его дух по-гегелевски осознавал самое себя.

Как в Вашингтоне, все было большим и возвышенным в Петербурге. Построенные на ничейной земле и расцветшие, становясь столицами, эти города-ровесники были одинаково выкроены из колоний, чтобы управлять метрополиями, обозначая внешнюю точку, служащую местом власти. Центральная часть Вашингтона — гигантская аллея, которая соединяет и разделяет город, — похожа на линию петербургских набережных, площадей и парков, протянувшихся вдоль Невы. Обе столицы объединены одной и той же традицией радикального европейского Просвещения, но обе играли консервативную роль господ разделенного ими мира. Похожими были и их тревоги: одна расположена слишком далеко на север, а другая на юг, обе были отрезаны от экономических и демографических центров своих стран и обе смехотворно доступны для своего главного врага — британского флота.

Замысел Петра состоял в том, чтобы из Петербурга вести экспорт зерна в германские земли, но собственное потребление столицы уничтожило торговые преимущества, которые она могла иметь как торговый порт. Из-за строительства Петербурга цены на зерно в Москве выросли настолько, что экспорт зерна пришлось вообще прекратить. Вывозить товары было дешевле из уже существовавших русских портов в Риге и Архангельске, поэтому правительство ограничивало или вовсе останавливало их деятельность (Jones 2001). Как военный порт,

Петербург тоже не оправдал желаний своего основателя. Запертые в Балтийском море короткой навигацией, датскими проливами и британским флотом, военные корабли могли осуществлять свои имперские задачи только в мирное время.

По мере того как Санкт-Петербург приобретал свой нынешний облик и многоквартирные дома поднимались вдоль его прямых мощеных улиц, стала очевидна еще одна особенность этого города. Более холодные, чем в Берлине и почти любом городе обитаемого мира, петербургские зимы требовали огромных запасов топлива. Дровесины в Ингрии хватало, но в регулярно распланированном городе не было места для дров, кроме необыкновенных дворов — больших и диких внутридомовых пространств, характерных для Петербурга. Классические фасады и низкие ворота скрывали внутренний хаос проходных дворов от ока власти. Там, внутри, была сосредоточена реальная экономика складов, конюшен, мастерских, уборных, канализационных стоков и гигантских, артистически сложенных поленниц. Через триста лет после Петра многие из этих пространств еще ждут своей развития. На разных уровнях развитие столицы воспроизводило сценарий внутренней колонизации.

Руки брадобрея

Екатерина II советовала Дени Дидро радоваться тому, что философы пишут на бумаге: монархи, утверждала она, пишут на человеческой коже. Продолжая ее мысль, стоит радоваться и тому, что бумага обычно белая: ведь кожа бывает разных цветов. Чтобы писать на телах и в умах своих подданных, Российской империи нужно было переизобрести понятие расы. Вновь созданным сословиям нужно было придать видимые и желательные несмываемые различия. Если бы сословие можно было написать на теле, оно стало бы расой. Физические, неотделимые от тела признаки власти и подчинения облегчили бы

жизнь городским и исправникам, дорожным заставам и управляющим поместьями. «Культура тоже может функционировать подобно природе», — писал Этьен Балибар: культура может выборочно отмечать индивидуумов или группы и помещать их в неподвижные, несменяемые категории привилегий или дискриминации, подобные расам (Balibar 1999: 22).

Петр I провел великий эксперимент в этой области. Вернувшись из своего путешествия по Европе, он потребовал, чтобы дворянство сбрило бороды. Как писал 26 августа 1698 года австрийский посол, «бритва без разбора летала по бородам присутствовавших» (цит. по: Hughes 2004: 22, 31). Петр сам начал со своей свиты, затем выслал на улицы полицейских цирюльников, а потом ввел соответствующие законы, включая налог на бороды. В последующие десятилетия указы о бритье бород становились все более жесткими. История бороды — богатый предмет исследований (Reynolds 1949; Peterkin 2001), но она не знает другого столь же масштабного события, как петровское бритье бород.

На самом деле бороды брили с разбором. Дворяне должны были быть чисто выбриты, духовенство и крестьяне сохранили бороды, а мещане остались в пределах «серой зоны», где правила постоянно менялись. Целью петровских указов было не обрить всех мужчин, а создать очевидные, подобные расовым, различия между ними: сделать сословные различия видимыми.

За бритьем последовали другие акты внутренней колонизации: манифест «О вызове иностранцев в Россию, с обещанием им свободы вероисповедания» (1702), основание будущей столицы на оккупированной территории (1703), рождение Российской империи (1721). Бритье не только опережало позднейшие преобразования, но и позднее воспринималось как их исток и центр; так и писали об этом — о вонючих руках брадобрея и его отвратительной власти — Гоголь в «Носе» (1833) и Мандельштам в «Ариосте» (1933). По-петровски, в характерном для *terra nullius* стиле разрыва и основополагания, бритье

создало квазирасовую структуру, нужную империи. До Петра сословий в России не было (Freeze 1986), хотя и существовало множество групп со своим самосознанием — этнических, религиозных, профессиональных, основанных на происхождении и других. Однако некоторые социальные различия были закреплены в принятых ранее законах, сословия — неэтнические социальные группы, которые правительство различало с тем, чтобы по-разному обходиться с ними, — были созданы указом Петра о бритье бород.

Если сословие было субститутром расы, борода заменяла различие в цвете кожи. В «Записках охотника» Тургенев описывает крепостного по имени Хорь, который имел достаточно денег, чтобы выкупить себя у помещика. Но Хорь не делает этого, что вызывает удивление рассказчика-дворянина. На замечание последнего: «Все же лучше на свободе» — Хорь возражает, что, даже если он откупится, он все равно останется с бородой, а «кто без бороды живет, тот Хорю и набольший», то есть высший. Следуя своим представлениям о разуме и автономии, рассказчик предлагает простое решение: «А ты сам бороду сбрей». Однако Хорь предпочитает остаться крепостным, но при бороде и деньгах (Тургенев 1963: 4/12).

Потом русские националисты-славянофилы вновь стали отпускать бороды, и в 1849 году правительство в очередной раз приказало дворянам их сбрить: Министерство внутренних дел предлагало не допускать бородатых к выборам в дворянских собраниях (Цимбаев 1986: 13). Итальянские сепаратисты, сторонники Гарибальди, тоже носили бороды; носили их и чиновники, которым в 1853 году австрийский император приказал сбрить бороды. В Европе того времени борода имела романтические коннотации, означая что-то вроде возвращения к природе, а потом и хождения в народ. С популярностью народничества в России в 1870-х годах волосы на лице пошли в рост: высшие сословия стали подражать низшим. По мере того как Россия приближалась к бурному XX веку, бороды художников и чиновников, царских фаворитов и сектантских лидеров становились

все длиннее. Вслед за европейскими модами и, как обычно, превосходя их, образ русской бороды, черной и белой, воплотился в двух симметричных фигурах, Распутине — народном пророке, который стал императорским фаворитом, и Толстом — аристократическом писателе, который стал народным пророком.

В сословном обществе неравенства предписывались законами и отражались на лицах. Для каждого сословия была создана отдельная правовая система, так что лишь те, кто принадлежал к одному сословию, были равны перед законом. На бумаге сословия определялись своими правами и обязанностями, набор которых отличался для каждого сословия. Эти правовые различия кодифицировались даже более тщательно, чем в странах с расовым неравенством. Именно потому, что сословные различия не всегда удавалось написать на коже, их закрепление требовало больших юридических усилий, чем кодификация расовых различий, которые чаще регулировались неписаными правилами обычая и корысти. Сословную матрицу составляли дворяне, духовенство, мещане и крестьяне. Дворяне имели крепостных и землю и служили государству на военной или гражданской службе. Духовенство не имело крепостных и земли; оно служило Богу. Не связанные обетом безбрачия, русские священники имели много детей, которые принадлежали к сословию духовенства, даже если занимались совсем не духовными делами. Поповичи не служили в армии, но могли получать образование и сделать карьеру на гражданской службе. Оба этих сословия не платили налогов. Третье сословие, мещане, владели собственностью, но не крепостными; мещане платили налоги. Крестьянство не имело ни земли, ни собственности, служило господам и тоже платило налоги. Вместе со своим домом, лошадьми, инструментами, земельным участком и семьей крестьяне принадлежали либо землевладельцу, либо государству. Но лично, как бородатый Хорь, или коллективно, как члены общины, они имели ограниченные права пользования собственностью, хотя до 1861 года эти права существовали исключительно на практике. Законы предусматривали различ-

ные наказания для крестьян (телесные наказания), дворян (суд и пенитенциарная система) и духовенства (консистории). У дворян и мещан была возможность перемещаться по стране по служебным или торговым делам; крестьяне были прикреплены к земле, ее владельцу и общине. В армии крестьяне становились солдатами, дворяне — офицерами, а духовенство было освобождено от воинской повинности. Только дети дворян и священников могли поступать в первые гимназии, лицеи, университеты; постепенно эти ограничения размывались, но не отменялись. Закон и обычай предусматривали различия между сословиями в еде, одежде, образовании, уровне жизни, поведении в браке и многом другом.

Раса и сословие

Подобно расам и кастам, сословия создавались на основе слияния местных традиций и имперских категорий. Подобно расам и кастам, сословия пережили реформы и революции. Юридическая категория, прописанная в законе, и неотменная характеристика, которую государство приписывало индивиду, сословие отличалось от марксистского понятия класса. В советском толковании, однако, классовая борьба воспроизвела сословные границы. В 1917 году сословное право было отменено, но СССР скоро возвратил его, называя его теперь «социальным происхождением» и проводя обратную дискриминацию в отношении тех, кто происходил из дворянства и духовенства (Fitzpatrick 1993). Даже в постсоветской России, полагают социологи, старая система сословий вновь возникает под новыми именами (Кордонский 2008).

Как кастовая система в Индии, сословная система была плодом модернизационных устремлений имперского государства, которое присвоило местные традиции и приспособило их к своим целям (Dirks 2001). Сословия предлагали систему координат, в которой Российская империя видела колонизованных

ею людей. Воображая общество в виде торта, разделенного на четкие слои с кремом сверху, империя кодифицировала сословное разделение в законе и дополнительно укрепляла расплывавшиеся границы внеюридическими мерами. Историческим основанием сословного неравенства было то, что оно заветовано древней традицией, восходящей к Рюрику, а утилитарным оправданием — то, что оно помогает избежать политических конфликтов, которые были бы неизбежны в большом мультиэтническом государстве. История не оправдала этих надежд.

Империя пыталась превратить этнические отношения в сословные, чтобы регулировать их законодательными средствами. Множество людей и сообществ всегда оставались неохваченными, так что суверену приходилось создавать все новые категории, хаотичные и пористые (Freeze 1986; Wirtschafter 1997; Confino 2008). Государство было фрагментарным и плюралистическим, что давало ему возможность поглощать новые элементы и создавать новые координаты. Проблемы начинались тогда, когда петербургские юристы стали регулировать разнообразие своей империи, используя сословное законодательство в качестве универсальной матрицы. Большие религиозные, этнические и функциональные группы — казаки, евреи, татары — наделялись особыми перечнями прав и обязанностей, как будто они тоже были сословиями. Небольшие народности обобщали в категории: «горцы», «кочевники», «северные народы». На колониальных границах, где повторялись циклы восстаний и репрессий, и во внутренних губерниях, где границы сословий охранялись телесными наказаниями и насильственными переселениями (например, сибирской ссылкой), уровень насилия оставался высоким. Но когда сословную систему уничтожила революция, насилия стало еще больше. Как показал Майкл Манн, «органические государства», стремившиеся к национальной гомогенности, были более склонны к массовому насилию, чем «стратифицированные государства», мирившиеся с автономией своих меньшинств. Когда органическое государство колонизовало удаленные земли или

сталкивалось с внутренним врагом, оно чаще прибегало к геноциду (Mann 2005). Именно на этом пути гомогенизации различной империю ждало массовое насилие.

Как только философы Просвещения и критики колониализма открыли для себя Россию, они стали сравнивать сословную систему с колониальной, бородатого российского крестьянина с низшими и эксплуатируемыми расами, а хозяев Русской земли с заезжими иностранцами. В «Истории обеих Индий» аббат Рейналь так писал о России:

Гражданское рабство — вот состояние каждого неблагородного подданного этой империи: все они находятся в распоряжении своих господ, как скот в других странах. Среди этих рабов никто не подвергается такому варварскому обхождению, как те, кто возделывает землю... Политическое рабство — удел всей страны, с тех пор как иностранцы установили в ней деспотическую власть (Raynal 1777: 246).

Современная русская литература началась, когда книга Рейналя попала в Санкт-Петербург. Одним из ее первых читателей здесь стал таможенный чиновник Александр Радищев. Арестованный за свою собственную книгу, «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790), на допросе Радищев говорил, что моделью для «Путешествия...» ему служили труды Рейналя и Гердера.

— Вообрази себе, — говорил мне некогда мой друг, — что кофе, налитый в твоей чашке, и сахар, распущенный в оном, лишали покоя тебе подобного человека... Рука моя задрожала, и кофе пролился. А вы, о жители Петербурга, питающиеся избытками изобильных краев отечества вашего... когда рука ваша вознесет первой кусок хлеба, определенной на ваше насыщение, остановитесь и помыслите (Радищев 1992: 75).

За этот и подобные фрагменты Радищев был сослан в Сибирь, где он продолжил свои сопоставления с обеими Индиями. В середине XIX века радикально настроенный Александр Герцен ставил в вину Англии и миру, что, борясь против работорговли, они забыли о российских крепостных. Герцен объяснял это тем, что крепостничество — «явление столь исключительное и ни на что не похожее, что иностранцам трудно в него поверить» (1957: 7, 10). Продолжая сравнивать, Виссарион Белинский называл крепостных «белыми неграми», Герцен — «nègres gelés» («замороженными неграми») (1956: 302). Белинский в письме к Гоголю критиковал «ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр — не человек» (1954: 10/213); Достоевский и его товарищи отправились в Сибирь за чтение этого текста. Высмеивая идею, что американское рабство лучше, чем русское крепостничество, так как оправдано чистосердечным заблуждением, Белинский видел между ними и разницу. Никто в России, ни помещики, ни государство, не утверждал, что крепостные — не люди или не христиане, как это делали многие американские плантаторы. В отличие от черных рабов крепостные посещали церковь, а духовенству была вменена в обязанность пастырская забота о крестьянах. Но такое человеколюбие создавало свои проблемы. Дворяне оказывались в трудном положении христиан, владевших другими христианами как собственностью. Не имея собственных крепостных, духовенство должно было учить добру в церквях, где господа и рабы молились одному Богу, и бороться со злом в приходах, где с людьми обращались как с домашними животными.

Ориентализация крестьян была частью когнитивной механики крепостного рабства: к людям нельзя относиться как к собственности, если не конструировать очень больших различий между собой и ними. За сословными законами, определявшими права и обязанности сословий, следовала сословная мораль, которая предписывала особенности поведения и

допустимые возможности общения. В трудах, войнах и браках сословия все время перемешивались, и все же границы между ними охранялись и сохранялись. С 1905-го по 1917-й даже выборы в Государственную думу, первые опыты демократической политики в России, были организованы по сословным принципам. Пропась между дворянами и крестьянами общеизвестна, но велика была и разница между дворянством и духовенством (Manchester 2008). В 1830-х годах профессор философии Московского университета Николай Надеждин предложил руку дворянке, которой он давал частные уроки. Любовь была взаимной, но брак был отвергнут семьей невесты по единственной причине: Надеждин был сыном священника. В 1880-х юный историк Павел Милюков, родом из обедневших дворян, счастливо женился на дочери высокопоставленного московского священнослужителя. Брак пришлось держать в секрете, мать Милюкова не приняла невестку, а сам он чувствовал, что «в общественном смысле это был тупик, из которого дальнейшего выхода не было» (1990: 1/152). Для дворян гораздо проще было вступить в брак с лицом иностранного происхождения, чем с выходцем из низшего сословия; двуязычные русские аристократы называли женщин, которым не случилось происходить из знати, *pas née*, не урожденная (Smith 2012). Даже в академической жизни Милюков чувствовал давление сословных границ. Он объяснял ими неровные отношения со своим университетским профессором Василием Ключевским: сын священника, Ключевский считал себя способным «вычитыва[ть] смысл русской истории, так сказать, внутренним глазом», а дворянину Милюкову отказывал в подобной проницательности. С иронией Милюков объяснял недоверие учителя тем, что тот «переживал психологию прошлого, как член духовного сословия, наиболее сохранившего связь со старой исторической традицией» (1990: 1/115). И правда, Ключевский сделал развитие и борьбу сословий основной темой российской истории, что, наверно, было связано с его происхождением из подчиненного сословия. Многие российские историки и литератур-

ные критики тоже происходили из духовенства, как Ключевский. Напротив, крупнейшие писатели и поэты XIX века были дворянами, у них были поместья и крепостные. Получалось, что в России даже различие между *fiction* и *non-fiction* имело сословный характер.

Освобождение крепостных в 1861 году произошло почти в то же время, что и отмена рабства в Соединенных Штатах, но более мирно. В России было намного больше крепостных, чем в Америке рабов, и отмена крепостного права перестроила жизнь и труд миллионов людей (Kolchin 1987). Поскольку крепостные были собственностью, государственная программа изъятия этой собственности воспринималась как антилиберальная, даже революционная. Освобождая крестьян без согласия их хозяев, государство гарантировало землевладельцам компенсацию, которую крестьяне должны были потом вернуть государству. Таким образом, дворянство субсидировалось и после освобождения крепостных, но при этом оно осталось без своей роли. Около 1857 года правительство еще обсуждало, не стоит ли наделить землевладельцев полицейскими функциями, превращая помещиков в шерифов (Салтыков-Щедрин 1936: 5/73). Реформаторы пошли по другому пути, создав механизм местного самоуправления, который возглавляли выборные дворяне, но сохранив государственную иерархию управления, чиновничью и полицейскую. В итоге почти все — крестьяне, дворяне, чиновники и интеллектуалы — остались недовольны условиями освободительной реформы. И все же ей удалось предотвратить крупные вспышки насилия, которых не избежала в подобной ситуации Америка.

В 1913 году Ленин написал небольшую статью «Русские и негры», и в этом «странном сопоставлении» доказывал, что русские крепостные и американские рабы были освобождены хоть и почти одновременно, но разными методами. Рабы получили свободу в результате кровопролитной войны, крепостные — в ходе мирных реформ, а потому и итоги освобождения в обеих странах были разными. Именно поэтому — не вслед-

ствии чрезмерного, а вследствие недостаточного насилия — «на русских осталось гораздо больше следов рабства, чем на неграх», считал Ленин (1967: 22/346). И так, в 1913 году Ленин полагал, что освободительные реформы в России задержали Гражданскую войну, но не предотвратили ее. Для того чтобы расы или сословия действительно перемешались друг с другом, нужно большое насилие, считал Ленин. Он сделал все, что мог, чтобы реализовать эту идею: вторая часть ему удалась, первая не очень.

Поездка в деревню

В «Грозе» Александра Островского несчастный любовник, молодой волжский купец, уезжает в Бурятию торговать с Китаем¹. В «Анне Карениной» Толстого несчастный любовник, молодой столичный офицер, собирается ехать на службу в Ташкент. Эти ориенталистские истории похожи на те, что Эдвард Саид любил описывать, ссылаясь на английские романы. К ним, однако, прибавлялись путешествия в глубь России. Со времени провозглашения империи и от ее имени отечественные и иностранные исследователи путешествовали по просторам России, совершая необыкновенные открытия. Организованные немцами на российской службе экспедиции XVIII века отправлялись в Сибирь, на Кавказ, в южные степи, но также и во внутренние губернии. Организатор многолетней экспедиции на Камчатку Герхард Фридрих Миллер умер, когда из любопытства объезжал подмосковные деревни (Black 1986; Мюллер 1996). Отвечая на «Историю обеих Индий» Рейналя, Радищев написал «Путешествие из Петербурга в Москву». Наряду с традиционными поездками в Париж и Рим в XIX веке путешествие по Европейской России стало частью гранд-тура, который считался же-

¹ В тексте это торговое место на китайской границе обозначено как Тяхта; имелась в виду, вероятно, Кяхта в нынешней Бурятии.

лательным для юного дворянина (Козлов 1993). Литература Высокого Имперского периода полна путешествий в неведомые земли, населенные странными соотечественниками. В ответ на байроновское «Паломничество Чайлд-Гарольда», где герой отправляется в экзотическое Средиземноморье, Пушкин пишет «Путешествие Онегина», посылая героя в многолетний тур по российским губерниям, из Новгородской в Астраханскую, а оттуда в Одессу (см.: Нокансон 2010: 126). Из пушкинских набросков видно, как во время путешествия панъевропейский дендизм Онегина меняется на импровизированный русский национализм, — развитие темы, которое станет типичным для середины века. Либеральный член императорской семьи, великий князь Константин Николаевич, призывал правительство сосредоточиться на губерниях Центральной России, которые «в центре своем, в тех сплошных коренных русских областях, составляют по народности и вере настоящую и главную силу ее». Сыграв ключевую роль в продаже Аляски и в освобождении крестьян, Константин предлагал избавиться от тех окраин, развивать и защищать которые затруднительно, «дабы сохранить те из своих оконечностей, владение коими возможно и приносит истинную пользу» (История 1997: 3/386; Дамешек, Ремнев 2007). По инициативе Константина Морское министерство и Географическое общество организовали серию новых экспедиций в глубь России. Все больше пресекаясь, политический либерализм и культурный национализм одновременно поворачивались лицом к внутренней России.

21 июня 1826 года российский дипломат и драматург Александр Грибоедов съездил из Петербурга в ближайшую деревню Парголово (ныне это престижная часть города). Занимавший должности в колониальной администрации Кавказа и военной миссии в Персии Грибоедов был отозван в столицу, чтобы провести шесть месяцев под арестом за связь с участниками недавнего Декабрьского восстания. Разбирательство закончилось оправданием Грибоедова, но его комедия «Горе от ума» была запрещена к постановке; теперь он готовился уехать обратно в

Тифлис. Среди этих бурных событий ему хорошо запомнилась поездка в Парголово:

Под нами, на берегах тихих вод, в перелесках, в прямизнах аллей, мелькали группы девушек; мы пустились за ними, бродили час, два; вдруг слышались нам звучные плясовые напевы, голоса женские и мужские... Родные песни! Куда занесены вы с священных берегов Днепра и Волги? — Приходим назад: то место было уже наполнено белокуроыми крестьяночками в лентах и бусах; другой хор из мальчиков; мне более всего понравились двух из них смелые черты и вольные движения.

Потратив пару часов на преследование местных девушек, дворяне вернулись на сельский праздник, чтобы полюбоваться мальчиками. В это идиллическое мгновение парголовские впечатления Грибоедова вдруг становятся необычайно интересными:

Прислонясь к дереву, я с голосистых певцов невольно свел глаза на самих слушателей-наблюдателей, тот поврежденный класс полугерманцев, к которому и я принадлежу. Им казалось дико все, что слышали, что видели: их сердцам эти звуки невняты, эти наряды для них странны. Каким черным волшебством сделались мы чужие между своими! Финны и тунгусы скорее приемлются в наше собратство, становятся выше нас, делаются нам образцами, а народ единокровный, наш народ разрознен с нами, и навеки! Если бы каким-нибудь случаем сюда занесен был иностранец, который бы не знал русской истории за целое столетие, он конечно бы заключил из резкой противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племен, которые не успели еще перемешаться обычаями и нравами (1999b: 276).

Свежий колониальный опыт Грибоедова помог ему понять смысл происходившего в Парголово. Со времен Рюрика прошла почти тысяча лет, а два племени все не перемешались обычаями и нравами. Дворянину из Санкт-Петербурга крестьяне этой контактной зоны кажутся «странными», «невнятными», даже «дикими». Ближнюю поездку за город Грибоедов описывает так, будто это путешествие в далекую страну. Романтическому путешественнику нравятся девушки в лентах и бусах; он любуется движениями и песнями благородных дикарей; он знает, что неправильно понимает смысл этих песен и ритуалов. Пришелец мечтает соединиться с туземцами, но с печалью признает, что это невозможно. На Кавказе Грибоедов тоже попадал в такие ситуации, но его скорая женитьба на грузинской княжне покажет, что в истинно экзотической стране культурная пропасть была преодолима. Но Парголово не Тифлис: экзотики в деревне не было, была только пропасть. Цивилизованные финны живут поблизости от Парголово, а дикие тунгусы — далеко в Сибири, но у обоих народов больше шансов попасть в имперскую элиту, чем у русских крестьян, утверждает Грибоедов. Контраст географической близости и культурной дистанции не мог быть более резким. Пространство ничего не значит в империи, где социальные расстояния длиннее географических, которые тоже огромны. Там, внутри империи — в местах, подобных Парголово, — билось сердце тьмы.

Коренного населения тут не было. Некогда принадлежавшая Швеции и населенная финнами, эта пригородная земля была заполнена переселенцами, которых пригнала империя, чтобы обслуживать и кормить столицу. Не вдаваясь в детали, Грибоедов предположил, что этих крестьян привели сюда со «священных берегов Днепра и Волги», даром что эти берега почти так же отстоят друг от друга, как от берегов Невы. Булгарин, сопровождавший его в Парголово, уточнил, что местные крестьяне были переселены из «внутренних российских губерний» пятьдесят лет назад, в царствование Екатерины (1830: 155). Оба проявили этнографический интерес к этим переселенным кре-

стьянам, а Грибоедов намеренно насытил свою притчу эротическими намеками, что было типичным для нарративов о контактной зоне (Pratt 1992).

В этих коротких заметках о коротком путешествии за город чувствуется острое недовольство. По формуле Грибоедова, российскому дворянству не удалось стать истинными европейцами потому, что оно было чуждо собственному народу. Знаток истории, Грибоедов понимал, что именно эта чуждость и определяет механизм имперской власти в России. Кроме как в грешные свои минуты, элита не смешивалась с простолюдинами, потому что сегрегация была для нее залогом самосохранения. Неспособность его спутников-дворян, русских и не русских (Булгарин был поляком), понять сельский праздник и принять в нем участие превращает их всех в «поврежденный класс полужуревцев». Грибоедов считал, что истинно европейская элита должна быть теснее соединена с народом. Но он, наверно, помнил, как за несколько десятилетий до него, накануне революции, его французские коллеги-писатели отмечали тот же раскол между собой и народом. Дворяне, писал аббат Сийес (Sieyes 2003), — «изолированный народ», «чужестранцы» в собственной стране, где «третье сословие — все».

Трясаясь в пыли между Петербургом и Тифлисом, Грибоедов задумал масштабный проект, который мог бы изменить судьбу империи. В 1828 году он подал в правительство план учреждения Российской Закавказской компании, спланированной по образцу британской Ост-Индской компании. План Грибоедова включал переселение тысяч крестьян из центральных губерний на Кавказ, чтобы создать там новые колонии, десятки новых Парголовых. Образцом для российской колонизации Кавказа должна была стать британская колонизация Северной Америки. Но американские колонии уже добились свободы от британской метрополии, и российское правительство, пристально следившее за событиями в Америке, видело в этом новые причины для беспокойства за судьбу Кавказа и Сибири. По этой или другой причине, но проект был отвергнут, а Грибое-

дов получил назначение послом в Персию. Он был убит в Тегеране толпой мусульман, разгромившей российское посольство в 1829 году, меньше чем через год после его женитьбы на грузинской княжне.

Имперская меланхолия

На другом конце Европы Роберт Юнг писал: «Сколь меланхолично думать, что более девяти десятых рода человеческого обречено быть рабами деспотичных тиранов!» (Young 1772: 20). Прогулка в Парголово давала пищу еще более критическим размышлениям. В колониальной ситуации расовое различие определяет различие в статусе; Грибоедов знал, как этот принцип работает на Кавказе. В деревне около Петербурга он обнаружил такие же соотношения, хоть все там были одного цвета кожи. Сословное неравенство настолько изменяло воспринимаемые характеристики людей, что казалось — они принадлежат разным племенам; эту не очень понятную силу Грибоедов и называл черной магией. Она действовала везде, где люди, сходные по расе и языку, чувствовали себя «чужими между своими». Дворянские усадьбы и деревенские праздники, церкви и школы были «контактными зонами» (Pratt 1992), местами межкультурной коммуникации и конфликта, где разворачивались рутинные драмы, свойственные колониальному порядку.

Пока крепостной не бежал от хозяина или не был им убит, государство не вмешивалось в жизнь поместья. Закон был не для крестьян: они работали и торговали вне закона. Историк Михаил Погодин, сам сын крепостного, с добрым юмором называл крестьянина «нашим национальным зверем» (2011: 24). Юрист и сенатор Кастор Лебедев описывал в 1854 году свою поездку в орловскую деревню с нарастающим чувством трагедии:

Крестьяне... очень недалеко от домашних животных. Этот старик не мытый, никогда не чесанный, босоногий; эта

женщина полуобнаженная, мальчишки грязные, растрепанные, валяющиеся в грязи и на соломе, все это нечеловеческие фигуры! Все они, как будто вне черты государственной жизни, как будто незаконные дети России, как будто побежденные мечом победителей им не соплеменных; как будто записки советов и комитетов, все эти дела в судах и палатах не об них, не для них (1888: 354).

Для крестьянина быть «вне черты государственной жизни» — вне закона — значило принадлежать к «побежденному племени», которое низведено победителями до уровня «домашних животных». В терминах Джорджо Агамбена, которые вполне понял бы классически образованный юрист XIX века, крестьян можно было наказывать, но для жертвоприношения они не годились: их жизнь была голой, прав и ценности она не имела (Agamben 1998). Но эта ситуация колониального раздвоения обездоливала и дворянина, унаследовавшего Рюриков «меч победителей». Живя теперь, как Лебедев, в высших сферах писаного права и законодательных комитетов, дворянская элита воспринимала свою деятельность как пустую и ничтожную именно потому, что эта деятельность шла мимо тех, чью жизнь должна была улучшать и просвещать. В своих меланхолических размышлениях Лебедев и Погодин сравнивали крестьян с животными; Грибоедов и Лебедев описывали океанское различие между господами и крепостными, уподобляя их разным, несоплеменным группам; и все они ссылались на Рюрика. Эта серия рассуждений, уподоблявшая дворян пришлым колонизаторам, а крестьян диким туземцам и, далее, домашним животным, была не исторической моделью, а скорее моделью памяти, верной или неверной, но выразительной и острокритической. Переговоры Рюрика с пригласившими его племенами, возможно, и имели место где-то у Парголова, только было это очень давно, и с тех пор все могло и должно было измениться; но российская власть — советы и комитеты, суды и палаты, романы и реформы — никак не могла ни укрепить, ни разрушить

унаследованные с тех пор неравенства. Рассказывая о социальных отношениях на языке культурных различий, меланхолические метафоры уподобляли сословный порядок внутренней колонизации.

В 1976 году в лекции в Коллеж де Франс Мишель Фуко дал свое определение расы: «Есть две расы, если имеются две группы, которые, несмотря на их совместное проживание, не смешались... которые не имеют... одного и того же языка и часто общей религии». Такие расы формируют «единство и политическое целое только ценой войн, нашествий, завоеваний, баталлий, побед и поражений» (2005: 92—93). Иными словами, расы смешиваются только в результате большого насилия. Как и русские критики сословного права, Фуко отделял понятие расы от колониального дискурса и применял его к отношениям между группами внутри Европы. Политика есть продолжение войны другими средствами, формулировал Фуко; борьба рас, наполнявшая колониальную историю, была центром и истоком политики самих метрополий. Исследуя, как английская и французская революции оживили древнюю память о войнах между римлянами и кельтами, саксами и норманнами, Фуко говорил о внутреннем колониализме, который предреволюционная Европа практиковала в отношении самой себя (2005: 117). Когда английские или шотландские короли заявляли о своем божественном праве царствовать, они представляли себя как потомков Вильгельма Завоевателя, короля норманнов (и младшего соплеменника Рюрика). Теория божественного права не просто была связана с теорией норманнского завоевания — это была одна и та же теория. Соответственно, те, кто ставил власть королей под вопрос, — например, радикальные сектанты периода английской революции, — протестовали против «норманнского ярма» и взывали к «народному праву» саксов. В средневековой Франции Фуко обнаружил схожие конструкции. Он мог бы упомянуть и многие русские примеры, вплоть до настойчивой революционной идеи, что Романовы — «немецкая династия»; эту идею повторяли многие, от Бакунина до лидеров 1917 года.

Социальные историки-марксисты интерпретировали эти расовые идеи как скрытую форму классовой борьбы. Фуко в своих лекциях о биополитике, напротив, нейтрализовал само различие между классом и расой. Он представил слушателям два мифологических языка — язык расы и язык класса — как взаимозаменяемые. Иногда к реальному опыту исторических деятелей был ближе первый, иногда второй: у разных теоретиков и идеологов были разные предпочтения. Обобщая, Фуко представляет политические философии Гоббса и Маркса как попытки усмирить конфликт между расами, нейтрализовав его новым понятийным языком. Как Маркс, хоть и другим способом, Гоббс предлагал сложные модели — природное состояние, договор, суверенитет, — которые сделали бы расовый конфликт несущественным. Именно память о норманнском завоевании была тем, что Гоббс стремился «исключить» при помощи своей политической философии (Фуко 2005: 125). В этом смысле Фуко говорил здесь, что гоббсовский Левиафан — «невидимый противник» норманнского завоевания или, скорее, памяти о нем.

В нарративе Фуко о расовых войнах в истоке и сердце Европы много увлекательного, многое и преувеличено (Stoler 1995). В отличие от других его идей, эти мысли Фуко о белых расах не вошли в основной корпус, востребованный гуманитарной наукой. Американские теоретики расы, в других ситуациях радостно следующие за Фуко, уклонились от сравнений своего понимания расы и трактовки ее в лекциях Фуко о биополитике. Однако в российской историографии был интересный момент, связанный с борьбой расы и класса в интерпретации истории по сценарию, близкому к тому, что предложил Фуко. В середине XIX века два казанских ученых, Степан Ешевский и его ученик Афанасий Щапов, создали несколько важных работ по истории рас в России. Вскоре их труды потерялись в тени двух московских историков, Сергея Соловьева и его ученика Василия Ключевского, которые создали российскую версию социальной истории как истории сословий.

Столица татарских ханов, Казань была захвачена московскими войсками в 1552 году, открыв путь новой, самой масштабной волне русской экспансии на восток. В 1804 году там был открыт Императорский Казанский университет, который на протяжении почти всего XIX века оставался самым восточным в империи, обслуживая ее окраины и колонии от Волги до Тихого океана. Там совершались необычные открытия, там учился Лев Толстой. «Воображаемая геометрия» казанского профессора Николая Лобачевского была построена на предположении, что параллельные прямые пересекаются в ином, но постигаемом мире. История Ешевского также противоречила здравому смыслу, хоть стояла ближе к реалиям русской и татарской жизни. Историк Древнего мира и Средневековья, Ешевский читал такие курсы, как «Центр Римского мира и его провинции» и «Расы в русской истории», создавая в них богатые и сбалансированные нарративы колонизации, сопротивления и межкультурного обмена. Основной идеей этих курсов был непобедимый дух колонизованных народов, который обогащает имперскую культуру и в конечном счете переживает ее. Эту диалектику Ешевский наблюдал в Казани и других местах современной ему России, которую он охотно сравнивал с Америкой. В 1864 году он открыл свой курс о расах в России детальным обзором расовой проблемы в Гражданской войне в Америке: «Какова бы ни была его [расового вопроса] важность для политической жизни Северо-Американских штатов, его важность еще существеннее для истории как науки» (1870: 27). Общество обязано науке тем, считал Ешевский, что человечество больше не воспринимается как «безразличная масса, развивающаяся всюду и всегда одинаково» (1870: 55). Человечество разделено на расы, у которых есть физические и духовные проявления. Расы стабильны и узнаваемы, полагал он, в то же время подчеркивая их способность смешиваться, сливаться и изменяться. Стремясь к синтезу истории, лингвистики и этнографии, Ешевский критиковал науку о расах XIX века — физическую антропологию, различая два понятия, «креолизация» и

«гибридизация». Различие он видел в том, что животные-гибриды не могут размножаться, а смешение человеческих рас — креолизация — продуктивно. Ешевский отвергал расистскую идею о том, что креолы обречены на дегенерацию; напротив, он считал мулатов и метисов более жизнеспособными, чем чистые расы. В то время как его французский современник, Артур де Гобино, заявлял, что «цивилизация падает из-за расовой дегенерации, а порча расы происходит от смешения кровей» (цит. по: Arendt 1966: 172), Ешевский считал смешение рас источником прогресса. Говоря о США и о России, Ешевский видел в человечестве единое целое, а в исторических переменных — не вытеснение и смену одной расы другой, а смешение и поглощение рас. Читая этот курс уже в Московском университете в 1864 году (где его наверняка посещал Ключевский), переехавший из Казани профессор не особо подчеркивал свои наблюдения среди русских и татар, предпочитал ссылаться на опыт мировой науки; но казанские источники его интуиции очевидны читателям и, наверно, были ясны слушателям. Даже в сравнении с позднейшими идеями так называемой либеральной антропологии (Могильнер 2008) идеи Ешевского выглядят поразительно современными и антирасистскими.

Особенный опыт Казани, дополненный концепциями колониальной антропологии, помог Ешевскому предложить новый взгляд на российскую историю. Значительная часть европейской России, писал ученый, была ранее населена финской народностью. К началу летописной истории финны жили не только на месте Новгорода, но и там, где возникла Москва, а еще раньше их поселения на юге доходили до Киева. Однако потом всех их сменили славяне.

Что же значит это? История не помнит ни выселения туземцев массами в другие страны, ни еще менее систематического их истребления русскими... Факт совершился как-то незаметно. Ни в летописях, ни в народных преданиях нет воспоминаний о кровавой борьбе русских насельни-

ков с туземцами, а между тем на чисто финской местности, занимаемой финскими племенами... сплошной и густою массой живет чисто русское население и притом такое, которое считает себя представителем русской народности, которое говорит самым чистым и самым богатым из русских наречий (Ешевский 1870: 97).

У древних славян не было ни огнестрельного оружия, как у Кортеса, ни передовой организации, как у римлян, аргументировал Ешевский; поэтому они не могли уничтожить финнов. Зато славяне смешивались с финнами и ассимилировали их. Этот аргумент вряд ли верен: в значительной части российская экспансия происходила уже тогда, когда русские овладели порохом и пешим строем, а местные племена их не имели. Казань была взята правильной осадой и подрывом стен, но последовавший за этим процесс взаимного перемешивания был, в восприятии Ешевского, мирным. Так и смешение рас на Русской равнине — «все степени поглощения татар и финнов русскими» — не оставило исторической памяти о себе, рассуждал Ешевский, из-за своего постепенного и ненасильственного характера.

Интересно, что Карамзин и Ешевский утверждали как один из главных уроков российской истории именно то, что Милюков потом отрицал по фактическим, Ленин по политическим, а Фуко по теоретическим причинам: возможность постепенного, ненасильственного смешения рас. Отрицание насилия в прошлом и настоящем было риторической стратегией русского национализма и российского империализма. По тем же причинам их враги и критики утверждали постоянное, и даже определяющее, значение насилия.

Отрицательная гегемония

В России патриотически настроенные авторы, многие из которых и сами были имперскими администраторами, с удо-

вольствием признавали иностранное происхождение многих людей, идей и символов, определивших их культуру. Корни культуры могут или даже должны быть иностранными, лишь бы плоды ее были национальными. Империя — источник благ для русского народа и просвещения для инородцев; все равно ее происхождение лучше искать среди викингов и амазонок. На ранних этапах даже императоры обоих полов не возражали против того, чтобы их поэтические портреты писались ориентальными красками, противопоставлявшими их Европе, откуда они вновь, как Рюрик, приходили в Россию. Классическим примером самоориентализации российской власти является ода «Фелица», которую Гавриил Державин посвятил Екатерине II в 1782 году. Родившийся под Казанью и гордившийся своими татарскими корнями, Державин стал олонецким наместником, тамбовским губернатором и, наконец, министром



Илл. 11. Портрет Гавриила Державина. Сальватор Тончи. 1801, Иркутский государственный музей. Поэт изображен в соболиной шубе и шапке, на фоне Иркутска. Державин никогда не был в Сибири.

юстиции, но вся эта блестящая карьера началась именно с «Фелицы». Российская императрица воспевается как «Богopodobная царица Киргиз-Кайсацкия орды». Кочевое племя «киргизкайсаков» (казахов) было только что приведено под власть России, и ода воспекает это завоевание Екатерины. И все же восточный символизм этого текста не объясняется историческим фактом недавнего мира, заключенного в далеких степях, а потому будит воображение многих поколений исследователей. Следуя условностям жанра, эта ода превращает Екатерину в образец добродетелей, а автора — в скромного подданного, который следует за монархом, поднимаясь по лестнице совершенства. Но императрица, немка по рождению, не становится в этой оде источником вестернизации, а Державин не изображает себя ее восточным подданным. Напротив, это Екатерина оказывается вождем восточной орды, ее российские придворные — «мурзами» (татарской знатью), а вся империя помещается на сказочном востоке, «в Багдаде, Смирне, Кашемире». Смиренный рассказчик подробно рассказывает, как он борется со страстями тела и пережитками прошлого, подражая своей восточной владычице. Это не сатира и не пародия; это ода, успех которой при дворе свидетельствует о том, что необычная риторика самоориентализации была там понятна и воспринималась всерьез. Разворачивая порядок доминирования вспять, экзотизирующий взгляд на суверена показывает, как рано русская литература ревизовала классическое наследие европейского ориентализма и какие политические последствия имела эта ревизия.

Русский роман часто изображал любовь между партнерами, не совпадающими в расовом или социальном отношении, представляя смерть одного из них как жертвоприношение, которое раскрывает глубокую динамику исторической ситуации (см. главу 11). В ситуации внешней колонизации таким сюжетом, отлично известным и европейской романтической традиции, была любовь имперского офицера и туземной красавицы. В «Кавказском пленнике» Пушкина и «Бэле» Лермонто-

ва любовь фатальна для страстных, благородных дикарок, а их любовники, столичные дворяне, оказываются (и прямо называются) виновниками их гибели. В поэме Пушкина романтический герой едет на Кавказ за «веселым призраком свободы», но попадает в плен к горцам, которые держат его в цепях, как аманата. Раненого, его выхаживает черкешенка, которая под конец поэмы жертвует собой, чтобы помочь ему бежать. Он переплывает реку, служившую границей между черкесами и русскими, и оглядывается назад: его черкешенка бросилась в воду, по которой еще расходятся круги. Хороший пловец, он мог бы, наверно, спасти ее, но он уходит в русский лагерь. Более сложна фабула «Бэлы», но и там русский офицер сначала соблазняет горскую красавицу, а потом предает ее, и она умирает в мучениях. Эти морализирующие сюжеты, острокритические в отношении русских завоевателей, искупают или, возможно, деконструируют империалистические лозунги, которые есть в тех же текстах. Очевидное противоречие между моральным уроком любовной истории и имперской идеологией, выраженной в прологах и эпилогах, создает многослойную динамику, которая издавна притягивает критиков.

С его множественными рассказчиками, эксцентричным героем и экзотическими красавицами, роман Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» (1840) является одним из самых почитаемых литературных памятников имперскому опыту России. Как и Лермонтов, главный герой храбро сражается в Кавказской войне. Как Грибоедов, герой умирает во время дипломатической миссии в Персию. Блестящий и неуравновешенный Печорин, которому удастся сочетать боевые подвиги на Кавказской войне с любовными приключениями, чередующими русских и туземных красавиц, противопоставлен Максиму Максимычу, бедному и одинокому офицеру оккупационной армии. Прослужив на Кавказе 25 лет, Максим Максимыч открывает роман типично колониальной загадкой. Осетины перегоняют две тележки через горный перевал. Одна тележка легкая,

но ее не могут сдвинуть шесть быков, другая тяжелая, но ее тянут четыре быка. Легкий экипаж принадлежит новичку на Кавказе, тяжелый — бывалому офицеру. Осетины и даже их быки используют обман и саботаж («оружие слабых», так постколониальные антропологи назовут эту тактику), чтобы одурачить русских и получить от них больше денег. «Ужасные бестии эти азиаты!» — восклицает Максим Максимыч (Лермонтов 1958: 4/10). Несмотря на это обобщение, он демонстрирует детальное знание местных обычаев. Он курит кабардинскую трубку, носит черкесскую шапку, предпочитает чеченцев осетинам и все время говорит о разных кавказских народах. Его глазами мы видим загадочного Печорина, которого он сопровождал по непостижимой Азии.

В небольшом очерке 1841 года «Кавказец», который является лучшим комментарием к «Герою нашего времени», Лермонтов дает этнографический анализ таких людей, как Максим Максимыч и другой наш знакомый, гоголевский майор Ковалев, — верных слуг империи, офицеров и чиновников армии,



Илл. 12. Портрет военного со слугой. Карл Брюллов. 1830-е годы. Обратите внимание на восточный фон, различие костюмов и внешнее сходство офицера и слуги.

сражавшейся в восставшей колонии. «Кавказец» в этом очерке — российский офицер, который отменно знает и страстно любит своего врага, неусмиренные племена Кавказа. «Существо полурусское, полуазиатское», с каждым проведенным на Кавказе годом этот офицер все больше ориентализирует сам себя. Вначале он узнал о Кавказе из пушкинского «Кавказского пленника», тогда и «воспламенился страстью к Кавказу»; с тех пор он и сам собрал много сведений об обычаях, легендах и искусствах разных племен. Ему известны их вожди и родословные, а их коней, оружие и женщин он предпочитает российским. «Казачки его не прельщают, он одно время мечтал о пленной черкешенке»; но он не Печорин, и эта мечта оказалась несбыточной. Теперь русский «кавказец» искренне восхищается тем, как горцы живут, ездят на коне, сражаются в бою. Его любимое занятие в компании однополчан-«кавказцев» состоит в том, чтобы обсуждать и сравнивать между собой кавказские народы, прихвастывая собственными победами или фантазиями. «Кавказец» учил местные языки и говорит по-татарски, но плохо знает, как относиться к своей страсти к врагам-инородцам. «Наклонность к обычаям восточным берет над ним перевес, но он стыдится ее при... заезжих из России». Лермонтов относится к изображенному им «кавказцу» с уважением, но критически: «Чуждый утонченностей светской и городской жизни, он полюбил жизнь простую и дикую; не зная истории России и европейской политики, он пристрастился к поэтическим преданиям народа воинственного». Агент имперской власти, российский офицер на Кавказе превратился в антрополога-любителя, который чувствует соблазн перенять жизнь туземцев и не видит причин этому соблазну противостоять (Лермонтов 1958: 4/159, см. также: Layton 1994; Barrett 1999). Разница между «кавказцами» Лермонтова и «ташкентцами» Салтыкова-Щедрина, между Максимом Максимычем и майором Ковалевым в том, что первые описаны в новообретенной ими стихии колониальной жизни, а вторые застигнуты в тяжелый момент возвращения в метрополию, где привычка к насилию встречается с критичес-

кой иронией, а детальные знания далекой туземной жизни не вызывают интереса даже у писателя-реалиста.

Изощренный Лермонтов одинаково дистанцировался и от разрушительного снобизма Печорина, и от наивного ориентализма Максима Максимыча. Однако на протяжении долгого XIX века все большая часть русской литературы и мысли стала отдаваться соблазнам туземной жизни, и чаще всего в отношении русского населения. Отказаться от привилегий высших сословий и слиться с простым народом — в этом все чаще видели миссию образованного класса. Исторически тяготение русских «кавказцев» и «ташкентцев» к нерусским народам империи — устойчивый сплав насилия, знания и любви — предшествовало обильной «народнической» литературе второй половины XIX века и политическому «хождению в народ» (Hokanson 1994).

Около 1820 года балтийский немец на службе в российском флоте, капитан Фердинанд Врангель, по пути в Русскую Америку посетил Якутск. Там он застал большую ярмарку, где меха обменивались на зерно, табак и водку. Все русские в этом городе занимались пушной торговлей; охотники, ремесленники и возчики в городе были якутами. Большинство их было крещеными, и даже иконы в пяти церквях города были написаны якутами. Тем не менее, отмечал Врангель, они сохраняли и обычаи шаманизма. Богатые русские семьи нанимали якутских нянь для своих детей. Многие здесь были смешанного происхождения и говорили по-якутски и по-русски, да и выглядели одинаково: и русские, и якуты носили традиционную меховую одежду, которая помогала выживать в арктическом климате. Похожей была и их диета: сухая рыба перерабатывалась в муку, из которой пекли хлеб и пироги, потому что зерно было слишком дорого. Перед нами картина богатой культурной гибридации, в которой влияния идут в обе стороны, потомки шаманов пишут православные иконы, хлеб пекут из рыбы, а светское общество вместо французского говорит на якутском:

Первоначальным воспитанием здешнего юношества объясняется с первого взгляда странным кажущееся явление, что даже в несколько высшем кругу общества якутский язык играет почти столь же главную роль, какую французский в обеих наших столицах. Это обстоятельство крайне поразило меня на одном блестящем праздничном обеде, который давал богатейший из здешних торговцев мехами в именины своей жены. Общество состояло из областного начальника, почетнейшего духовенства, чиновников и некоторого числа купцов, но большая часть разговоров была так испещрена фразами из якутского языка, что я, по незнанию его, принимал в беседе весьма слабое участие (Врангель 1841: 171).

Хотя обратная ассимиляция — не редкость в истории империй, сосуществование якутов и русских было на редкость мирным. Народ с традиционной культурой гостеприимства и иммунитетом к европейским болезням, якуты меньше пострадали от пушного промысла, чем другие коренные народы. Севернее и восточнее Якутска несколько воинственных племен, отказавшихся от выплаты ясака и других форм общения с русскими, были уничтожены. Гражданский мир в Якутске и колониальная война на Кавказе были двумя предельно различными ситуациями, но в обеих мы видим, что влияние русских на коренное население шло параллельно с обратным влиянием коренного населения на русских. Как показал Лермонтов с недостижимой для историка убедительностью, даже во время кровавой войны представители доминирующей власти восхищались нравами угнетенных и подражали им.

К середине XIX века слово «креол» стало в Сибири общепринятым. Многие сибиряки — русские, креолы и инородцы — владели двумя языками и культурами, русской и местной, смешивая их до неразличимости. Эти долгосрочные трансэтнические, часто гендер-специфичные процессы ассимиляции, гибридизации и мимесиса были продуктивны для культуры

Российской империи. Ученик Ешевского Афанасий Шапов документировал эти явления в серии статей, написанных им в 1860-х годах, в сибирской ссылке (1906: 2/365—481). Сам сибирский креол, Шапов доказывал, что Россия возникла в результате тысячелетней «славянской колонизации» земель, которые принадлежали финнам, татарам, якутам и другим народам; всего Шапов насчитал их 111. Эта колонизация — сущность российской истории, с ней связана «вся наша правда и наша вина». Приводя примеры уничтожения тихоокеанских племен российскими казаками и матросами, Шапов полагал теперь, что более ранние славянские вторжения по всей Евразии были не менее кровавыми, просто память о них стерлась. Этим новым пониманием роли насилия и забвения в процессе колонизации Шапов поправлял своего казанского учителя Ешевского. В двух больших частях России, которые Шапов знал и любил, — в татарских землях вокруг Казани и в Западной Сибири, — русские частично ассимилировали коренное население, крестив часть туземцев, заключая смешанные браки, передавая им свои ремесленные навыки и таким образом включая их в российскую экономику. На многих примерах Шапов показал, что у российской колонизации был и обратный, доселе неизвестный аспект: русские перенимали навыки, обычаи, инструменты, одежду, язык и даже внешний вид местного населения. Современный историк приводит немало своих примеров «коренизации» русских в разных районах Сибири (Sunderland 1996).

Обобщая опыт британской колонизации Индии, историк Ранаджит Гуха (Guha 1997) предложил концепцию «доминирования без гегемонии». Эта критическая в отношении Британской империи формулировка близка к давним идеям русских мыслителей, предлагавших иные пути для Российской империи. В самом начале Высокого Имперского периода граф Уваров объяснял коллегам, что «завоевание... без исправления состояния побежденных — тщетная, кровавая мечта» (цит. по: Майофис 2008: 281); Хомяков писал о бедах, к которым ведет колонизация «без того превосходства духа, который по край-

ней мере часто служит некоторым оправданием завоеванию» (Хомяков 1988: 430). Лишенное культурной гегемонии, силовое доминирование британцев создавало неустойчивую ситуацию недоверия, сопротивления и вспышек насилия, характерных для британской Индии так же, как для российских Кавказа, Урала, Средней Азии. Но обратная ассимиляция, какую мы видели в Якутии и на Кавказе, добавляет к этой большой картине новые краски. В такой ситуации доминирование и гегемония не просто принадлежали разным историческим агентам, но развивались в полярных направлениях: силовое доминирование принадлежало Российской империи, а культурная гегемония, наоборот, оставалась за коренным населением и в этом виде разделялась имперскими колонистами и колонизаторами. Коллежские ассессоры и армейские поручики, которых служба занесла во всевозможные углы Евразии, от Риги до Камчатки, с неожиданной легкостью, а иногда и страстью перенимали местный образ жизни. Одни брали туземных любовниц, другие нянь; следующее поколение получалось двуязычным, и в нем становились нормой смешанные браки. Российское доминирование оставалось постоянным и насильственным, а российская гегемония в этих местах не просто отсутствовала. Ее осуществляли туземцы, а русские пришельцы перенимали их образ жизни, ценили их оружие, носили их одежду, говорили на их языке. Российская гегемония была негативной величиной. Подобно температуре по Цельсию, гегемония по Грамши в России часто бывала отрицательной.

Примеры такой арифметики известны историкам, хотя описывались иначе: *going native*, обратная ассимиляция, коренизация, месть побежденных... В наброске своей «всеобщей истории» Гоголь описывал колонии Римской империи в выразительных терминах, которые он, сам родом из колонии, применял к ситуации в Российской империи: «Римляне перенимают все у побежденных народов, сначала пороки, потом просвещение. Все мешается опять. Все делается римлянами и ни одного настоящего римлянина!» (1984: 6/39; Wojanowska

2007: 107). Ассимиляция среди «побежденных» народов грозила упрощением нравов, искажением иерархий, обращением прогресса вспять. Трактующие в руссоистском, народническом, потом толстовском или даже марксистском ключах — как бегство в природу, хождение в народ, возврат к примитиву, первобытный коммунизм, — стратегии опрощения противостояли прогрессистским и колонизаторским намерениям власти. Но они могли использоваться и иначе, как оправдание российского колониализма ссылками на авторитарные традиции «диких» народов, далеких и близких. В 1819 году Михаил Магницкий был назначен попечителем Казанского университета, где обязал всех профессоров доказывать преимущество Священного Писания над наукой, заменил преподавание римского права «византийским правом» и ввел жесткий режим, который, по его мнению, отвечал имперской миссии восточного университета; впрочем, в него и до, и долго после Магницкого принимали только студентов-христиан. В это время из кругосветной экспедиции в Казань вернулся астроном Иван Симонов, подаривший университету коллекцию предметов, собранную среди маори на островах Новой Зеландии; коллекция включала большой деревянный жезл вождя. Вдохновленный этим жезлом, Магницкий писал в послании Совету университета:

Любопытно и вместе с тем утешительно, что вопреки всем неистовым теориям естественного права о равенстве и безначалии естественного человека, перед глазами нашими открытые, дикие, истинные сыны природы присылают нам непреложный знак их покорности и естественного единодержавия (Воробьев и др. 1957: 9).

История российской колонизации Сибири полна тревожных рассказов об отатаривании, отунгузивании, объякучении, окиргизивании русских поселенцев и одновременно о «культурном бессилии» и низкой «ассимиляционной способности» российских крестьян и казаков. Объездивший Сибирь Нико-

лай Пржевальский писал: «Ассимилирование происходит здесь в обратном направлении. Казаки перенимают язык и обычаи своих инородческих соседей; от себя же не передают им ничего. Дома казак щеголяет в китайском халате, говорит по-монгольски или по-киргизски... Даже физиономия нашего казака выродилась и всего чаще напоминает облик своего соседа-инородца» (цит. по: Ремнев, Суворова 2011: 166). Но и те колонисты, кто сохранил русский язык, быстро превращались в сибиряков, гордившихся своими отличиями от соотечественников «из России». Сравнивая их с русскими крестьянами, приезжие приписывали сибирякам «сухой материализм», «сытое довольство», забвение фольклорных и общинных традиций. Во втором поколении сибирские колонисты и правда жили иначе и лучше, чем их двоюродные братья и сестры в российской метрополии. Обобщая путевые заметки и воспоминания приезжих русских, сибирские исследователи обобщают этот мотив в фигуре сравнения: «Подобно англичанину, который превратился в янки, русский превратился в сибиряка» (Ремнев, Суворова 2011: 184). Народническая интеллигенция, к которой принадлежали русские этнографы и из которой все чаще выходили российские чиновники, воспринимала эти изменения с грустью, даже скорбью.

Отрицательная гегемония могла сосуществовать с относительно мирным доминированием, как в Якутии, но ее сочетание с массовым насилием на Кавказе было обречено на провал. От Гоголя до Конрада и от Пушкина до многих поколений профессиональных ориенталистов (Березин 1858; Morrison 2008: 288) интеллектуалы по обе стороны колониальной пропасти — колонизованные и колонизирующие — считали такую ситуацию бесперспективной. Они удивлялись российской неспособностью дать покоренным народам позитивные образцы, привлекательные для них культурные формы, действительно нужные им товары и другие элементы высшей цивилизации. Но, как мы знаем в наш постколониальный век, другие цивилизации — британская, французская и прочие — тоже оказались не очень

способны играть эту высокую роль. Готовность русских ассимилироваться среди покоренных народов, однако, давала шанс парадоксальной надежде, что русские обладают уникальным для имперской нации видением мира — смиренным, отзывчивым, космополитичным. Хотя эту идею обычно ассоциируют с пушкинской речью Достоевского (1880) и с ее поэтическим развитием у Блока (1918), она развивалась на протяжении всего Высокого Имперского периода. Опережая развитие этой идеи, западник Карамзин возражал против нее в национальном ключе:

Истинный Космополит есть существо метафизическое или столь необыкновенное явление, что нет нужды говорить об нем, ни хвалить, ни осуждать его. Мы все граждане, в Европе и в Индии, в Мексике и в Абиссинии; личность каждого тесно связана с отечеством: любим его, ибо любим себя (1989).

И наоборот, создавая в 1840-х годах всеобщую историю миграций, славянофил Алексей Хомяков пытался увидеть в этой ситуации «открытости» и «космополитизма» особенность и преимущество российского пути колонизации:

Ни один Американец в Соединенных Штатах... не говорит языком краснокожих... И даже флегматический толстяк болот Голландии смотрит в своих колониях на туземцев, как на племя, созданное Богом для служения и рабства, как человекообразного скота, а не человека... Русский смотрит на все народы, замезеванные в бесконечные границы Северного царства, как на братьев своих, и даже Сибиряки на своих вечерних беседах часто употребляют язык кочевых соседей своих, Якутов и Бурят. Лихой казак Кавказа берет жену из аула Чеченского, крестьянин женится на Татарке или Мордовке, и Россия называет своей славой и радостью правнука негра Ганнибала, тогда как свободолюбивые

проповедники равенства в Америке отказали бы ему в праве гражданства (1871: 1/107).

Фейерверки

Доминирование может быть эффективным как при наличии общего языка, веры и образования, так и без них. Гегемония невозможна без общей культуры, разделяемой колонизованными и колонизаторами с их разными слоями, расами и сословиями. Российская империя экспериментировала в течение двух столетий, комбинируя эти процессы на основе развивавшихся технологий. Важнейшим из факторов, помогших этой империи захватить и контролировать огромные пространства Евразии, был порох. Огнестрельное оружие было двигателем российской колонизации, начиная со взятия Новгорода и Казани и до Сибири, Аляски и Средней Азии. Благодаря его двум характеристикам — поражающей силе и легкости контроля над его распространением — государство смогло монополизировать насилие на огромной территории. Британскую империю создал парус, Российскую — порох.

В определенных ситуациях порох, универсальная субстанция доминирования, обеспечивал и гегемонию над сердцами и умами подданных. В редкие мгновения ритуального единения салюты и фейерверки создавали официальный язык, объединявший неграмотных и образованных, владевших менявшимися языками империи и тех, кто их не знал. Своей способностью подражать стихиям фейерверки позволяли империи говорить с подданными на языке света, движения и звука, который был уникально свободным от культурной специфики.

Начиная с Петра I фейерверки демонстрировали подданным мощь и красоту империи. Переполненные аллегорическими значениями, они поражали всех, хотя только владевшие высоким языком культуры могли расшифровать их скрытые послания. Стихи и эмблемы высвечивались, вертелись и взры-

вались в небе, позволяя ритуалам империи подражать деяниям бога-громовержца. Петр видел педагогическую связь между фейерверками и огнестрельным оружием: привыкши к фейерверкам, подданные будут меньше бояться пушек, говорил он. Создание фейерверков было одной из основных функций Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге: таким способом Академия доказывала свою пользу для государства. Размах фейерверков был поистине современным: в 1732 году на Неве за две минуты были зажжены 30 тысяч факелов (Сариева 2000: 89). Регулярные фейерверки были одним из немногих событий в имперской России, в которых элита соединялась с массами, — первым средством массовой коммуникации. Празднуя победу над шведами в 1710 году, пылающий российский орел запускал ракету в горящего шведского льва. Фейерверки изображали битвы, пейзажи, карты и показывали другие образы колониального завоевания — турецкие крепости, шведские корабли, а однажды, в 1748-м, даже сибирский кедр (Werrett 2010). Фейерверк на коронации Екатерины II в числе прочего содержал «аллегорический образ России», который сопровождался салютом из 101 орудия (Wortman 1995: 1/118). В 1789 году появилась инструкция, как самому сделать фейерверк; она была предназначена дворянам, желавшим поразить этим зрелищем собственных дворовых (Сариева 2000). В 1857 году Николай Игнатьев путешествовал с отрядом казаков по Средней Азии. Когда его атаковали туркмены, он разогнал их, запустив фейерверк: кочевники были так поражены «дьявольским огнем», что «молили о прощении» (Stead 1888: 272), с похожей историей мы знакомимся и в «Очарованном страннике» Лескова (1872). Андрей Болотов, российский офицер, изучавший философию и пиротехнику в Кенигсберге, тонко определил функцию фейерверка: «Самою пышностию оно ослепить народ подлый» (1986: 448).

Созданные человеком образы рая, фейерверки иллюстрировали самую сложную доктрину имперской философии — власть изменять природу и возвышать культуру чистой волей суверена. Процесс такой сублимации еще более впечатлял тех, кто знал,



Илл. 13. Фейерверки в честь Екатерины во время путешествия в Крым. Неизвестный художник. 1780

как в России производили порох — в буртах, куда сваливали навоз и золу, поливая сверху мочой. До изобретения радио и кино, а может и вообще никогда, человечество не знало более универсального — межэтнического, трансязыкового, межсословного — опыта, чем фейерверк. В этих шумных и красочных представлениях была энергия, которая могла, пусть на мгновение, объединить свободных и рабов, бедных и богатых, ученых и безграмотных. Огнестрельное оружие было средством доминирования, фейерверк — средством гегемонии. Но оружие стреляло всегда, а фейерверки по праздникам.

«Пороха в России что песка», — шутил датский посол при дворе Петра I (Juel 1899: 257). По мере того как предприимчивые подданные империи подрывали ее монополию на порох, оружие и фейерверки, заканчивался и Высокий Имперский период. Порошок, которым побеждали врагов и праздновали победы, стодился и на то, чтобы убивать императоров и уничтожить империю.

Глава 7

Дисциплинарные шестерни

Центральная тема в российской мысли XIX века и важный предмет исследований советских историков — крепостное право утратило прежнее значение в постсоветской историографии. Как это нередко бывало в исследованиях России, изменение интересов произошло параллельно в российской и в западной науке. Чтобы оценить это явление, стоит подумать о контрасте между процветающими исследованиями рабства и расы в США и несуществующими работами о крепостном праве в современной России.

Лучшим исследованием в этой области остается давняя уже работа американского историка Стивена Хоча, который изучил архив большого поместья недалеко от Тамбова. Согласно данным Хоча, в начале XIX века производительность труда и питание крестьян под Тамбовом были не хуже, а иногда и лучше, чем в среднем по Германии или Франции. Различие заключалось в мотивации труда, правах собственности и принципах управления. Ни земля, ни доля производимого продукта не принадлежала крепостным, и заставить их работать могли только телесные наказания, которые применялись постоянно. По данным Хоча, за два года, 1826-й и 1827-й, 79% мужчин в имении подверглись порке хотя бы один раз, а 24% — дважды. За более серьезные нарушения крестьянам еще и выбривали полголовы (Hoch 1989: 162).

Тамбов был основан в 1636 году как форпост Московской колонизации — передовая крепость для защиты от кочевых племен, владевших этими землями до русского вторжения, и база для дальнейшего продвижения на юг Русской равнины. Значит, основание Тамбова приходится на то же время колониальной экспансии, что основание Вильямсбурга (1632),

первой столицы Вирджинии, и Кейптауна (1652) в Южной Африке. Под Тамбовом, однако, проблемы с безопасностью и транспортом долго не позволяли установиться устойчивому землепользованию. Становление экономики плантационного типа, рассчитанной на вывоз урожая, затянулось на два столетия. В начале XIX века поместье князей Гагариных, которое изучал Хоч, все еще было слишком далеко от рынков. Чтобы доставить зерно к речной гавани, уходило недели, транспортировка в Москву занимала месяцы. Однако земля была плодородной, и Гагарины переселяли в это поместье крестьян из своих нечерноземных поместий. Насильственные переселения продолжались и в XIX веке, потому что демографический рост в поместье не компенсировал убыль населения от рекрутских наборов и бегства крепостных (Носч 1989: 5). Хотя поместье было относительно благополучным, оно не выдерживало имперского бремени.

Странно, конечно, считать Тамбов — вошедший в пословицу символ российской глубинки — колонией. Но землю, захваченную в эпоху географических открытий, принудительно заселенную во имя прибыли, возделывавшуюся под угрозой розог, повсюду в мире называли бы колонией. Историки русского крестьянства редко рассматривали его в колониальной перспективе, но и в этой области есть примечательные исключения (Rogger 1993; Frank 1999).

Колоны и крепостные

Владение крестьянами как собственностью было узаконено в России в связи с событиями, вошедшими в историю как Смутное время (1598—1613). Этот кризис, ненамного опередивший Тридцатилетнюю войну (1618—1648) в Европе, тоже включал межконфессиональный конфликт, гражданскую войну с иностранным участием, знаменитые случаи ложной идентичности и в конечном итоге крушение государства (Dunning 2001). Бу-

дучи частью общеевропейского «кризиса XVII века», ситуация в России была спровоцирована распадом ресурсозависимой экономики (см. главу 5). В отсутствие пушнины и серебра единственной валютой, доступной государству, оставалась земля. Но экспортировать ее было нельзя, и получить с нее прибыль было трудно. Трехпольная система земледелия — необходимое условие урожайности в Центральной России — требовала длинных циклов, в течение которых крестьян надо было удерживать силой (Confino 1963). С появлением пороха у служилых людей появилось решающее преимущество над крестьянами: теперь небольшой отряд, вооруженный мушкетами или пищалью, мог справиться с толпой крестьян, махавших топорами и косами (Hellie 1971; Pettengill 1979). Импорт огнестрельного оружия больше способствовал возникновению крепостного хозяйства, чем любые экономические соображения. Но чтобы насилие превратить во власть, нужны институты. Таким институтом, сформировавшим облик России Нового времени, стало крепостное право.

В то время как в Западной Европе крепостные становились фермерами, арендаторами или, если им не везло, батраками, в Пруссии, Польше и России свободные крестьяне становились крепостными. Некоторые историки рассматривают это «второе закрепощение» как результат возросшего в это время сельскохозяйственного экспорта (Bideleux, Jeffries 2007: 162). Действительно, некоторые восточноевропейские земли становились поставщиками зерна и скота западным соседям. Такие процессы имели место на Балтике или в Карпатах, но не в России, где у землевладельца просто не было возможностей вывезти урожай. Даже после захвата Риги и строительства порта в Петербурге экспорт российского зерна через балтийские порты был сильно ограничен, а до этого он был практически невозможен. Пока не стали доступны порты Черного моря и не распаханы прилежащие степи, что случилось в середине XVIII века, основными предметами сельскохозяйственного экспорта из России были пенька и лен, которые англичане сто-

летиями закупали в Архангельске. Крепостное право, однако, появилось не вокруг Архангельска, а во внутренних провинциях России, где об экспорте стали думать только с появлением железных дорог. Василий Ключевский (1913) показал, что чем ближе губерния находилась к Москве, тем выше в ней был процент крепостных. Историк полагал, что пояс крепостного населения вокруг Москвы отвечал потребностям ее обороны, а не экономики.

Миллионы крепостных были русскими и православными, и как бы мы ни определяли центр этой империи — географически, религиозно, этнически, — чем ближе к нему, тем больше было крепостных. В личном владении помещиков оказались белые по расе, русские по языку, православные по вероисповеданию крестьяне центральных областей России. Крепостных в помещичьем владении почти не было в Северной России и в Сибири. Не было их и среди калмыков, казахов, евреев и северных народов, почти не было среди татар и очень мало — среди русских староверов и сектантов (Karpelev 2001: 30). Никакая теория не объяснила такую избирательность русской неслободы. Ни церковь, ни государство, ни интеллигенция не сформулировали чего-либо подобного расовой мифологии американских плантаторов, согласно которой африканцы по своему характеру подходят на роль рабов, а коренные народы Америки не подходят (Nash 2000). Но практика закрепощения была вполне в русле невысказанной и, несомненно, русофобской идеи, что именно и только православные русские подходят на роль крепостных. Много позднее освобождение крестьян шло в том же ключе. Великие реформы середины XIX века были сначала опробованы на периферии империи, в балтийских и польских землях, где крепостными бывало и русское, и нерусское население, а потом применены к ее центру. За долгую историю крепостного права крестьяне внутренних губерний были поработаны раньше и в гораздо больших пропорциях, чем крестьяне имперской периферии, и освобождены они были позже.

В сравнительном исследовании рабства американский историк Орландо Паттерсон определяет российское крепостное право как «основанное на радикальном исключении»: крепостного считали «внутренним ссыльным», лишенным защиты закона и личных прав. В то время как мифология рабства часто оправдывала его иноземным или иноверческим происхождением рабов, которых считали потомками пленных и представителями низших рас, Православная церковь поощряла закабаление православных православными, но не объясняла их неравенство: «Россия — единственная христианская страна, где церковь не определяла раба как обращенного неверного». Рабство требует конструирования культурной дистанции между господином и рабом в терминах стабильных различий, которые нельзя сменить или подделать, — расовых, религиозных, языковых. Но вместо того чтобы оправдать свою власть, представив крепостного пленным иностранцем или его потомком, российский крепостник «поступал наоборот: называл сам себя иностранцем благородного происхождения» (Patterson 1982: 43—44). Рюрикович из древнего рода или служака-петровец, типичный помещик держал сотни или тысячи крепостных в состоянии социальной смерти. С 1649 по 1861 год крепостных можно было законно покупать, продавать и закладывать, пусть в большинстве случаев не поодиночке, а семьями. Крепостные не могли заключать договоры, быть свидетелями в суде или жаловаться на хозяина. У них, однако, оставалось право на жизнь. Помещики могли и, с точки зрения государства и церкви, должны были заставлять крепостных работать любыми способами; они лишь не могли убивать их.

Российские помещики получали от своих владений экономические блага, которые можно было измерить в цифрах, и другие блага, неизмеримые и невыразимые. «Управляя государством как сатрапы или колониальные чиновники» (Frank 1999: 8), землевладельцы кормились трудом своих крепостных, получая от них продукты питания и все остальное, что могла дать земля, и поощряли крестьян везти свои изделия на рынок, собирая с их

доходов оброк и другие подати. Если дворянам не удавалось получить доход с имения, государство выдавало им субсидии, беря их земли и крепостных в залог и таким образом гарантируя выживание поместий и их владельцев. Экономические выгоды от крепостных поместий были ненадежными, и извлечь их было все более трудно; зато другие блага — демонстративное потребление, сохранение образа жизни, различные привилегии власти — были гарантированы империей. Огромные масштабы и внеэкономическая природа отличали крепостное право от американского рабства (Kolchin 1987). Растянувшиеся на десятки и сотни верст, населенные сотнями и тысячами «душ», земли российской знати были по сути дела некоммерческими предприятиями. Когда черные рабы не приносили прибыли, плантаторы не держали их из поколения в поколение; но именно это происходило с миллионами крестьян из тысяч имений в Высокий Имперский период. Удерживать крепостных, несмотря на финансовые потери, было не исключением, а правилом. С начала XIX века империя предлагала дворянам закладывать земли вместе с крепостными в государственных банках. Залоговые суммы редко выплачивались; государство конвертировало их во внешние долги и инфляцию. К 1856 году почти 2/3 крепостных мужского пола (6,6 миллиона душ) были заложены, но продолжали принадлежать прежним владельцам; имения, конфискованные за долги, исчислялись несколькими десятками (Pintner 1967: 37—42). Выплавившая дворянству огромные займы под залог крепостных, правительство отказывало в кредите торговцам и промышленникам. Большую часть своей истории империя ограничивала индустриальное развитие в пользу непроизводительного крепостного сельского хозяйства.

Крепостные субсидировали империю, а империя субсидировала крепостничество. Эта политика, доведенная до совершенства министром финансов Егором Канкриным (1823—1844), вызывала насмешки многих историков, особенно марксистов. Однако и советские колхозы часто не окупали себя, и тогда

государство поддерживало их и уж во всяком случае их управленцев. В XXI веке, когда европейские фермы примерно треть своих доходов получают от государства, у Канкринна найдутся сторонники. В центральных регионах России крепостное право было механизмом социальной политики; его сохранение диктовалось сословными интересами дворянства и дисциплинарными интересами империи (Moon 1999). Аргументы в пользу сохранения крепостничества ссылались на задачи сохранения дворянской доблести, семейных ценностей, народной культуры и природного окружения — экологический консерватизм позапрошлого века.

Начиная со Смутного времени механизм предоставления земель во внутренних областях России был примерно таким же, каким он был в то время во многих частях колониального мира, от Вирджинии до Новой Зеландии. Захваченная или опустевшая, земля рассматривалась как *terra nullius*, и служилые люди получали ее в оплату их услуг государству. Но им нужнее были деньги, а чтобы заработать на этих землях, владельцам нужна была рабочая сила. Ее можно было найти на месте или привезти издалека. В любом случае новым землевладельцам приходилось использовать институты принуждения, а выбор их невелик, от рабства до крепостничества с отдаленной перспективой найма или арендаторства. Соловьев и Ключевский считали, что общей причиной крепостного права была низкая плотность населения, и с ними согласны современные экономисты (Domar 1970; Millward 1982). Важны, однако, детали. Были колонизованные земли (например, Австралия, Сибирь или Новороссия), которые были недонаселены, и людей туда привозили издалека. Но были и такие, как Индия или Центральная Россия, где рабочая сила была доступна; тогда крестьян приходилось охранять, чтобы они не покидали родные места, и принуждать к работе.

Но внешняя колонизация тоже нуждалась в крестьянском труде. Помещики имели право переселять своих крепостных на новые земли или покупать крепостных с тем, чтобы пригнать

их к месту нового поселения. В XVIII — начале XIX века такие насильственные переселения крепостных были массовыми и дорогими операциями (Sunderland 1993). Поскольку без надежды на прибыль никто не стал бы переселять, охранять и кормить сотни семей, массовые переселения меняли природу крепостного права, подчиняя его экономической рациональности. Ведущий историк-марксист 1920-х годов Михаил Покровский признавал развитие «плантационного крепостничества», ориентированного на производство, вывоз и продажу сельской продукции, только начиная с XIX века (2001: 10; Кагарлицкий 2003). Самый важный русский роман о крепостном праве — «Мертвые души» Гоголя — посвящен именно проекту переселения, который высмеивается здесь в целом и в деталях.

В одной из своих главных работ, «Происхождение крепостного права в России» (1885), Василий Ключевский доказывал, что крепостное право не было введено государством, а сложилось в итоге частных сделок, в которых крестьяне-арендаторы не могли внести плату за землю и возратить землевладельцам долги (1956: 7/245). Взамен они заключали пожизненные договоры, закладывая личную свободу или продавая ее, и эти договоры были узаконены государством. В качестве модели для такого рассуждения Ключевский выбрал римский «колонат», как его определял французский историк-античник Фюстель де Куланж, чьи работы переводили коллеги Ключевского по Московскому университету. Учитель великого социолога Эмиля Дюркгейма (см. главу 11), Куланж доказывал, что в позднем Риме и Византии колонат был промежуточным звеном между рабством и свободным земледелием. Римский колонат вырос из долгового обременения крестьян. Когда свободные крестьяне становились колонами, они и их потомки принадлежали господам, свобода их ограничивалась, их можно было купить и продать (Куланж 1908). Как и русские крепостные, римские колоны трудились и в новых колониях Рима, и в исконных итальянских землях. В этимологическом и историческом отношении эти колоны стояли у

самых истоков колоний и колониализма. К тому же исследования Куланжа, как и его столь же знаменитых английского и русского коллег, Генри Мэна и Василия Ключевского, находились под влиянием новостей об аграрных порядках в колониях, прежде всего в относительно лучше изученной британской Индии (Morris 1900: 1/6; Mantena 2010b).

Закрепощение русских русскими было механизмом внутренней колонизации со многими ее характерными функциями — режимом управления населением, способом освоения территории, производственным институтом и, наконец, биодисциплинарным методом, обеспечивавшим воспроизводство человеческих популяций. Не прибыль, а порядок были главной задачей крепостной колонизации; не производство товаров, а воспроизводство населения и колонизация территории были ее целью; не развитие, а принуждение были ее методом.

Немецкие колонии

В 1763 году, силой захватив российский трон и окончив Семилетнюю войну, Екатерина II издала новый Манифест, призывавший иностранцев переселяться в Россию и обещавший им существенные выгоды: бесплатную землю, освобождение от воинской службы, субсидии на переселение, беспроцентные займы и освобождение от налогов на 30 лет (Bartlett 1979: 3). «Колонистам», как официально именовались приехавшие, гарантировалась свобода вероисповедания. Тем из них, кто решит основывать мануфактуры (Манифест называл их «капиталистами»), было дополнительно обещано право приобретать крепостных. К Манифесту был приложен длинный список предлагаемых для колонизации земель, от Западной России до Сибири: новые колонии должны были освоить эти «пустующие земли», вытесняя или ассимилируя туземцев. Теперь здесь, во внутренних землях и на окраинах, империя будет осуществлять цивилизаторскую миссию. Проект иностранных колоний был

связан со смутными надеждами Екатерины отменить крепостное право. По замыслу, иностранные или российские колонисты должны были со временем заменить крепостных в помещичьих имениях. На деле такой эксперимент был проведен лишь в нескольких поместьях, принадлежавших императорской семье (Bartlett 1979: 92). Для приема колонистов Екатерина создала специальную Канцелярию, которую возглавил ее фаворит Григорий Орлов, герой Семилетней войны. Как Орлов пояснял в своем отчете Сенату в 1764 году, в результате его успешной работы «Россия отныне не будет представляться столь чужой и дикой, как доселе, и значительное против нее предубеждение незаметно исчезнет» (Свод 1818: 5/128).

После Вестфальского мира немцы стали чем-то вроде колониального товара; их покупали, нанимали или переселяли по всему земному шару. Англия наняла немецких солдат, чтобы подавить восстание в Америке; Екатерина отказалась предоставить русских солдат, несмотря на выгодное британское предложение (Старцев 1995). Приглашая французских кальвинистов в Берлин, Пруссия переселяла немецких колонистов в осушенные земли на Рейне, и Екатерина стремилась превзойти эти успехи Фридриха. Приглашенные или нет, в Россию приезжали иностранные советники, чтобы помочь амазонке-императрице в ее деле просвещения неведомой страны. Французский авантюрист, впоследствии известный писатель Бернарден де Сен-Пьер прибыл в Россию в 1762 году с планами создать «европейскую колонию» к востоку от Каспийского моря. Эта колония должна была усмирить коренные народы «силой примера или оружия» и, возделав «пустующие земли», начать торговлю с Индией; правда, Индия была далеко за горами. Бернарден просил у Екатерины II заем 150 тысяч рублей, но денег не получил. Он потом прославился романом «Поль и Виргиния», действие которого происходит на французском Маврикии. Перед смертью в 1814 году писатель начал работу над большим романом о Сибири. Действие его происходит в 1762 году, как раз когда Бернарден был в России. Переворот, приведший к власти Екатерину, он называет «революцией»

(Cook 1994, 2006). Другой предприимчивый француз, аббат Рейналь, пояснял в «Истории обеих Индий»:

Лучше всего [для России] было бы выбрать одну плодородную губернию и... пригласить туда свободных людей из цивилизованных стран. ...Оттуда ростки свободы распространились бы по всей империи. ...Мы не можем приказать русским сделаться свободными, но должны приобщить их к сладким плодам свободы (Raynal 1777: 248).

Впоследствии Рейналь посетил Санкт-Петербург и встретился с Екатериной, но «Обе Индии» не нашли у нее отклика. В 1765 году императрица пригласила в Россию благонадежного немца, пастора Иоганна Рейнгольда Форстера, чтобы тот рассказал Европе о новых колониях на Нижней Волге. Приехав в Россию вместе с юным сыном Георгом, Форстер нанес колонии на карту и помогал в работе над их уставными документами (Bartlett 1979: 100). В Санкт-Петербурге ходили слухи, что он стремится основать свою собственную колонию (Dettelbach 1996: 28). За работу в России ему так и не заплатили, но составленные им карты волжских колоний опубликовало лондонское Королевское общество, что стало первым научным достижением Форстера (Forster 1768). Для его сына Георга первой работой стал перевод из Ломоносова, выполненный в возрасте 11 лет. Оба Форстера впоследствии прославились, приняв участие во второй экспедиции капитана Джеймса Кука.

Внимательная к публичному освещению своих действий, Екатерина не колебалась, называя организованную государством иммиграцию европейцев в Россию «колонизацией», земли, которые они возделывали, — «колониями», а своих новых подданных — «колонистами». Что подвергалось колонизации? Российская империя. Кто колонизовал ее? Европейские поселенцы. Чьей властью и в чью пользу? Российской империи.

За образец Екатерина и ее фаворит Орлов взяли колонизацию Рейнской области, недавно осушенной и освоенной Фрид-



Илл. 14. Первое издание карты германских колоний в Поволжье Иоганна Рейнгольда Форстера, впоследствии участвовавшего в кругосветном путешествии капитана Дж. Кука.

рихом Великим (Blackbourne 2007). С его успехами Орлов мог сам ознакомиться, участвуя несколькими годами ранее в войне с Пруссией. Конкурируя с Фридрихом за стабильный приток колонистов, Екатерина предлагала им лучшие условия. Получив деньги, многие колонисты исчезли в степи, но одна группа поселенцев все же спасла проект. Эти люди были последователями радикальных течений эпохи Реформации и сторонниками весьма своеобразного образа жизни — наверно, одними из самых странных людей в европейской истории. Преследуемые во многих странах, но отказавшиеся от ответного насилия, они обрели в России то, что давно искали, — целинные земли, которые давал и Фридрих, и освобождение от воинской службы, чего он не обещал. Организованные сектантские общины го-

раздо лучше приживались на новом месте, чем отдельные искатели приключений. Самые большие и успешные колонии — процветающие города на Волге и дочерние колонии на юге России — основали моравские братья; они известны также как гернгутеры от названия саксонской деревни Гернгут, где граф Николаус фон Цинцендорф поселил в 1720-х годах этих сторонников Яна Гуса. Александр I был особенно к ним благосклонен, лично посетил Гернгут и предоставил моравским братьям земли и привилегии в Прибалтике, которых они, правда, быстро лишились. Будучи активными миссионерами, они обратили в свою веру тысячи крестьян-эстонцев и играли важную роль в столице империи. Пережив свои лучшие времена в начале XIX века, моравские братья еще долго сохраняли свое необычное влияние. Александр Головин, министр просвещения (1861—1866), писал в воспоминаниях: «Во мне осталось много от детства, от квакеров, от гернгутеров» (2004: 53). О моравских братьях часто упоминал Лев Толстой, ценивший их учение о ненасилии и физическом труде; в детстве он их называл, по созвучию и с иронией, «муравейными братьями».

Иммигранты прибывали на корабле в Кронштадт и там присягали на верность императрице. Затем их распределяли по обширным, малоизвестным землям за тысячи верст от Петербурга. Под конвоем их перевозили вверх по Неве, через Ладожское озеро в Новгород, повторяя древний маршрут Рюрика, история которого могла быть им известна. Много лет спустя Гютлиб Бератц, приходской священник на Волге, начинал свою историю немецких колоний в России с упоминания о Рюрике, «норвежце немецкой крови», что должно было доказать читателю, что Россия всегда была гостеприимна к иностранцам (Beratz 1991: 2; пастор Бератц был расстрелян большевиками под Саратовом в 1921 году). Из Новгорода колонисты шли или ехали сушей до Волги и дальше сплавливались вниз по течению. Путь от Санкт-Петербурга до Нижней Волги занимал много месяцев; многим пришлось зимовать в дороге. Тем не менее план Екатерины был настолько успешен, что в 1766 году пра-

вители нескольких германских земель запретили своим подданным эмиграцию. Но она продолжалась, и после аннексии Россией Крыма в 1774 году из Пруссии переселилась еще одна большая и странная религиозная группа — меннониты. Около 1818 года из Германии прибыли особого рода пиетисты, которые хотели встретить ожидавшийся ими конец света там, куда Ной привел свой ковчег, — в горах Кавказа. Отдельные группы немецких колонистов осушали болота около Санкт-Петербурга; им в этой работе помогали английские квакеры. В Саратове и Екатеринославе были созданы имперские администрации «по делам колонистов». Дочерние колонии основывались в разных местах, от Кавказа до Алтая.

Неожиданный союз между воинственной империей и протестантами-пацифистами требует объяснения. Империи было выгодно, чтобы ее внутренние колонии строились по принципу закрытой общины. С согласия государства члены колонии были прикреплены к ней юридически и экономически; покинуть такую общину было сложно, уходящий не получал ни доли собственности, ни прав наследства. Коммуна самоуправлялась, и главным контактом государства с ней было налогообложение, которое было более эффективным, когда его единицей была община, а не отдельные «души». На целинной земле и во враждебном окружении преуспевали люди, которых соединяли сильные внеэкономические отношения, а также необыкновенная трудовая этика и совсем необычные нормы общежития. Моравские братья не имели личной собственности. Земля, скот и доходы принадлежали всей общине и никому в отдельности. Колонисты жили в общежитиях, разделенных по полу, — мужчины отдельно, женщины отдельно; супруги встречались по расписанию, одобренному старейшинами. Дети тоже жили отдельно под особым присмотром, и родители посещали их в назначенные дни. Повинуясь старейшинам во всем, включая выбор супруга (который в некоторых общинах решался по жребию), эти люди совместно принимали пищу, отдыхали за хоровым чтением Священного Писания и возделывали землю

с поразительной эффективностью. На Волге их города, сады и поля выглядели островами процветания и порядка. Как и хотела Екатерина, они влияли на своих соседей — православных русских, татар-мусульман и калмыков-буддистов. Некоторые русские секты Поволжья и Крыма заимствовали радикальные верования гернгутеров. Но и недовольство среди отдельных колонистов также было высоким. Когда Пугачев громил волжские колонии в 1774 году, около ста немцев присоединились к восстанию (Beratz 1991).

Сто лет спустя население внутренних немецких колоний в Российской империи достигло полумиллиона. Примерные налогоплательщики, немцы не смешивались со своими соседями, но те перенимали их язык, навыки и технологии, а иногда и верования. В некоторых немецких семьях дети вырастали двуязычными; их вклад в русскую культуру был огромным и остается недооцененным. Моравские братья построили Сарепту, переросшую в город, более известный как Царицын, Сталинград и Волгоград. Эдуард Губер (1814—1947), родившийся в маленькой колонии на Волге, первым перевел «Фауста» Гете на русский язык. Работая в Сарепте, Исаак Якоб Шмидт перевел Новый Завет на калмыцкий и монгольский языки (Benes 2004). Родившийся в Сарепте в семье полицейского-гернгутера Яков Гамель стал знаменитым путешественником и пионером фотографии в России. Колонии обеспечивали работой российских интеллектуалов, включая самого Пушкина, который в начале 1820-х годов служил в администрации южных колоний.

Знакомство с другой жизнью внутри России оказало влияние на русских радикалов XIX века. Один из их лидеров, Николай Чернышевский, вырос в Саратове — столице немецких колоний на Волге. В гимназической юности его друзьями были Павел Бахметев, сын местного помещика, и Александр Клаус, сын немецкого органиста (Эйдельман 1965). Чернышевский был арестован, написал в тюрьме свой утопический роман «Что делать?» и был сослан в Якутию. Бахметев переселился в Новую Зеландию, чтобы основать там утопическую коммуны. Клаус стал главой

администрации саратовских колоний, а в 1869 году написал книгу с провокационным названием «Наши колонии». Не менее радикальным способом, чем Чернышевский, Клаус сделал свой народ — немецких колонистов в России — примером для русских крестьян. Клаус предлагал регулировать жизнь крестьян после отмены крепостного права по образцу общин немецких сектантов в Поволжье. Отрицая либеральную идею индивидуальных прав, Клаус противопоставлял ей систему владения землей у меннонитов и других сектантов. Прибыв в Россию, они получали землю в коллективное, а не индивидуальное владение. Они могли покинуть колонию, но не забрать свою долю в коллективной собственности. Поэтому из немецких колоний уходили немногие, и уж точно намного реже, чем крестьяне, бежавшие из своих общин после освобождения. Крупный российский чиновник, Клаус (1869) предлагал законодателю перенести эту структуру коллективной собственности с общин немецких сектантов-колонистов на российские земельные общины¹. Его книга стала продолжением необычной традиции, в которой социальный утопизм XIX века соединялся с наследием радикальной Реформации XVI века. На деле этот меннонитский рецепт для России был недалек от революционного евангелия Чернышевского. Одноклассник Клауса, он предрекал грядущий скачок от русской общины прямо в социализм, опираясь на сильно преувеличенные особенности крестьянской общины, которые воспринял по аналогии с лучше знакомыми ему общинами немецких сектантов. Россиян впечатляла уникальная жизнь этих

¹ Карьера Александра Клауса (1829—1887) иллюстрирует центроостремительный процесс переноса идей и людей из периферийных колоний в имперское управление. Окончивший саратовскую гимназию с чином коллежского регистратора (14-й класс), Клаус поступил в Саратовскую контору по иностранным поселенцам, потом в Министерство государственных имуществ и потом в Министерство путей сообщения. Он дослужился лишь до надворного советника (7-й класс), но в 1871 году в числе высших чиновников был награжден крупным земельным наделом, став помещиком (http://wolgadeutsche.net/lexikon/_Klaus.htm).

внутренних колоний, и в них еще долго находили практический образец лучшей жизни. И Ленин, и Троцкий росли в таких колонизованных землях, один среди немецких колоний на Волге, другой среди еврейских колоний в Украине.

В 1870-х годах имперское правительство нарушило давние обещания, начав призывать колонистов на воинскую службу и введя обязательное изучение русского языка в школах. В ответ многие общины — десятки тысяч сектантов — коллективно продали свои земли и эмигрировали в Северную Америку. Этнографические исследования показывают, что даже десятки лет спустя американские меннониты воспринимали своих эмигрировавших из России единоверцев как «русских» (Kloberdanz 1975).

Примерно один миллион потомков немецких колонистов остались в России, Украине и на Кавказе. Они страшно пострадали во время Гражданской войны 1917—1919 годов, голода на Волге в 1921—1922 и 1932—1933 годах и массовых депортаций 1937—1938 годов. В начале Второй мировой войны Альфред Розенберг предъявил претензии рейха на все советские земли, которые ранее принадлежали немецким колонистам; по его словам, то была территория больше всех пахотных земель Англии (Ямпольский 1994: 165). Балтийский немец, Розенберг учился инженерному делу в Москве и любил цитировать Достоевского. Наставник Гитлера в ранней нацистской организации «Реконструкция: экономическая и политическая ассоциация в пользу Востока», Розенберг стал министром по делам восточных территорий во время Второй мировой войны (Kellogg 2005). Памятью о немецких колониях можно объяснить некоторые заявления Гитлера из самых эксцентричных, как, например, такое: «Волга должна стать нашей Миссисипи» (Blackbourn 2009: 152). Так случилось, что Сталинградская битва, исторический предел немецкого наступления на Восток, развернулась на том самом месте, где некогда преуспевала Сарепта — цветущая колония, созданная в России мирными, трудолюбивыми немцами.

Паноптикон

В 1780 году британский морской инженер Самуил Бентам приехал в Россию по приглашению князя Потемкина, который возложил на него множество обязанностей, от строительства кораблей до варки пива. Пять лет спустя Потемкин пригласил и его младшего брата, Иеремию. Вместе братья Бентамы работали в Кричеве, одном из потемкинских поместий в только что завоеванных белорусских землях. Во владениях Потемкина иностранцы на пять лет освобождались от всех налогов и податей. Земли, где много веков жили славяне, евреи и татары, теперь заселяли колонисты, преимущественно немцы и греки. Самуил получил чин полковника российской армии, а Иеремия Бентам был при нем секретарем. Достижения британской промышленности Потемкин внедрял в своих поместьях с помощью военной силы, но Самуил был гибок и изобретателен. Он построил лодку-амфибию, которая могла идти на веслах по воде и на колесах по суше; правда, выдвигающая подвеска часто ломалась. Он также сконструировал «червеобразное судно», изгибавшееся в соответствии с течением извилистых русских рек. Но величайшим изобретением братьев Бентам в Кричеве был паноптикон — строение, соединявшее функции фабрики и общежития. Замыкаясь кольцом, многоэтажное здание выходило окнами на внутренний двор, в центре которого находилась смотровая башня. Она была сооружена так, чтобы рабочие, трудившиеся в здании, всегда считали, что находятся под наблюдением, даже когда башня была пуста. Такая конструкция создавала «очевидную вездесущность» власти (Bentham 1995); упростив мысль Бентама, Мишель Фуко назвал это «паноптичностью». Два таких строения британские каменщики начали возводить в России, один в Кричеве (нынешняя Белоруссия) и другой южнее, в Херсоне (Украина). В Кричеве Иеремия Бентам написал свой трактат «Паноптикон», который принес автору славу и последователей во всем мире. Строительство паноптиконов, правда, так и осталось незаконченным из-за начала но-

вой Русско-турецкой войны и неожиданной продажи потемкинских имений (Пыпин 1869; Christie 1993; Эткинд 2001a; Stanziani 2008).

Самуил Бентам участвовал в строительстве и другого знаменитого проекта — потемкинских деревень¹. В огне факелов и фейерверков, красочные декорации вдоль пути императрицы, которая плыла вниз по Днепру в 1787 году, обманывали взгляд своим великолепием. Играя с правдой, властью и зрением, оба изобретения — паноптикон и потемкинские деревни — отлично дополняли друг друга. Именно в поместье Потемкина Иеремия Бентам начал работать над своей теорией фикций, которая стала знаменитой; влияние на нее двух практических проектов, фикции наблюдения в паноптиконе и фикции изобилия на речных берегах, пока остается недооцененным. Зато слово «паноптикум» — обозримая коллекция курьезов — вошло в русский и немецкий языки, будто обобщая разнообразные интересы Бентамов.

Совершив два путешествия в Сибирь, Самуил Бентам в 1788 году предложил Потемкину еще один проект — новый путь в Новый Свет. Он хотел пересечь Сибирь с отрядом русских солдат, построить корабль на берегу Тихого океана, высадиться на побережье Америки и во главе своего отряда дойти до Нью-Йорка (Christie 1993: 253). Потемкин не проявил интереса к проекту, и мы никогда не узнаем, как только что провозглашенные Соединенные Штаты отреагировали бы на появление в глубоком тылу отряда русских солдат под командой англичанина. Бентам вернулся в Англию, но продолжал работать с русскими. По рекомендации Самуила на берегу реки Охты около Санкт-Петербурга в 1807 году был построен новый паноптикон. Здание в форме шестилучевой звезды было 12 метров в высоту, с лифтом в середине, и служило верфью и морской

¹ В известной статье о колонизации Новороссии А.М. Панченко (1999) не отрицал того, что Потемкин творчески украшал берега и деревни, стремясь поразить Екатерину и ее гостей. Исследователь пытался понять политические мотивы потемкинских фантазий, что ему вполне удалось.

школой. Все пять этажей этой звезды можно было одновременно видеть с центральной башни (Приамурский 1997). На этом самом месте в начале XXI века Газпром планировал возвести свой главный офис. Возвышаясь над городом подобно гигантскому огурцу, башня должна была демонстрировать власть и вездесущность Газпрома. Этот противоречивый проект был остановлен в 2010 году.

Задуманный в России как фабрика, в Англии паноптикон пригодился как тюрьма. Иеремия Бентам покинул Россию в конце 1787 года. Много лет спустя он написал Александру I, что за два года в Кричеве он получил «самые богатые наблюдения» своей жизни. Назвав Кодекс Наполеона «всего лишь хаосом», Бентам предложил российскому императору принять новое всеобъемлющее законодательство, которое все будет построено, словно вокруг центральной башни, вокруг принципа всеобщего блага (Пыпин 1869). Прошло время, и бентамовский проект паноптикона привлек внимание Фуко. Заново открыв его миру, Фуко (2005) не упомянул, что он был изобретен в России. Придуманый британцами для российской колонии и приспособленный ими же для российской столицы, 200 лет спустя паноптикон был истолкован французом как универсальный прототип дисциплинарных практик.

Военные поселения

После победоносного окончания Наполеоновских войн империя начала новый колониальный эксперимент. Ветераны российской армии, взявшей Париж, возвращались домой на поселения, сочетавшие сельское хозяйство с военной подготовкой. Военные поселения — большие, организованные на научной основе, включавшие казармы, манежи и плантации, — впервые появились близ Новгорода, в самом сердце России, а затем в Украине и других местах. Примерно треть огромной

армии была расселена в этих типовых городках. Обсуждались планы отправить всю пехоту на поселения на севере России, а кавалерию расселить по южным губерниям (Pipes 1950). Чтобы освободить место для поселений, располагавшиеся в этих местностях имения были скуплены по символической цене, а их владельцам пришлось уехать. Местных крестьян переселяли или смешивали с солдатами. В административных документах того времени, которые писали по-французски, новые бюрократические единицы называли «колониями», а в русскоязычных документах — «поселениями». Дальнейшей задачей военных поселений было вытеснение крепостного права либо путем замещения помещичьих имений новыми колониями, либо путем выкупа крестьян за счет ожидавшейся прибыли. Так, в далекой паноптической перспективе внутренняя колонизация еще раз распространилась бы на всю империю.

Восприяв от Всевышнего промысла под Державу НАШУ многочисленные народы и племена, в России обитающие, положили Мы в сердце своем пещись непрестанно, дабы каждый язык и каждое сословие благоденствовали в ненарушимой тишине и спокойно наслаждаясь правами своими. Доводить до толь вожделенного состояния каждую часть сего великого семейства составляет приятнейшее для сердца НАШЕГО упражнение, —

обращался к своим подданным Александр I в 1817 году (Высочайший Именной Указ 1818, 94). Империя рисовалась его взгляду огромной, но недорисованной панорамой, предметом непрестанной заботы и приятнейших упражнений. Положение точки Высочайшего обзора смиренно уступало позициям Всевышнего промысла, но и стремилось к ним в меру человеческих сил и технологий. Потомки увековечили это оптическое вожделение, поставив Александру, победителю Наполеона и строителю военных поселений, небывалый памятник в не любимой им столице. Подобный наблюдательной башне, он

поднимал точку обзора на высоту, с которой всевидящий глаз вечно обозревает имперские дали.

Все военные колонии были объединены в одну имперскую структуру, которую возглавил артиллерист Алексей Аракчеев. В их повседневной жизни смешались разные культурные элементы. Каждая колония строилась по стандартному плану, с центральным плацем, большими общественными зданиями и пожарной каланчой. У Аракчеева в его имении эта башня было особенно высокой, поэтому один осведомленный гость назвал ее паноптиконом (Свиньин 2000: 143). Детей обучали в «ланкастерских школах», где особая роль отводилась системе взаимного обучения: старшие и продвинутые ученики помогали обучать младших или менее успешных. Изобретенные британским квакером Джозефом Ланкастером, такие школы были популярны в английских и испанских колониях. Холостяки в поселениях женились на невестах, выбранных для них начальством, хотя один очевидец утверждал, что жен выбирали по жребью, как это делали гернгутеры (Петров 1871: 159).

Военные поселения планировались как колонии на ничьей земле, создающие новое пространство, отличное от остальной России. Министр внутренних дел Виктор Кочубей писал Аракчееву, что выехать из колонии под Новгородом, переправившись с правого берега Волхова на левый, было для него все равно что претерпеть «какую-то революцию глобуса» и попасть «из области образованной в варварскую страну» (Карцев 1890: 87). И сегодня в лесах и болотах, где некогда стояли военные поселения, высятся величественные руины зданий в стиле ампир — солдатские казармы, кавалерийские манежи и военные часовни, похожие на римские храмы. До сих пор местное население не смогло разобрать эти руины на кирпичи. Иностранцы колонии и военные поселения в России были связаны между собой. В конце 1810-х годов, когда оба проекта переживали свое лучшее время, во главе канцелярий, управлявших обоими проектами, стояли братья — Павел и Андрей Фадеевы. Иногда в военных поселениях помещали немецких колонистов, чтоб



Илл. 15. Кавалерийский манеж и церковь в деревне Селище Новгородской области. Часть комплекса военных поселений, построенного в 1818—1825 годах

они давали солдатам пример в сельском хозяйстве (при этом, наверно, надо было следить и за тем, чтобы последние не дали им примера в военном деле). Военные поселения встретили гораздо большее сопротивление, чем немецкие колонии. Во время холерных бунтов 1830-х годов поселенцы убили сотни офицеров и докторов. Потом бунтарей наказывали, прогоняя сквозь строй и забивая шпикрутенами. Аракчеевщина стала синонимом деспотичного и жестокого режима; в этом значении это слово любил употреблять Ленин более чем через сто лет после смерти Аракчеева. Поселения так и не смогли кормить себя сами; в этом они тоже разделили судьбу многих колоний мира. Как и немецкие колонии в России, военные поселения внесли вклад в русскую культуру: в одном из таких поселений, под Харьковом, вырос Илья Репин; в другом, под Новгородом, служил Афанасий Фет. В 1857 году, за несколько

лет до освобождения крепостных, Александр II распустил военные поселения. Земли, постройки и людей передали Министерству государственных имуществ, которое отвечало и за немецкие колонии.

Общины и шпицрутены

Одна из центральных сцен пушкинского «Онегина» включает крестьянскую песню, которую поют девушки, собирая ягоды для своей помещицы. Под угрозой телесного наказания их заставляют петь, чтобы они не ели барских ягод: «затея сельской остроты», пояснял поэт, сам имевший крепостных и любивший ягоды (Пушкин 1950: 3/66). В «Анне Карениной» помещик Левин находит решение своим экзистенциальным проблемам, кося траву вместе с крестьянами. Военное дело в XIX веке тоже состояло в производстве коллективных движений, соединяя красоту, доступную только внешнему взгляду — взгляду власти, — с телесными наказаниями. Коллективный труд был функционален для «артельных работ» (как, например, в «Бурлаках на Волге» Репина), но в сельском хозяйстве оставался необычным. Тем не менее империя выстраивала свои отношения с крестьянами не как с индивидами, а как с членами крестьянских коллективов.

Когда крестьян забирали по рекрутской повинности в армию, учить их коллективным движениям было непросто. Следуя прусскому образцу, российская армия применяла особые техники наказаний, которые были призваны сплотить солдатский коллектив. Провинившегося солдата вели между двумя рядами сослуживцев, которые били его деревянными палками определенной длины; эти палки назывались иностранным словом «шпицрутены». Кто не наносил удар товарищу, становился следующей жертвой. Наказания были публичными не потому, что за ними наблюдали зрители, а в более глубоком смысле: публика приводила их в исполнение, и каждый член этого эгалитарного коллектива вносил такой же вклад в наказание, что

и остальные. Хотя смертная казнь в России была отменена в 1753 году, «прогнать сквозь строй» часто означало мучительную смерть. В 1863 году шпицрутены были заменены на розги, которые еще долго дополняли тюремную систему наказаний. Как показал Фуко (2005), публичная казнь на эшафоте символизировала королевскую власть. Шпицрутены символизировали власть коллектива, или, точнее, единство коллектива и власти.

В гражданской жизни такую функцию выполняла крестьянская община. «Сельское общество» перераспределяло земельные наделы между своими членами, взимало с них налоги и подати, вершило суд в отношении спорных дел между крестьянами, ходатайствовало в отношении их дел перед помещиком или управляющим и выбирало рекрутов для сдачи в армию, избавляясь от смутьянов (Миронов 1985; Moon 1999). В 1840-х годах правительство еще укрепило дисциплинарную власть общины, предоставив ей право подвергать ее членов телесным наказаниям или ссылать в Сибирь. К этому времени община стала центральным институтом организации крестьянской жизни на российском пространстве. Обычай и закон наделяли этот особенный институт все большей силой; разрушив дисциплинарную власть помещика, реформа 1861 года еще более повысила значение «сельского общества» для его членов. В это время общины регламентировали жизнь в помещичьих имениях и среди государственных крестьян, среди православных и раскольников, в Европейской России и в Сибири. Во второй половине XIX века община превратилась в самый горячий вопрос внутренней политики России. Ее пользу или вред обсуждали все — министерские чиновники, радикальные и консервативные публицисты, университетские профессора, а среди них юристы, этнографы, экономисты и многие другие. Главная загадка, связанная с общиной, была исторической. Очевидная и очень важная реальность социальной жизни в конце Высокого Имперского периода, она была практически неизвестна в его начале. В век прогресса большие открытия — к примеру, вакцинации или электричества — делались внезапно, но меняли жизнь мно-

Илл. 16. Август фон Гакстгаузен, 1860



жества людей. Однако община была открыта не за морями и даже не на окраинах империи, а на ее срединных землях, в поместьях дворянской элиты, которая распоряжалась своими людьми как собственностью, и среди государственных крестьян, которые тоже находились под неусыпным надзором. Как могли российские дворяне до поры не знать о центральном институте, организовавшем жизнь их собственных крестьян? Для одних это незнание еще раз свидетельствовало о том, как далеки они были от народа. Для других оно стимулировало поиск новых подходов к разным областям русской жизни, от землепользования до историографии.

Для европейской и русской публики общину открыл прусский аграрный эксперт Август фон Гакстгаузен во время поездки в Россию в 1843 году. Министерство государственных имуществ предоставило Гакстгаузену деньги и переводчика для его ученого путешествия во внутренние губернии (Морозов 1891; Starr 1968). Подробно побеседовав с коллегами в министерстве, которое возглавлял граф Павел Киселев, прусский путешественник полгода ездил по российским провинциям. Он посетил немецкие колонии на Волге и встречался с русскими сектантами в Крыму. Судя по его маршруту и календарю, он меньше интересовался жизнью православных крестьян (Dennison, Carus 2003), но именно среди них он сделал открытие, сделавшее его знаменитым. Гакстгаузен открыл крестьянскую общину с ее регулярными «переделами» — перераспределением земли между крестьянскими семьями в соответствии с их менявшимися потребностями. Благодаря этим переделам, понял гость, земля находится под контролем общины, а не индивидов. В его романтическом восприятии, пока российская

элита жила обычной жизнью, основанной на частной собственности и общественных пороках, русские крестьяне хранили благородную республиканскую традицию, скрытую и до того неизвестную: община — «хорошо организованная свободная республика», писал Гакстгаузен. Он дал общине расовое объяснение: истоки ее — в жизни древних славян, и потому русская общинная традиция так трудно совмещается с европейской, латино-германской идеей собственности. Подобный же институт он обнаружил у сербов и считал, что славянское население Пруссии тоже жило общинами до того, как его вытеснили завоеватели-германцы. Итак, одно сословие, крестьянство, жило общинами; другие сословия об этом институте ничего не знали, а жизнь дворянства была особенно антиобщинной. В европейских языках слово «община» звучит как «коммуна», а это слово с приближением революционного 1848 года входило в моду. Отзываясь на дух времени, Гакстгаузен писал, что русские крестьяне в своих общинах уже добились того, о чем «мечтают некоторые современные политические секты, в особенности сенсимонисты и коммунисты» (Haxthausen 1856: 32).

Консервативный романтик, который окончил Геттинген и был другом прославленных сказочников братьев Гримм, Гакстгаузен нашел в России именно то, что искал: альтернативу французским коммунистическим теориям. В России, говорил он, не будет революции: в этой стране ее уже совершили миллионы крестьян в своей медленной, тайной общинной жизни. В первом российском отзыве на книгу Гакстгаузена рецензент сравнивал его путешествие по России с поиском сокровищ в Африке или Америке, сразу поддержав идею внутреннего открытия, скорее духовного, нежели экономического:

В книге есть чему поучиться нашим образованным людям на каждом шагу, а многие страницы в ней покажутся им совершенным путешествием во внутренности Африки или, что еще неожиданнее, по Эльдorado <....> Да, милостивые государи, Эльдorado в России. Но чтобы увидеть его,

надо снять себе с глаз ту повязку, которую в детстве повязали вам на глаза ваши гувернеры, а в зрелом возрасте поддерживает исключительное чтение западных книг (Аноним 1847: 10).

Российские интеллектуалы поддержали открытие Гакстгаузена с редким единодушием. В мае 1843-го Гакстгаузен встречался с Хомяковым, Киреевским и Герценом. В их восприятии Гакстгаузен был счастливой противоположностью Астольфа де Кюстина, чей визит в Россию увенчался книгой, содержащей сокрушительную критику империи: «Ничто не может быть противоположной блестящему и легкомысленному маркизу Кюстину, чем флегматичный вестфальский агроном барон Гакстгаузен, консерватор, эрудит старого закала и благосклоннейший в мире наблюдатель», — писал Герцен (1954: 2/281). Потом, когда книга флегматичного агронома вышла в свет, Герцен сравнил его с Колумбом, а открытую им общину — с Новым Светом. Он с горечью добавлял, что русским пришлось ждать немца, чтобы тот открыл их внутреннее сокровище — общину (1956: 7/301). Герцен писал это в лондонской эмиграции; очевидно, что для него, богатого помещика, который во время ссылки в сельскую Вятку еще и поработал губернским статистиком, идея общины была новой. Он не сомневался в открытии Гакстгаузена, но делал важные оговорки. Барон сохранял «политические воззрения времен Пуфендорфа», что всякая власть от Бога, а потому его книга «очень интересный, но неистово реакционный труд» (Герцен 1956: 7/260). Новация самого Герцена состояла в том, что демократические сельские общины — исток и сердце русского социализма, как понимал его Герцен, — враждебны петербургской империи. Конфликт между общиной и империей тлеет, считал Герцен, и он вспыхнет революцией. «Уничтожить сельскую общину в России невозможно, если только правительство не решится сослать или казнить несколько миллионов человек» (Герцен 1955: 6/201).

После открытия общины, как после открытия Америки, сразу начались споры о приоритете. Хомяков утверждал, что, распоряжаясь собственным поместьем, он открыл общину раньше Гакстгаузена. Он писал, что уже в 1839 году он и его друзья-славянофилы «высказали, что славянское племя и по преимуществу русское отличается от всех других особенностями своего общинного быта». Именно этим, продолжал Хомяков, «было положено начало нового умственного движения». В статье «О сельских условиях», опубликованной в 1842 году и так же, как и книга Гакстгаузена, написанной по заказу Министерства государственных имуществ, Хомяков высказывал существенные положения славянофильской теории:

Поселянин в России никогда не был в совершенном одиночестве посреди общества: он связан был с государством силою жизни семейной и малым, но живым кругом мирской общины. <....> Очевидно, Русский поселянин не был, не должен и не может быть Западным пролетарием <....> Самое же понятие о законности надзора всех над каждым связано с коренным Русским понятием о священном долге взаимного вспоможения (1861: 1/385—386).

Для философа-гегельянца Юрия Самарина, служившего при Министерстве внутренних дел, открытие общины приобрело силу политической программы. Он писал:

Общинное начало составляет основу, грунт всей русской истории, прошедшей, настоящей и будущей. ...Никакое дело, никакая теория, отвергающая эту основу, не достигнет своей цели, не будет жить (1877: 1/40).

По Самарину, экономические основы общины противоположны германскому началу собственности, а юридические принципы — письменному праву. Русская община и есть «ответ на последний вопрос западного мира» — социализм. По-види-

тому, между Гакстгаузенем и кружком славянофилов существовало действительное единство взглядов, и вполне вероятно, что истории Хомякова и его друзей повлияли на впечатлительного барона. В книге Гакстгаузена описан ряд сюжетов (в частности, спор москвича с раскольниками в Кремле), в которых угадывается Хомяков. Тем не менее заслуга внятной, развернутой артикуляции общинной идеи принадлежит немецкому барону.

В 1840-х годах славянофилы растили бороды, читали Гердера и Гегеля и осваивали православие. Они осуждали иностранное влияние на Россию, которое у них ассоциировалось с империей Петра. Свои позитивные идеи высказать было сложнее. Богатые помещики, владельцы сотен крепостных, и европейски образованные интеллектуалы романтической эпохи, славянофилы, отвергали многонациональную империю и стремились заменить ее — сначала в воображении, потом и на деле — органическим сообществом, которое должно быть основано на русских и православных началах. Но их теократический национализм сразу столкнулся с неразрешимой проблемой русского раскола — наследием религиозного конфликта XVII века, который оттолкнул от канонического православия множество бородатых, благочестивых русских людей (см. главу 10). Из-за раскола этнические определения в России не сходились с религиозными, и именно раскол сделал невозможным теократический проект в России, определение русской нации как православной. Темный, преследуемый и удачливый двойник православия, раскол стал еще одной — и самой большой — «тенью колонизованного человека» (Bhabha 1994: 62). В XIX и в начале XX века к расколу навязчиво возвращалась светская мысль. И в этой области Хомяков стал автором оригинальной стратегии, отличавшейся от того, что предлагали его более ортодоксальные друзья, — не столько теократической, сколько коммунитарной и расовой. Он одним из первых понял, что у российского столкновения с современностью — колониальная природа (см. главу 1). Как и его французские современники, например Франсуа Гизо (Фуко 2005: 240), Хомяков восприни-

мал политические проблемы своего времени в расовых терминах. Русская аристократия — потомки викингов — полагала, что она «по крови» отлична от других сословий — духовенства и крестьянства, потомков миролюбивых славян. Хомяков стремился вновь актуализировать этот расовый дискурс, подвергнув его радикальной переоценке в пользу «славянского мира». Воспринимая письменное право, рациональное управление и права собственности как элементы европейской колонизации, начавшейся с Рюрика, Хомяков разработал свою концепцию общины. Давая русский ответ европейской современности — и постылым практикам капитализма, и пугавшим теориям социализма, — община казалась традицией древних славян, которая существовала до варяжского завоевания и пережила его, противостоя дворянской власти. Гакстгаузен почерпнул свою идею общины у русских сектантов, если не у немецких колонистов, но в кругу Хомякова верили, что общинами живут и православные крестьяне, и раскольники. Именно идея общины стала основным принципом славянофильства.

Так Хомяков и его сторонники перешли от романтического национализма к коммунитаризму, который ставил обычай выше закона, устное выше письменного и общину выше личности. Вслед за Гакстгаузенем консервативно настроенные славянофилы утверждали, что именно России принадлежит первенство в этих антисовременных ценностях и что община уберезит империю от революции. Чуть позже, однако, особое значение общины признали и радикалы, которые верили в западную идею социализма, но утверждали, что у России особый путь к этому будущему. Незадолго до ссылки в Сибирь Николай Чернышевский развивал теорию, что благодаря общинному землевладению Россия сможет избежать разрушительного капитализма. Поскольку социализм тоже будет строиться на принципах общественной собственности, Россия «прыгнет» в социализм прямо из ее нынешнего общинного состояния, минуя капитализм (Чернышевский 1856; Богучарский 1912; Walicki 1969; Dimou 2009). Националистические движения в

британских и французских колониях похожим способом утверждали свои отличия, интерпретируя «Запад» как погрязший в материализме и индивидуализме, а свою культуру — как духовную и коммунитарную (Chatterjee 1993). Идеи консервативного Гакстгаузена оказались важны для международного левого движения. Прочитав его книгу, Фридрих Энгельс начал изучать русский язык. И в своем трактате «О происхождении семьи, частной собственности и государства», и даже в «Манифесте Коммунистической партии» Энгельс ссылаясь на Гакстгаузена и его открытие русской общины. Правда, Маркс относился к этому скептически (Eaton 1980: 108; Shanin 1983).

Соединив социализм с национализмом и смешав этнографию, экономику и политику, община стала поистине великой идеей — большим нарративом русской интеллектуальной истории. Правовед Борис Чичерин, в будущем выдающийся политический философ и московский городской голова (демократически избранный мэр Москвы, 1882—1883), критиковал общинную теорию в статье, которая вызвала бурное обсуждение. Начав свой обзор 1856 года с Гакстгаузена, «одного из самых умных путешественников, посещавших Россию», Чичерин не оспаривал открытие общины, но давал ей иную интерпретацию. «Неужели, как утверждает барон Гакстгаузен, русская история играла только на поверхности народа, не касаясь низших классов народонаселения, которые остались донныне при своих первобытных гражданских учреждениях?» (Чичерин 1856: 376—379). На самом деле уже в Московском государстве, считал Чичерин, «княжеская власть сделалась единственным двигателем народной жизни», а общинная собственность исчезла, «не оставив по себе и следа». Власть Рюриковичей, признавал он, была посторонней крестьянскому населению: «Князь пришел с дружиною на север как посредник, а на юге и в большей части России явился завоевателем» (Чичерин 1856: 376—379). Читая владельческие грамоты XVI века, Чичерин показывал, что земли продавались и покупались без участия общины, но пустые участки земли раздавались вновь приходящим кре-

стьянам на основе ее решения. Сам князь был пришлым колонизатором, и община тоже оказывается институтом освоения захваченных земель¹. Сегодня подход Чичерина назвали бы ревизионистским. Община является «новым учреждением», писал Чичерин; она возникла на остатках «первобытных» институтов, но в ее нынешнем виде создана государством в целях налогообложения. В сущности, Чичерин понимал общину как частичный аналог немецкого городского самоуправления. Не упоминая немецких колоний, которые, наверно, сыграли свою роль в практическом переносе этого опыта на русские земли, Чичерин датировал этот перенос той же эпохой Екатерины II. Убежденные противники Чичерина отстаивали древность общины, ее расовую связь со славянством и постоянное присутствие в русских и сербских летописях.

Пока интеллектуалы спорили о происхождении общины, ее реальная власть в сельской России только возрастала. Освободив крестьян от помещика и создав новые земские институты для дворян, реформы Александра II усилили зависимость крестьян от общины. Потом, ближе к XX веку, община стала главным предметом борьбы между правительством и радикалами-народниками. Теперь правительство хотело сделать крестьян независимыми от общины и вывести общинные земли на рынок, а народники, среди которых было все больше террористов, считали такие попытки предательством (Богучарский 1912; Gleason 1980; Wcislo 1990).

Чичерин показал, что община была основана на обломках традиционного права в XVIII веке — как раз в то время, когда

¹ Здесь логика Чичерина следует за рассуждениями Бартольда Нибура, немецкого историка Античности, которого он читал студентом, учась у Грановского (Чичерин 1990). Согласно Нибуру, в Древнем Риме вновь колонизованные земли поступали в общественное владение, *ager publicus*. Сын знаменитого путешественника в страны Востока, Нибур показал, что республиканские идеи Гракхов о распределении земли в пользу плебеев относились только к *ager publicus*, землям недавней колонизации, а не к частным землям, как полагали Бабеф и другие классицисты революции.

коллективные шпицрутены пришли на смену индивидуальному кнуту. Современная шпицрутенам, земельная община имела общие черты с этим институтом. В обоих случаях империя передавала осуществление дисциплинарной практики на низовой уровень. Оба института были призваны дисциплинировать коллектив, подавлять частные интересы его членов и выявлять, разоблачать и, наконец, подавлять возможное сопротивление. При этом считалось, что у общины глубокие национальные корни, в то время как само название шпицрутенов выдает их западное происхождение. Более всего чуждая либерализма, империя опиралась на союз монархической власти сверху и практического коммунитаризма снизу: оба они препятствовали индивидуальной ответственности и капиталистическому развитию. Как писали российские либералы, «такой коммунизм устроить весьма легко; нужно только, чтоб существовали землевладельцы и рабы» (Кавелин, Чичерин 1974: 33).

Современные ученые в целом согласны, что крестьянская община возникла или, по крайней мере, оформилась одновременно с империей, хотя роль государства в ее создании остается спорной (Atkinson 1990; Moon 1999). В конце XIX века специалисты по сельскому хозяйству заметили, что в Сибири и других регионах поздней колонизации русские крестьяне-переселенцы спонтанно создавали земельные общины. Они делали это без поощрения со стороны чиновников, а иногда даже вопреки новым правилам, которые настаивали на том, чтобы земля была частной собственностью. Обобщая эти данные, известный экономист и историк крестьянских переселений Александр Кауфман спорил с либеральной российской историографией. Он доказывал, что в центральных и южных губерниях община тоже в свое время возникла в процессе «самопроизвольного зарождения», подобно тому как это позже произошло в Сибири (Кауфман 1908: 440; Shannon 1990). Но Кауфман признавал, что в регионах, где крестьяне давно и успешно занимались земледелием и не знали крепостного права (например, на севере России), общины не было. Там возникло индивидуальное фермерство и сложились личные права собственности.

Кауфман близко подошел к выводу, который я сформулирую на своем, но похожем языке. В России община была институтом колониальной собственности на землю. Она развивалась, если переселенцы не владели землей и не воспринимали ее как свою. Она также была институтом управления населением, если оно состояло из переселенцев и не было привязано к земле. В этом институте интерес крестьян в выживании сочетался с интересами государства в налогообложении и дисциплине. Помещики и чиновники были заинтересованы в общине как механизме непрямого правления крестьянами. Но тенденция приватизировать общинные земли тоже была долгосрочной. В конце концов эта тенденция уничтожила общину, превратив коллективную собственность в индивидуальную. На Русском Севере этот процесс успел дойти до последней стадии; за ним следовала и Сибирь.

Русская крестьянская община была различно организована в разные исторические периоды, в разных регионах и при разных типах собственности, помещичьей или государственной. Но ее окружала единая мифология, сутью которой было полярное противопоставление высших и низших сословий, моделировавшихся по образцу рас. Высшие сословия империи следовали сложным законам, регулировавшим частную собственность и способы субъективации; в низших классах, как утверждала общинная мифология, жизнь и земля принадлежали не личности, но коллективу. Разные авторы придавали разные оценочные значения разным сословиям, но почти все разделяли восприятие полярных различий между ними, и многие внесли личный вклад в их поляризацию. Идея общины и рождаемые ей противопоставления общины и личности, общины и собственности, общины и закона помогали конституировать квазирасовые различия между сословиями.

Самый своеобразный из российских институтов, община отличалась от советского колхоза, который пришел ей на смену. В обеих этих структурах люди не владели землей, на кото-

рой работали. Но общинники обрабатывали землю поодиночке или вместе со своими семьями, тогда как колхозники работали на колхозной земле вместе, в едином коллективе, построенном по образцу фабричного конвейера. Марксистская концепция коллектива была вначале разработана на примере рабочих, а потом последовательно применялась к крестьянам, заключенным, детям и интеллигенции (Хархордин 1999). Если в русской деревне и оставались коммунитарные симпатии, коллективизация уничтожила их.

Обратный градиент

Морские империи проводили явные и резкие различия между гражданами метрополии и колониальными подданными: первые пользовались все большим количеством политических прав, вторые были их лишены. Разница в политических правах между гражданами метрополий и подданными колоний вела к воображаемым и реальным различиям в их экономических свободах, доступе к образованию и уровне жизни. На протяжении XIX века метрополии превращались в национальные государства, препятствуя такому же развитию своих колоний. Так, западные империи выстроили сложную систему неравенств, интегральную характеристику которых можно назвать «имперским градиентом». Его смысл прост: центр империи жил лучше, чем колонии.

Для Российской империи был характерен обратный имперский градиент. Это необычно для морских империй, но, возможно, более характерно для империй континентальных¹.

¹ Брайан Бок высказывает схожее соображение, объясняя необычно высокие привилегии российской периферии особыми сделками, которые Российская империя заключала с «общинами фронта» в начале XVIII века (Воеск 2007). Питер Холквист (2010b: 462) приписывает концепцию «привилегированной периферии и дискриминированного центра» историку Борису Нольде, который в 1917 году был товарищем министра иностранных дел Павла Милюкова (Nolde 1952).

В России закрепощение крестьян — глубокое лишение гражданских прав у значительной части населения — произошло только с русским и восточнославянскими народами. В начале XIX века большинство дворян Российской империи были нерусского происхождения, хотя впоследствии этнический баланс изменился (Karpelev 2001). К 1861 году у поляков, финнов, украинцев, поселенцев Сибири, а возможно, и у татар и евреев уровень образования и доходов был выше, чем у русских в центральных губерниях России. Освобождение крестьян началось на окраинах империи, откуда волна реформ двинулась к ее центру. После освобождения русские продолжали подвергаться большей экономической эксплуатации, чем нерусские. В 1880-х годах чиновники с Кавказа докладывали в Министерство финансов, что местное население богаче, чем население центральных российских губерний, что неудивительно: на Кавказе подданные платили в четыре раза меньше налогов (Правилова 2006: 265—268). В финансовом и демографическом отношении колонизация Сибири, Кавказа и Средней Азии на протяжении XIX века вела к потерям в центральных губерниях: население их уменьшалось, а налоговое бремя росло. В конце XIX века суммарные налоги на подданного, жившего в 31 губернии с преимущественно русским населением, были вдвое больше, чем налоги на подданного, жившего в 39 губерниях с преимущественно нерусским населением (Миронов 1999). В Сибири коренное население платило государству в 2—10 раз меньше, чем русские крестьяне в тех же регионах, и к тому же было освобождено от воинской повинности (Znamenski 2007: 117). Средняя продолжительность жизни у русских была ниже, чем у народов Прибалтики, евреев, украинцев, татар и башкир. Даже евреи, исключительным образом ограниченные в правах чертой оседлости, признавали, что их положение было лучше, чем у русских крестьян в центральных губерниях (Nathans 2002: 71). Накануне революции популярной темой в политических спорах стало «обнищание центра». Historики говорят,

что угнетение имперской нации было «примечательной чертой социоэтнической структуры» Российской империи (Kappeler 2001: 125; Hosking 1997). В XIX веке это знали все, и народ и жандармы. Как писало III Отделение императорской канцелярии в отчете за 1839 год:

В народе толкуют беспрестанно, что все чужезычники в России, чухны, мордва, чуваша, самоеды, татары и т.п., свободны, а одни русские, православные — невольники, вопреки Священному писанию (Федоров 1994: 62).

Непрямое правление

Национальные государства напрямую адресуются каждому из своих граждан и рассчитывают на их индивидуальную поддержку. Начиная с постреволюционной Франции такие государства вырабатывали все более глубокие, изощренные способы общения с внутренней жизнью своих граждан. Мишель Фуко раскрыл сущность таких «дисциплинарных методов» в их немало разнообразии, от военной муштры до психологической консультации; важно, что эти методы всегда ориентированы на индивида, каждого в отдельности, шагает ли он или она в строю или лежит на кушетке. Для империй подобные задачи — точность попадания, глубина проникновения, тонкость настройки — недостижимы. Метрополии были становящимися национальными государствами, но в своих колониях империи имели дело не с индивидами, а с их организованными группами. В империях между индивидом и государством существует промежуточный уровень, который придает порядок и смысл реальной жизни — религиозным отправлениям и смене поколений, судопроизводству и правам собственности, сбору налогов и помощи нуждающимся. В Российской империи такие группы назывались общинами или обществами. Среди евреев Восточной Европы, в том числе и в России, такие группы назы-

вались кагалами. В Оттоманской империи они назывались миллетами, в Австро-Венгерской — культурными автономиями. Отказываясь в своих колониях от дисциплинирования индивидов в пользу контроля над группами, не вмешиваясь во многие уровни внутренней жизни этих общин, кагалов и миллетов, признавая и поддерживая традиционные способы течения этой жизни, империи работали с другими единицами управления и вырабатывали иные его режимы, чем это делало национальное государство.

В своей критике дисциплинарных практик Мишель Фуко не обратил должного внимания на это отличие империй от национальных государств — обращенность империи к группам, не к индивидам. Поэтому осмысление имперского опыта требует переосмысления фукольдиданских понятий и подходов в ином, коммунитарном ключе. В отличие от национального государства империя познавала, создавала, переделывала не физические (но насквозь пропитанные культурой) тела индивидов, а воображаемые (и вместе с тем неотвратимо реальные) тела общин, миллетов и кагалов. Развиваясь в долгом историческом времени, империя создавала важнейшие классификации, с которыми сама же и работала, — этнические, сословные, конфессиональные, территориальные и другие. Политики каждого поколения, однако, заставляли категории имперского разума, такие как народности, сословия или секты, в качестве давно известных, объективно существовавших реальностей. То, что историку представляется культурной конструкцией, политику казалось готовым материалом, требующим вмешательства и преобразования или, наоборот, защиты и сохранения.

Новый для XIX века тип интеллектуала, эксперта, специалиста был важен именно потому, что действия империи были адресованы ее частям, каждой по отдельности, но не всей империи в целом и не отдельным ее подданным. Для того чтобы контролировать эти разнообразные и частично автономные группы подданных, формировались особенные методы, характерные для империи и несвойственные национальному госу-

дарству. В соответствии с высшими задачами империи одни из этих групп следовало признать в качестве легитимных и самоуправляемых, а другие, наоборот, преобразить либо ликвидировать, перемешав с более приемлемыми группами. Главными задачами империи становились изучение этих коллективных сущностей; производство речевых актов, которые признавали существование одних групп, молчаливо игнорировали жизнь других и отвергали идентичность третьих; охрана границ между этими группами и, наконец, создание и отбор реформистских проектов по разделению, слиянию, перекройке существующих коллективов.

Строя национальные государства, что случалось и в метрополиях, и в колониях, политики неизменно занимались разрушением коммунитарных структур, созданных империей. Тогда ее писатели и философы переоткрывали забытую уже прелесть этих общин, их теплоту и подлинность, их превосходство над современностью. В ответ на это социологи и политические теоретики конструировали ассоциации нового типа, либеральные ячейки гражданского общества, признающие и утверждающие свободу своих членов. И наконец, историки, рассматривающие общины прошлых эпох через современную либеральную оптику, вновь и вновь ставили те же вопросы: существовали ли эти общины как древние, предшествовавшие империи структуры или были созданы империей в своих целях? Были ли они средствами сопротивления государству или, наоборот, подавления и контроля? Хранили ли они в себе залог недалекого уже будущего? Какого именно будущего — добровольных ассоциаций либерального общества или утопических, тотальных организаций типа фаланстеров, колхозов или советов?

В России община стала центральной темой интеллектуальных дебатов и одной из важнейших проблем политической истории империи. Разные теории общины питали влиятельные и, что сегодня еще яснее, уникальные явления русской мысли: славянофильство, народничество, земскую реформу, толстовство, анархизм, учение социалистов-революционеров. Борьба с эти-

ми теориями стала центральным содержанием либеральной мысли середины XIX века, столыпинских реформ и, наконец, русского марксизма. Пересекая огромное пространство политических идей и делая в нем странные зигзаги, русская идея общины поныне сопротивляется внятному, рациональному дискурсу. Возможно, концептуальная проблема связана с традиционным (восходящим к славянофилам) рассмотрением общины в историческом контексте становящегося национального государства. Вернуть русскую общину в имперский контекст — значит увидеть ее как инструмент внутренней колонизации, — сначала интеллектуальный, затем административный.

Задолго до сталинской революции в деревне колонизация в России часто означала коллективизацию. Подчиняя себе крупные этнические сообщества, империя разделяла их на меньшие по размеру коллективные единицы непрямого правления, которые становились посредниками между сувереном и отдельными семьями. В своих важнейших делах, таких как налогообложение, призыв на воинскую службу или судопроизводство, суверен имел дело с общиной, а не с отдельными личностями. Возникая как социопространственные единицы, такие общины вообразались как клетки здорового организма, отдельные друг от друга, но связанные единой целью. Таковую клетку мог возглавлять дворянин — владелец земли и крестьян, или назначенный государством чиновник, или избранный общиной старейшина. Перед лицом суверена у них были сходные обязанности. Меньшие по размеру, чем миллеты в Османской империи, русские общины и инородческие общества имели некоторые права самоуправления и самообложения налогами. В обмен на оброк, налоги, ясак и поставку рекрутов они получали невмешательство в свою религиозную и культурную жизнь. Исследователи колониализма знают, что не прямое правление, использовавшееся имперскими державами по всему миру, предотвращало вспышки насилия и тормозило развитие национализма (Hechter 2001). Но и у этой изошренной системы были свои пределы.

Современность приводит личность и семью в непосредственный контакт с государством. Промежуточные уровни, опосредующие этот контакт, исчезают или меняют свою природу, превращаясь во временные, добровольные ассоциации, не имеющие власти над индивидом (Токвиль, 2000; Gellner 1998; Slezkine 2004). Личная свобода, мобильность, демократические процедуры придают экономике, культуре и политике энергию, характерную для современных обществ. Конкурируя с европейскими государствами, Российская империя не могла избежать этих процессов. Но у стирания границ между сословиями и у разрушения замкнутых общин была и своя «темная сторона» (Mann 2005). Национализм в его современной форме, всеобщая воинская повинность, стандартизированная система образования, новое политическое определение гражданства делали более вероятными этническую дискриминацию, насильственные переселения, погромы и этнические чистки.

Развиваясь в различных национальных традициях — у Токвиля, Милля, Чичерина, Вебера, — либеральная теория признала добровольные ассоциации ведущим институтом гражданского общества, а принудительные объединения, наоборот, «самым прямым путем к неравенству» (Walzer 2004: 2). Идея свободного входа и выхода была чужда Российской империи. Ее подданные редко создавали группы, к которым были прикреплены, и не могли выбирать, к какой группе примкнуть. Территориальный характер общин означал, что их члены были привязаны к земле, на которой жили, и к группе, к которой принадлежали. В этих сообществах проходила вся жизнь их членов. В них они рождались, вступали в брак и умирали, и к той же группе принадлежали их дети. Поэтому эти сообщества были такими прочными, их содержание таким насыщенным, их границы труднопреодолимыми. Правящая элита конструировала себя как Солнечную систему, состоящую из личностей и институтов вокруг императора. Подданные империи были, напротив, организованы как сотовая структура, подобная улью.

На сотовом уровне суверен даровал земли не отдельным переселенцам, а всему коллективу. Эти земли нельзя было продавать или закладывать. Физические лица и их семьи не владели землей, которую обрабатывали. В случае крестьянских общин с каждым новым поколением (или даже чаще) наделы перераспределялись. Крестьяне были поселенцами на своей земле, а не ее хозяевами. Выход из общины был затруднен множеством препятствий. Почти до конца империя боролась против развития земельного рынка, особенно в отношении сельскохозяйственных земель. Империя не хотела иметь дело с индивидуальными агентами, только с дворянами, чиновниками или старейшинами, каждый из которых управлял сотнями крестьян. Общины не сообщались между собой; вне торговли все транзакции были вертикальными, от каждой отдельной общины вверх по иерархической лестнице к монарху и обратно вниз. Начиная с середины XVIII и до начала XX века эта сотовая система структурировала огромные пространства империи. За время ее существования она распространилась среди народов с очень разными традициями. Будучи системой непрямого управления, она была нейтральной к культурам и народностям.

Хотя русские власти веками практиковали не прямое управление в своих отношениях с сибирскими племенами, впервые оно было кодифицировано для немецких колоний на Волге, переосмыслено в столкновениях империи с еврейскими кагалами в черте оседлости и, наконец, применено к помещичьим и государственным крестьянам. Перемещаясь от одного конца империи к другому, группа высших чиновников повсеместно внедряла сотовую систему оседлой колонизации, хотя конкретные результаты в разных случаях могли различаться. Пытаясь создать единую модель, которую можно было бы применять к разным народам империи, они сравнивали результаты в разных регионах, делились положительным опытом и переносили практики в масштабах империи.

Родившийся под Казанью и гордившийся своей татарской родословной, Гавриил Державин получил свой первый адми-

нистративный опыт в 1774—1775 годах, организовав оборону немецких колоний на Волге от восставших казаков, калмыков, крестьян-раскольников и киргиз-кайсаков; однажды, если ему не изменила здесь память, ему удалось отбить от пугачевцев полторы тысячи угнанных ими колонистов. Живя в колонии Шафгаузен, основанной в 1767 году, он подружился с ее старейшиной Карлом Вильмсенем, любителем музыки и поэзии. Державин нашел в его библиотеке оды Фридриха II в немецком переводе (пруссский король писал их по-французски) и перевел их на русский. В Шафгаузене Державин написал и цикл собственных од, моралистических и косноязычных, призывавших к личной ответственности, скромности, честности: «Ода на постоянство», «...на знатность», «...на великость». Не придавая колониям особого значения, биограф Державина, поэт и критик Владислав Ходасевич, полагал, что именно там в основоположнике русской поэзии «что-то сдвинулось», и навсегда:

В жизни каждого поэта... бывает минута... его будущая поэзия вдруг посылает ему сигнал... Эта минута неизъяснима и трепетна, как зачатие... После нее все дальнейшее — лишь развитие и вынашивание плода... Такая минута посетила Державина весной 1775 года (Ходасевич 1988: 87).

Не удивительно ли, что зачатие русской поэзии произошло в немецкой колонии? Мало сомнений в том, что, знакомясь с необычной жизнью колонистов, Державин пришел и к другим прозрениям. Так и не побывав за свою долгую жизнь за границей, юный поручик потом станет универсальным администратором империи — олонецким наместником, тамбовским губернатором, ревизором еврейской черты оседлости и министром юстиции. В своем проекте реформирования еврейских общин Державин опирался на опыт немецких колоний на Волге, и тот же шаблон империя применяла к татарам, создавая магистраты в мусульманских регионах (Lowe 2000).

Многолетний министр финансов Егор Канкрин, родившийся и учившийся в германских землях, начал свою российскую карьеру с должности инспектора немецких колоний под Петербургом. Мало кто больше Канкрин повлиял на ход и итог Высокого Имперского периода. Выходец из поповского сословия, Михаил Сперанский стал генерал-губернатором Сибири после множества административных свершений в столице, где он, в частности, написал устав военных поселений. В Сибири Сперанский разделил инородцев на оседлых, приравняв их к государственным крестьянам; кочевых, которые были разделены на улусы во главе со старейшинами, собиравшими с них ясак; и, наконец, бродячих, которые получили самоуправление потому, что делать с ними было нечего.

Хотя евреи-ашкенази и так жили оседло, империя не желала их миграции из польских ее колоний во внутренние земли. Для них был создан особый режим, запрещавший переселения и коммерцию к востоку от традиционных мест проживания евреев, — черта оседлости. Уже отмечалось, что этот режим был равносителен учреждению еврейской колонии Российской империи (Rogger 1993). Хотя такое ограничение на передвижение евреев было необычным явлением, в других отношениях империя обращалась с ними примерно так же, как с другими религиозными меньшинствами. Колонизовав обширные части Польши, населенные евреями, империя обнаружила там старинную единицу самоуправления — кагал. В 1844 году император издал указ, запрещавший кагал, но подводящий еврейские поселения под менявшееся тогда законодательство, которое регулировало жизнь крестьянских общин. Империи не удалось изменить структуру еврейского самоуправления, но она подорвала его традиционный авторитет (Dubnow 1990: 227; Stanislawski 1983: 48, 24). Обычно считается, что попытка применить нормы русской общины к еврейскому кагалу потерпела поражение. На деле более вероятен обратный процесс: известная российским чиновникам с XVIII века и активно обсуждавшаяся в 1840-х годах кол-

лективистская структура кагала в ослабленном виде была перенесена на усиливавшуюся русскую общину.

Как и крепостное право, черта оседлости была инструментом имперского доминирования, где общины и кагалы выступали как параллельные структуры непрямого правления. Реформы кагалов, общин и улусов отражали стремление унифицировать структуру управления всеми народами империи. Переселения и миграции создали эту империю; ограничения движений человеческих масс были задачей самых масштабных ее институтов, крепостного права и черты оседлости; но средствами контроля всегда было разделение подданных на группы непрямого правления, что помогало снизить уровень насилия и расходы империи.

Используя этномифологию, верную служанку империи, чиновники объясняли свое сопротивление освобождению крепостных и десегрегации евреев, ссылаясь на их незрелость или отсталость. Как показал Ганс Роггер, антисемитизм государственной политики соответствовал комплексу похожих представлений и предрассудков в отношении самих русских. Если имперские чиновники «были объединены глубоким и неподдельным страхом перед разрушительной, анархической силой русской толпы», солдаты империи «пессимистически оценивали собственную способность держать народную ярость под контролем» (Rogger 1993: 1219). Значительно раньше Василий Ключевский описал это положение дел, которое он считал типичным для российского дворянства XIX века, такими словами: «...полная нравственная растерянность, выражавшаяся в одном правиле: ничего сделать нельзя и не нужно делать» (1900: 100).

Хотя власть империи распространялась по-разному, разрушалась она одинаково. Как бумеранг, все более насильственные методы имперского доминирования из периферии империи возвращались в ее центр. Этот процесс сопровождали массовые миграции, принудительные или добровольные. В духе «имперского ревизионизма» (Mann 2005: 31) новая органическая идеология определила попытки ввести воинскую повинность,

единое налогообложение и официальный язык по всей империи. Оформление непрямого правления началось с немецких колоний, а демонтаж этого механизма — с черты оседлости. Запретить кагал при сохранении черты оседлости означало попытку, непоследовательную и скоро свернутую, ввести прямое правление в огромном гетто. Ответом восточноевропейских евреев под российским игом стали два протестных движения, которые определили ход XX века, — сионизм и коммунизм (Slezkine 2004).

Обречена была и ставка на крестьянскую общину. Возникнув как культурный миф, община превратилась в дисциплинарный механизм, который организовал жизнь и труд людей на огромных пространствах от Атлантики до Тихого океана. Ближе к концу XIX века экономические либералы в правительстве империи стремились отменить общину, создать земельный рынок и освободить труд. На смену общинам они создали новые, межсословные институты непрямого правления — земства. Изменения в законодательстве позволили многим крестьянам начать свое хозяйство и кому-то из дворян обрести достойную роль в меняющейся жизни. Несмотря на экономический успех этих реформ, они натолкнулись на сопротивление, исходившее из необычного источника — вооруженной интеллигенции. Вдохновленные идеями народников, террористическое подполье попыталось ускорить скачок от коммуны к коммунизму. Конфронтация между сторонниками и противниками общины была одним из главных двигателей той спирали насилия, которая привела к революции в России. Потом коллективизация 1928 года оживила миф об общине в новой и особенно разрушительной форме.

С концом Высокого Имперского периода Россия вступила в эпоху реформ, но дела пошли худо. Несмотря на освобождение крепостных и другие перемены, империи не удалось избежать коллапса, сопровождавшегося волнами насилия. Этот урок неоднократно обсуждался, но продолжает оставаться актуальным для Европы и мира, которые сталкиваются с теми же проблемами, с которыми пытались бороться правители и интеллектуалы.

лы Российской империи. Непрямое правление сегрегированными, частично автономными сообществами — пирамидой из сословий и гетто, с охраняемыми границами между ними — снижает уровень насилия, но тормозит экономический рост и прочие виды прогресса. Переход к прямому правлению возможен и часто кажется необходимым, но может вести к новым вспышкам массового насилия. Во имя конкуренции с враждебными империями последние Романовы демонтировали старый порядок непрямого правления. Ослабление сословий и общин сопровождалось насилием. Первая половина XIX века отмечена польскими восстаниями и кавказскими войнами. Притеснения сектантов в 1870-х годах, еврейские погромы 1880-х годов и народнический террор заполнили вторую половину века. Достигнув своего пика в революциях 1905 и 1917 годов, массовое насилие стало ответом на имперскую политику унификации: единое налогообложение разных сословий, всеобщую воинскую повинность, уничтожение общины и обязательное начальное образование. Ступеньки на лестнице современности, эти нововведения имели свою темную сторону, «лестницу насилия» (Mann 2005). Реформаторы руководствовались добрыми намерениями, строя сверкающую лестницу прогресса, но они недооценили опасность ее темного двойника — лестницы насилия. А может быть, это была одна и та же лестница.

Демонтаж старой системы коллективных субъектов должен сопровождаться культурной нейтрализацией государства и всеобщим доступом к образованию и карьере (North et al. 2009). Если российский имперский опыт может дать нам урок, он заключается в сложном образе современности, состоящем из светлых и темных сторон, взаимосвязанных и противоположных друг другу векторов. Чтобы избежать коллапса в русском стиле, глобальный переход к прямому правлению должен предлагать равные возможности всем подданным нового мира, и прежде всего доступ к передвижению и образованию. Символ прогресса — не приставная лестница, а стремянка. Две стороны лестницы современности — глобальная унификация и равный доступ — должны быть одной высоты, иначе лестница рухнет.

Глава 8

Внутренние дела

В недавней статье Уиллард Сандерленд (Sunderland 2010: 120) задает вопрос, почему в Российской империи так и не было создано Министерство по делам колоний. Этот вопрос звучал и раньше; Август фон Гакстгаузен, впервые задумавшийся над ним, предлагал империи создать Министерство колоний, «как в Англии, хотя и в несколько другом смысле» (1856: 2/76). Но и его предложение запоздало. Ответ на вопрос, почему в России не было Министерства колоний, состоит в том, что такое министерство здесь было, одно или два.

Интеллектуалы у власти

Девиз на гербе графа Льва Перовского, министра внутренних дел Российской империи (1841—1852), гласил: «Не слыть, а быть». Незаконный сын графа Алексея Разумовского, министра просвещения (1810—1816), Перовский заслужил свой графский титул, занимая высокие должности в администрации эпохи Николая I. Девиз ему составил Владимир Даль, военный хирург, ставший автором многотомного словаря русского языка, а также глава Особой канцелярии министерства, работавший лично на Перовского (Мельников-Печерский 1873: 310). Чтобы «быть», министр окружил себя писателями и учеными, которые знали толк в обманчивом искусстве «слыть». В интеллектуальной истории России люди 1840-х годов обычно представляются высоколобыми идеалистами, знатоками и сторонниками немецкой романтической философии (Berlin 1978). Сотрудники Министерства внутренних дел принадлежали к другому сорту людей. Не романтические ежи, а политические

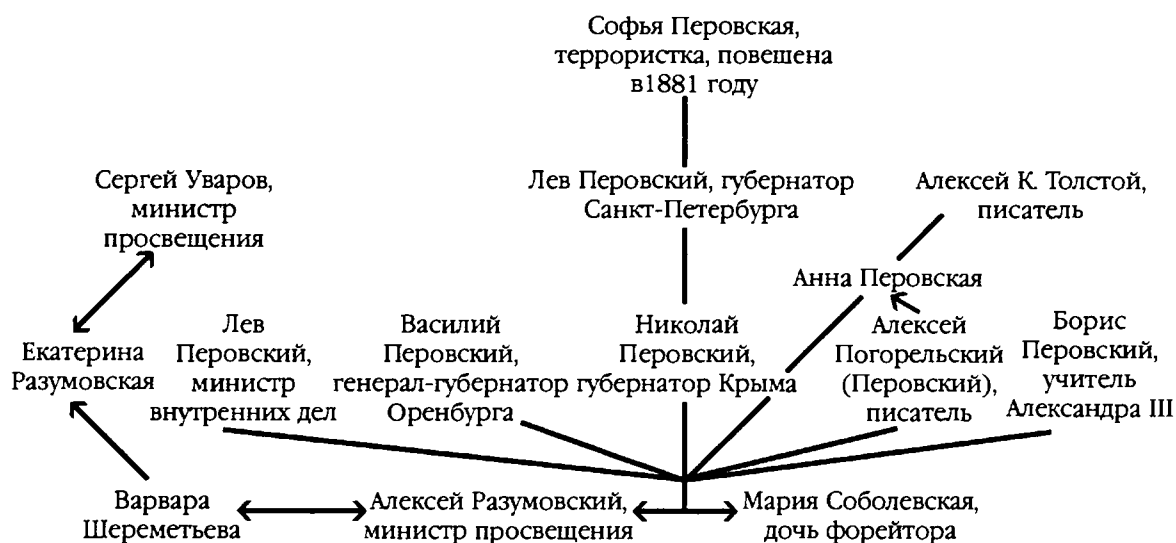
лисы, эти интеллектуалы знали, что такое власть, и умели продемонстрировать свою ценность тем, в чьих руках она была. В их времена знание приносило власть над природой. Наука создала вакцины, навигационные приборы, паровые машины и добилась других успехов, оценить которые могли все, но понять — лишь специалисты. Столь же глубокие, специальные знания о населении — на языке этих интеллектуалов, о народе — должны были помочь власти благотворно действовать на народ в интересах империи. Очевидные явления, заметные публике, несущественны для искусства управления. «Быть» отличалось от «слыть», но разницу между ними знали только профессионалы.

В 1840-х и 1850-х годах Министерство внутренних дел приняло на службу ведущих русских философов, востоковедов и особенно много писателей¹. Это была группа блестящих интеллектуалов, рядом с которой бледнел преподавательский состав Московского и Петербургского университетов. Империя входила в новый век современной, рациональной бюрократии. Дворянство нуждалось в экспертах, и дворяне становились экспертами (Weber 1979: 973). Министерство внутренних дел контролировало огромные сферы управления империей, включая полицию, здравоохранение и цензуру (Lincoln 1982). Оно управляло всеми связями между империей и ее частями: назначало губернаторов, посылало ревизоров, составляло карты, отвечало за дороги и управляло религиозными и этническими меньшинствами. Хотя власти над имениями у министерства не было, оно составляло правила для помещиков. Обычай аристократического управления уже казались устаревшими, но заменить их было сложно. Камерализм, немецкая наука об управлении, ввела в оборот статистику населения,

¹ Философами были Николай Надеждин, Константин Кавелин, Юрий Самарин и Петр Редкин, ориенталистами — Иван Липранди, Василий Григорьев, Павел Савельев и Яков Ханьков, писателями — Павел Мельников, Иван Тургенев, Иван Аксаков, Владимир Одоевский, Владимир Соллогуб, Михаил Салтыков-Щедрин, Евгений Корш, Николай Лесков и другие.

учет бюджета и рациональный подход к экономике, но практика сильно отличалась от теории (Wakefield 2009). Журнал Министерства внутренних дел, выходявший под редакцией философа Николая Надеждина, все чаще заполняли статистические таблицы, детальные карты, технические чертежи и даже психиатрические истории болезни. Отец Перовского учился статистике у знаменитого Шлёцера. Теперь министерство пыталось внедрить эти методы на практике, организовав Статистические комитеты в губерниях; в таком комитете в Вятке успел поработать Герцен и вспоминал позже о «статистической горячке», овладевшей тогда умами. Но литература и этнография, немногим отличавшаяся от литературы, лучше отражали ключевые аспекты имперского опыта, чем зарождающаяся статистика. При Перовском и после него большая часть высших чиновников министерства все еще были интеллектуалами широкого профиля (Orlovsky 1981: 11). Даже по критериям XIX века многие были самоучками-дилетантами: врач написал словарь русского языка, философ занимался этнографией, офицер разведки создавал религиоведение, а востоковед цензурировал прессу. Сами размеры империи, огромность ее проблем и крохотный штат министерства требовали писателя, лучше всего романтика-сентименталиста с широким кругозором, бойким пером и героической склонностью к упрощениям. Как писал от имени своего героя-чиновника один из сотрудников министерства, сатирик Михаил Салтыков-Щедрин, «я публицист, метафизик, реалист, моралист, финансист, экономист, администратор. По нужде, я могу быть даже другом народа» (1936: 10/71).

Отец Перовского, Алексей Разумовский, был украинским казаком, племянником тайного мужа императрицы Елизаветы. Получив домашнее образование, он стал министром просвещения. Разумовский женился на богатейшей наследнице в России, из рода Шереметьевых. Дочь его конюха родила от Разумовского десять детей, в том числе и будущего министра внутренних дел. Карьера Перовского и его братьев была вдвойне нео-



Илл. 17. Перовские — потомки Алексея Разумовского (1748—1822)

бычной для консервативной империи: малороссийские помещики на вершине власти, к тому же и не дворяне. Тем более интересно, что она кажется запечатленной или даже предсказанной в одном из самых популярных романов. В «Иване Выжигине» (1829) Фаддея Булгарина главным героем является незаконнорожденный отпрыск аристократической семьи, владевшей огромными поместьями в Украине. Иван Выжигин проходит путь от нищенства, проституции и участия в тайной секте до высоких постов в империи. Соперничество между правоохрательными структурами империи было делом обычным, но Булгарин придал ему литературное измерение. Начав со службы в наполеоновской армии, в России польский интеллигент Булгарин стал агентом жандармского управления, для которого написал тысячи страниц докладов и доносов (Рейтблат 1998).

Незаконнорожденные родственники императорской семьи (их называли русскими Монморанси), братья Перовские заняли места на самом верху российской власти. После высшего поста в Министерстве внутренних дел Лев Перовский был министром уделов и управляющим Кабинетом его величества до своей смерти в 1856 году. Его старший брат Николай, участник



Илл. 18. Штаб и пехота на верблюдах. Поход российской армии из Оренбурга в Хиву, 1839—1840

дипломатической миссии в Китай в 1805 году, стал крымским губернатором. Василий Перовский (его портрет кисти Брюллова см. на обложке) стал генерал-губернатором Оренбурга, откуда руководил серией колониальных предприятий, которые начались провалом, но закончились колонизацией Средней Азии. Ближко стоявший к литературе и еще ближе — к императорской семье, в 1839 году он читал ее членам самый кощунственный текст русской поэзии — лермонтовского «Демона», который останется под цензурным запретом еще несколько десятилетий (Герштейн 1964: 69—73). В 1870-х годах Лев Толстой планировал написать о Василии Перовском целый роман.

Младший сын Разумовского, Алексей Перовский стал писателем Антонием Погорельским. Светский человек и автор нескольких повестей, он запомнился своей сказкой «Черная курица, или Подземные жители», в которой главному герою даже во сне видятся министры. Самый младший из братьев, Борис, стал учителем будущего императора Александра III. Сергей Уваров, министр просвещения, был женат на сестре Перовских. В годы

правления Николая I клан братьев Перовских вел борьбу с кланом сестер Пашковых, которые вышли замуж за министра юстиции и двух председателей Государственного совета (Корф 2003: 73).

Братья Перовские сотрудничали на нескольких уровнях. Алексей, друг Пушкина и других литераторов, связывал братьев с литературной элитой. Он помог Владимиру Далю определиться на службу к брату Василию — оренбургскому губернатору; потом Даль перешел на службу в Министерство внутренних дел ко Льву Перовскому. Другие чиновники, например Василий Григорьев, проделали обратный путь — из Петербурга в Оренбург. Вводя новшества, империя опробовала их в колониях, а потом применяла внутри страны, и одна семья управляла обоими пунктами на траектории колониального бумеранга. Поклоняясь разуму и закону, эта группа экспертов на службе империи неизбежно породила своих диссидентов. Сын старшего из братьев Перовских, Николая, стал губернатором Санкт-Петербурга. Его дочь, Софья Львовна Перовская, организовала убийство Александра II и была повешена в 1881 году.

Большую часть пребывания Перовского на посту министра его аппарат возглавлял Карл фон Пауль — член общины моравских братьев, чьи необычные представления о дисциплине привели к постоянным столкновениям с губернаторами, которые подчинялись его надзору (Шумахер 1899: 109). Кажется, эти представления были не чужды и министру. Еще до своего назначения, в 1830-х годах, Перовский, работавший в Министерстве уделов, ввел коллективный труд — «общественные запашки» — в удельных поместьях, которые принадлежали императорской семье. Этот режим заставлял принадлежащих короне крестьян, многие из которых были староверами или инородцами, не только платить подати, но и совместно работать на полях. Позднее Перовского подозревали в том, что он использовал систему, выработанную в военных поселениях; но в отличие от немецких колоний и военных поселений Перовский вводил «общественные запашки» через наемных управля-

ющих. В духе капитализма управляющие получали процент с выполненных работ, но крестьянами управляли с помощью телесных наказаний. Несколько позже Министерство государственных имуществ, которое возглавлял граф Павел Киселев, применило метод Перовского к государственным крестьянам; это нововведение будут одобрять советские историки, видевшие в нем предтечу колхозного строя (Дружинин 1946). Ранее Киселёв возглавлял администрацию «княжеств», входящих в состав современной Молдавии и Румынии; он тоже принес внешний опыт в управление внутренними территориями. Министерство Киселёва оплатило Гакстгаузену его путешествие по России и тем самым его открытие общины. Одновременно, в начале 1840-х годов, Перовский обратил особое внимание на еврейские общины-кагалы, собрал о них подробные сведения и в 1844 году составил законоположения о евреях-землевладельцах и коробочном сборе. В те же годы Перовский ввел в управлявшихся им удельных имениях круговую поруку крестьян при платеже оброка. Это был ранний опыт введения общинного принципа сверху, который потом был перенесен в реформистские законы, освобождавшие крестьян от помещика и ставившие их в зависимость от общины, подобной кагалу.

В Министерстве внутренних дел идея общины была популярна среди философов и юристов, хотя специалисты по сельскому хозяйству из числа сотрудников уже понимали, что общинное землевладение препятствует продуктивности (Lincoln 1982: 123). Ликвидировав власть помещика, освобождение крестьян в 1861 году оставило общину основным механизмом социального и финансового контроля на селе. Хотя сами проекты реформ были составлены уже после ухода Перовского с должности министра, многие их авторы были его людьми в министерстве. Лев Перовский и сам был богатым землевладельцем, который нанял для своих поместий англичанина-управляющего. В ожидании реформ он по дешевке скупал крестьян в центральных губерниях и переселял их в свои южные помес-

тъя; но в отличие от героя «Мертвых душ» Перовский перегонял живых крестьян (см. главу 11).

Руководя министерством, Лев Перовский налаживал современную администрацию в государстве, которое лишь недавно (в 1837 году) отменило посты генерал-губернаторов во внутренних губерниях, сохранив их в пограничных губерниях и в двух столицах¹. Ликвидация военного руководства внутренними губерниями, одновременная с созданием (тоже в 1837 году) Министерства государственных имуществ, означала переход от чрезвычайного положения, равномерного на всей территории империи, к полицейскому государству, руководимому гражданской администрацией. Развивая научные методы управления — статистику, массовое прививание оспы, ревизии и так далее, Перовский превратил свое министерство в центральный институт внутренней колонизации, обустроивающий жизнь подданных на огромных пространствах империи. Отвечая за правовую, административную и сельскохозяйственную реформы, министерство приняло на себя реформаторские функции, основанные на идеях Просвещения и новых социальных дисциплинах, но сдерживаемые масштабом империи, сословной структурой общества и страхом революции. Имперская администрация внутренних и пограничных губерний наделялась цивилизационной миссией, подобной тем, что осуществляли классические империи в своих заморских колониях. Как описал эту задачу сенатор Кастор Лебедев:

В мирное время мы — завоеватели собственных земель, а во время войны мы должны опасаться и защищаться от этих наших подданных <...> Избави, Боже, от беспорядков внутрен-

¹ Генерал-губернаторы, учрежденные указом Екатерины от 1775 года, обладали чрезвычайными полномочиями. Военные, назначаемые царем были равны столичным министрам, что порождало многочисленные конфликты. Гражданские губернаторы были подчинены МВД и назначались министром. Имперское управление Польшей и Кавказом потребовало статуса наместника, который был выше генерал-губернаторского.

них! Возгораемых материалов так много, что пожар может объять все пространство <...> Все эти крепостные, все эти обобранные крестьяне и инородные, церковные, мелкопоместные владельцы и эти беспоместные крестьяне и разночинцы, срочные арестанты, бессрочные отпускные, все это обнаруживает неустройство и беспорядок (1888: 356—358).

Неусыпные усилия министерства были направлены на конфессиональные и этнические сообщества. В бытность свою министром Перовский заказал «карту... всем оконечностям государства, с показанием различными красками и тенями, кроме раскольников, всех иноверцев и иноплеменников» — от чуди до камчадал и от Риги до Оренбурга — «не говоря уже об обширных пространствах Сибири» (Липранди 1870b: 111). Империи всегда питали страсть к картам, которые служили моделью для будущих завоеваний так же, как и изображением уже завоеванных территорий (Brubaker 1992; Suny 2001; Stoler 2009). Перовского не интересовала стандартизация политических прав и экономических благ в имперском пространстве; наоборот, он приветствовал разнообразие колоний, если их можно было контролировать, наносить на карту, облагать налогом. Имперское пространство наполняли воображаемые сообщества, красочные и экзотические: это они были единицами имперского управления. Министерство брало на себя ответственность за нанесение на карту верных границ между этими разноцветными группами, за распознавание их истинной сущности и приведение отношений между этими сущностями к гармонии ради общего блага. Как писал Надеждин в 1831 году, «освещение [...] разливается из средоточия; но окружность становится ощутительно цветнее» (2000: 2/747). Это важная черта империи, отличающая ее от национального государства. Национальное государство стремится к гомогенности прав, благ и культур на своей территории; практикуя не прямое правление, империи не только не имеют такой амбиции, но приветствуют эстетическое (а также, в контролируемых границах,

политическое и экономическое) разнообразие на периферии. На протяжении века этот культурный — сегодня бы его назвали мультикультуральным — аргумент становился все более важен как оправдание самого существования империи.

Особо опасные секты

В 1843 году Иван Липранди организовал при министерстве Комиссию по делам раскольников, скопцов и других особо опасных сект. Испанский дворянин, Липранди основал российскую контрразведку и руководил ею во время оккупации Парижа, изучал восточные языки и историю, возглавлял государственную политику в отношении неправославных русских и призывал полицейскими мерами усмирить славянофилов, которых считал сектой. Он дружил с Пушкиным и стал прототипом его рассказов (Гроссман 1929; Эйдельман 1993). На свой страх и риск Липранди возбудил политический процесс против кружка столичных фурьеристов, в котором министерство обрело свою самую знаменитую жертву: Достоевского. Знаток и противник национализма, Липранди писал как истинно имперский мыслитель:

К несчастью, или счастью, Европы, мысль о природных границах и соединении народностей заронена в народах... Сама по себе она величественна, живуча, как бы удовлетворяет естественным влечениям человеческой природы и жизни Государства, но в практике... обагрит Европу потоками крови. Турция и Австрия будут первыми очистительными жертвами этой великой, но фантастической мысли; затем перевернет она всю Европу и наконец перекинется за пределы ее в остальные части света (1870а: 234).

Поскольку «разные земли одного и того же племени» часто более враждебны друг к другу, чем к «чуждой расе» (столетие

спустя это назовут «нарциссизмом малых различий»), Липранди предсказывал неудачу объединению Германии и освобождению Италии. Потому же и Российской империи нужно было опираться не на панславянские чувства, а на власть информации и принуждения. Поскольку «племена» и «расы» для него значения не имели, Липранди видел свою задачу в том, чтобы исследовать и использовать другие, менее очевидные единицы имперского управления. В соответствии с этой логикой предметом его забот стали религиозные сообщества. Используя полицейские отчеты и доклады миссионеров, Липранди сделался одним из первых и лучших специалистов по русскому расколу. Он разделил раскол на секты, обозначив некоторые из них как «опасные», а другие как «особо опасные». Общее количество их последователей Липранди оценил в 6 миллионов, что было примерно в 10 раз больше, чем по предыдущим оценкам. Интересно, что предположение о взаимной ненависти между сходными обществами не распространялось у Липранди на секты. Напротив, он утверждал, что многие из этих разнородных общин объединены в тайную «религиозно-конфедеративную республику» — государство в государстве, внутреннюю колонию совсем особого рода. Там, внутри, были свои столицы, свои средства коммуникации и даже тайный язык, записать который было поручено министерскому лингвисту, Владимиру Далю. Тайный характер сект оправдывал усилия ведущих интеллектуалов министерства, направленные на их выявление (Липранди 1870b: 107). Новооткрытая «конфедеративная республика» наносилась не на географическую, а на богословскую карту, но нуждалась в полицейском контроле. Липранди писал о таких страшных грехах сектантов, как «кровосмешение, мужеложство, сообщение женщин с женщинами», об их идее, что «домашние вещи принадлежат всем». «Не чистый ли это коммунизм?» — восклицал Липранди (1870b: 80—85). К тому же он подозревал, что раскольники находятся в сообщении с дворянскими вольнодумцами, составляя межсословный заговор, который был кошмаром для россий-

ских властей, начиная со знаменитого процесса издателя Николая Новикова в 1792 году¹.

Липранди с размахом изобретал новые реалии. На неслыханной религиозной основе он объединил миллионы людей в сплоченное политическое сообщество — республику внутри империи, по своей природе враждебную империи. Если нельзя полностью уничтожить это подпольное сообщество, считал Липранди, его можно ослабить. Чиновник с правами следователя, Липранди предлагал создать сеть агентов среди сектантов и вольнодумцев с тем, чтобы, «сделав с ними личные, т.е. частные связи, ловко расположить их ко взаимной злобе». Он считал необходимым «тайное и ловкое наблюдение за раскольниками», поскольку «раскол есть важное государственное зло» (1870b: 131).

Липранди составил это «Обозрение» в то время, когда внедрял своего агента в группу интеллектуалов, глава которой — Михаил Петрашевский — служил переводчиком в Министерстве иностранных дел и был впоследствии, после имитации смертной казни, сослан в Сибирь. К этой группе принадлежал и Достоевский. С помощью своего агента Липранди хотел нащупать связь между петербургскими западниками и раскольниками из народа; как раз эту связь установить не удалось, так что петрашевцы стали побочными жертвами полицейской теологии. Одновременно Липранди пытался начать еще более крупное дело в том же духе — суд над московскими славянофилами, которых называл «раскольниками в гражданском отношении», еще одной особо опасной сектой. Славянофилы действительно связывались с раскольниками; Хомяков, например, участвовал в богословских диспутах с раскольниками в Московском

¹ Липранди опубликовал свой трактат под названием «Краткое обозрение существующих в России расколов, ересей и сект как в религиозном, так и в политическом их значении» в 1870 году с датой «1855». Однако интеллектуальным кругам Петербурга этот текст был известен уже в 1851 году; видимо, тогда он и лег на стол Перовскому (Анненков 1989: 510).

Кремле. Но либо Перовскому, либо самому императору новое дело показалось слишком громким, и его остановили.

Репутацию Липранди подмочили еще и слухи, что он брал взятки от богатых скопцов, и в 1855 году его сменил провинциальный чиновник Павел Мельников (Печерский), позже известный как автор романов о расколе. Следуя за Липранди, но позволяя себе поэтические вольности в официальных бумагах, Мельников говорил о расколе как о болезни на прекрасном теле Российского государства. Подобная сифилису, болезнь станет смертельно опасной, если возглавляемые Мельниковым изыскания не получают новых субсидий: «Русский раскол... превращается в язву государственную, которая для политической жизни России со временем может стать опаснее всевозможных ополчений Запада и союзных им поклонников ислама. России не страшна Европа с Азией — страшней ей она сама, если не уврачуется явившаяся на теле ее язва» (Мельников 1910: 228). Ненадолго оказался в Министерстве внутренних дел и еще один специалист по русской религии, Афанасий Шапов, бывший профессор-историк и будущий сибирский ссыльный. Он тоже верил в могущество раскола, но глубоко ему симпатизировал (см. главу 10). Николай Лесков, молодой тогда журналист, сам занимавшийся тогда расколом по заказу Министерства просвещения, записал яростный спор «слишком нерешительных мельницистов» со «слишком решительными щапистами», который проходил в министерстве. Первые считали, что каждый раскольник — сторонник разврата, а вторые — что он «чуть-чуть не маленький Фурье» (Стебницкий 1863: 39). Конкурирующие нарративы, созданные двумя ведущими специалистами по расколу, консервативным Мельниковым и радикальным Шаповым, соперничали во влиянии на интеллигентную публику. Но в бюрократическом мире Министерства внутренних дел они дополняли друг друга. Идеи о политической природе раскола, которые формулировал Шапов, только оправдывали полицейские меры борьбы с ним.

НОВЫЙ СОЮЗ

В гоголевском «Ревизоре» главный герой претендует на роль, которая на самом деле принадлежала чиновникам Министерства внутренних дел. Они регулярно инспектировали отдаленные губернии, сталкиваясь там с хаосом, невежеством и коррупцией. Любопытно, что среди прочего Хлестаков хвалится дружбой с Пушкиным, приводя этим в трепет городских чиновников и их дочерей. В 1843 году службу в Министерстве внутренних дел начал Иван Тургенев. Под началом Владимира Даля будущий писатель работал над проектом сельскохозяйственных реформ. Одним из первых произведений Тургенева стала записка «Несколько замечаний о русском хозяйстве и о русском крестьянине» (1963: 1/149—175). В 1845 году Тургенев, богатый землевладелец, вышел в отставку, сосредоточившись на своем первом шедевре — «Записках охотника» (они публиковались по частям начиная с 1847 года). «Записки охотника» больше повлияли на внутренние дела России, чем десятки министерских меморандумов. В 1852 году Тургенев был арестован за некролог Гоголю и, проведя месяц под арестом, был выслан в свое родовое имение. Впоследствии почти все его романы из российской жизни были написаны в Западной Европе. Энциклопедия потом утверждала, что «“Запискам охотника” принадлежит такая же роль в истории освобождения крестьян, как “Хижине дяди Тома” Бичер-Стоу в истории освобождения негров — но с той разницей, что книга Тургенева несравненно выше в художественном отношении» (Венгеров 1902: 99).

В 1848 году на службу в министерство определился еще один интеллеktуал, молодой юрист Иван Аксаков. Ему была поручена поездка в Бессарабию с целью изучить жизнь удаленной, но могущественной общины раскольников. Там, в степях, он начал писать поэму «Бродяга», главным героем которой стал странствующий и рассуждающий крестьянин, отдаленный предшественник «Очарованного странника» (см. главу 11). Возвратившись на следующий год в Петербург, Аксаков был арес-

тован в связи с расследованием по делу славянофилов, которое вел его начальник Липранди. По личному распоряжению Николая I следствие в отношении Аксакова было прекращено, а сам он отправлен ревизором в Ярославскую губернию (Сухомлинов 1888). Для недавнего арестанта это было слишком поголовски. Один из центров раскола, Ярославль, поразил Аксакова. Как исследователь и ревизор, он писал отцу: скоро «Россия разделится на две половины»: «берущие взятку будут православные, дающие взятку — раскольники» (1994: 177). В одной из волжских деревень Аксаков с коллегами сделал сенсационное открытие, обнаружив новую общину — бегунов. Они считали грехом ночевать на одном месте две ночи подряд, отрицали деньги, семью и собственность, а также любые контакты с государством, которое считали антихристом. Понятно, что Аксаков забросил поэму «Бродяга», чтобы прозой описать бегунов. Этот отчет стал едва ли не единственным источником информации о секте; почти никто больше не смог их найти, хотя пытались многие (см. главу 10). Между тем Перовский затребовал текст поэмы и, вероятно, удивился параллелям между вольной поэзией о бродягах и бюрократической прозой о бегунах. Министр потребовал от Аксакова выбирать между литературным творчеством и государственной службой. Аксаков вышел в отставку и возвратился в свое поместье. Он стал одним из вождей умеренного русского национализма, успешным издателем и редактором.

Еще один писатель из Рюриковичей, Михаил Салтыков-Щедрин, был в 1848 году сослан за литературные произведения в далекую Вятку на восточной оконечности Европы. Там он служил чиновником при губернской администрации и продолжал писать, пока в 1856 году не получил должность в столичном Министерстве внутренних дел. Разъезжая с ревизиями, он собирал материал для беспрецедентно агрессивной сатиры на многие аспекты чиновничьей жизни. Позднее Салтыков стал вице-губернатором Рязанской губернии и любимым писателем Ленина. Среди этих аристократов, наследников красивых уса-

деб с сотнями крепостных, граница между карьерой и ссылкой была поразительно зыбкой. Столь же удивительным было сродство между русской литературой и бюрократической службой. Одни классики русской литературы сами состояли на службе, за других (как, например, за Гоголя или Достоевского) это делали их герои. Объяснить такое пристрастие к гражданской службе можно тем, что чиновники и их семьи составляли большую часть читательской аудитории. Ища успеха среди читателей и читательниц, писатели отправляли своих героев в гаремы, на поля битвы, в сумасшедшие дома и другие интересные места. Но очень часто таким местом оказывался министерский департамент. Поворачивая в середине XIX века от романтизма к реализму, русская литература разрабатывала нарративные модели и стилистические навыки, нужные для работы в чиновничьих кабинетах. Товарищ министра внутренних дел Алексей Левшин, который до министерства долго работал в губернских правлениях Оренбурга и Одессы, писал, что во время подготовки к освобождению крестьян «литература оказала великую услугу России разносторонними воззрениями и объяснениями предмета, который не далее, чем за год до этой эпохи, составлял полную тайну, совершенную терра инкогнита» (1994: 84). Предметом этим — терра инкогнита — были крестьяне. Освоение неизвестных территорий составляло традиционную задачу имперских литератур; в Российской империи эта задача, как и многие другие, была обращена вовнутрь, к обитателям центральных губерний. Прилагая литературную риторику к административной практике, Министерство внутренних дел проводило свою политику, почти не имея на руках других средств сбора информации, кроме тех, что были доступны писателю. История, филология и тогдашняя царица гуманитарных наук — этнография воспринимались как прикладные науки, незаменимые в скудном арсенале средств управления.

В 1831 году Николай Надеждин, в то время профессор философии в Московском университете, а в дальнейшем — видный чиновник министерства и основатель российской этног-

рафии, говорил о возникновении священного союза между гуманитарной наукой и повседневной жизнью. Этот термин он заимствовал из российского имперского опыта. Священный союз европейских держав, созданный Россией на Венском конгрессе 1815 года, лежал в руинах, и Надеждин мечтал о новом священном союзе, который поведет Европу вперед на основании российских открытий, сделанных силами прикладных наук, изучающих русский народ (2000: 2/736—748). С 1843 года Надеждин служил в Министерстве внутренних дел и принял участие в продуктивных исследованиях, которые частично реализовали его мечту о новом священном союзе. Надеждин, Даль и другие сотрудники министерства создали Русское географическое общество, которое финансировалось из средств министерства (Lincoln 1982; Knight 1998). При поддержке великого князя Константина, морского министра и одного из творцов крестьянской реформы, Русское географическое общество и его передовое этнографическое отделение сосредоточились на исследованиях внутренних земель России. Самая большая коллекция русских сказок, новаторское исследование русских сект, самый известный словарь русского языка, первые исследования нерусских народов империи — все эти проекты были реализованы в кругах Министерства внутренних дел и на его средства. Авторы этих исследований понимали их колониальную природу и знали о ключевой связи между властью и знанием. Как писал в 1842 году Владимир Даль:

Возьмем близкий к делу пример: вам была бы дана задача изложить начала, основания, на коих должна бы основываться обработка языка каких-нибудь островитян Тихого океана; предполагается преобразовать, перевоспитать дикарей, дать им грамоту, понятия образованные и приспособить к этому всему их младенческий лепет... Чем бы вы начали? ...Конечно, следовало бы приступить первоначально к изучению языка, грубого, дикого, бедного, необработанного, каков он ни есть, и... изучив дух, свойства и по-

требности языка, строить на этом основании далее. То же самое предстоит теперь нам (2002а: 424).

Написать словарь

По образованию Владимир Даль был морским офицером и военным врачом; он также стал инженером, этнографом, лингвистом, чиновником и писателем. Сын датчанина-лютеранина и француженки-гугенотки, Даль родился в Луганске (территория современной Украины), в колонии, которую создали в середине XVIII века выходцы с Балкан. Потом инженер-шотландец нашел рядом с этой колонией месторождения угля и руды, и отец Даля, учившийся богословию в Германии, приехал в Луганск работать лекарем на горном заводе. Русскому Владимир научился от матери-француженки, которая родилась в Санкт-Петербурге и говорила на пяти языках. Даль прекрасно писал по-русски, но своим интересом к языку он отчасти был обязан иностранному происхождению. Автор самого знаменитого словаря русского языка, Даль проделал большую часть своей огромной работы над ним вдали от русской глубинки. Информацию он получал от солдат, ремесленников и других простолюдинов, вместе с ним участвовавших в имперских походах. Он опубликовал также многотомное издание русских сказок, которые он, по его словам, услышал от простого народа и записал во время путешествий. Вместе с Пушкиным Даль обследовал оренбургские степи, ища свидетелей Пугачевского восстания. Как друг и врач, он был рядом с Пушкиным в последние часы его жизни.

Даль начал работу над словарем в 1819 году во время флотской службы на Балтийском море: беседуя с матросами, он записывал неизвестные ему слова. Он пополнил свою коллекцию, участвуя в кампаниях в Польше, Турции и Средней Азии как военный врач. Основная часть работы по составлению словаря пришлась на годы гражданской службы в Оренбурге, на под-

вижной границе империи. Как штабной офицер он принял участие в военном походе в Хиву в 1839—1840. Экспедиция была плохо спланирована и обернулась трагическим поражением, но она открыла путь к российской колонизации Средней Азии. Даль завершил Словарь уже в Петербурге, в должности главы Особой канцелярии министра внутренних дел Льва Перовского. В имперской карьере Даля, как и в путях его словаря, творчески сочетались задачи внешней и внутренней колонизации. Его перемещения между географическими точками и бюрократическими офисами повторяли или предсказывали сдвиги между тем, что в этой империи было «внешним» и «внутренним».

Куда бы ни заносил Даля его имперский долг, его беспокойный дух пребывал в глубинах русского языка и фольклора. Прогуливаясь с друзьями перед обедом в их петербургском поместье, Даль встретил человека, который представился соловецким монахом. Распознав поволжский акцент в его речи, Даль смог определить, из какой он губернии и даже из какого уезда. Мгновение спустя монах, оказавшийся беглым крепостным, пал в ноги лингвисту (Мельников-Печерский 1873: 289). «Я думаю по-русски, — писал Даль. — Человеческий разум принадлежит тому народу, чей язык употребляет» (2002b: 258). Тем не менее на протяжении всей карьеры Даля преследовало враждебное отношение к нему неумеренных националистов, которые знали о его происхождении и считали неправильным, что иностранец и иноверец занимается тайнами русского народа. В 1832 году Даль был арестован за собранные им сказки, в которых власти обнаружили недопустимые политические намеки; могущественные друзья-писатели помогли ему выйти на свободу. В 1844 году Лев Перовский поручил Далю написать исследование о скопцах, которые кастрировали себя и своих последователей ради благочестивой жизни. Когда Николай I обнаружил, что автор исследования — лютеранин, он приказал Перовскому найти православного автора для столь щекотливого предмета; статью переработал и подписал Надеждин.

В 1844 году Перовский нашел для Даля новое поручение: исследовать старинный вопрос о том, совершают ли еврейские подданные империи ритуальные убийства. Чиновники дали утвердительный ответ, а исследователи до сих пор спорят, был ли к этому меморандуму причастен Даль. Не совсем понятно, как он мог быть не причастен: он был одним из высших руководителей министерства и курировал там этнографические и сходные с ними работы. Однако этой записке, как и другим экстремистским начинаниям, исходившим из министерских недр, не был дан ход.

В поздний период работы Даля принимают антипросвещенческое направление. Начав с возражений против того, что русский язык портят иностранными словами, он дошел до сомнений в пользу грамоты для простого народа. Историк Александр Пыпин заметил о Дале и его круге: они «догадывались, что между жизнью образованного класса и жизнью народа есть какой-то разлад, и думали, что он может быть покрыт и изглажен культом народности, но они совсем не понимали, как это может сделаться... Этнографы и писатели этой школы, на словах великие любители народа, на деле не раз становились к нему в ненавистное отношение соглядатаев и сыщиков (в делах по расколу)» (1890: 1/418—419). Двоюродный брат Чернышевского, Пыпин относился к министерской этнографии как к культу народности, самооправданию власти, своего рода этномифологии. Словарь Даля, огромный успех его жизни, также стал мишенью для возражений и сомнений. Одни критики обвиняли Даля, что он сам придумывал слова; другие прославляли словарь как памятник богатству русского языка. Спор продолжился и в XX веке: Владимир Набоков восхищался словарем и постоянно пользовался им, а Борис Пастернак высмеивал его искусственный язык. Перед смертью Даль, поклонник Сведенборга и убежденный спирит, организатор опытов с вращающимися столами и вызовом духов, принял православие.

В 1848 году Перовский попросил Даля уничтожить свои записки, так как в это беспокойное время их содержание могло



Илл. 19. Пушкин и Даль в виде святых Косьмы и Дамиана. Икона XIX века

быть небезопасно для чиновника столь высокого ранга. Даль повиновался и сжег сотни страниц ценнейшего материала. Немногие сохранившиеся страницы показывают автора с неожиданно меланхолической стороны. Преследуемый подозрениями и обвинениями, Даль находил утешение только в семейной жизни, поддержке начальства и смирении:

Счастливым семьянином, обеспеченный милостью министра внутренних дел в домашних нуждах моих, я должен с безмолвною покорностью выслушивать оскорбительные для верного гражданина и подданного обвинения, должен молча отдать лучшую часть моего доброго имени, моей чести! Чувства и помышления наши скрыты; человеку не дано средств разоблачать их перед судьями и свидетелями, для убеждения в нравственной чистоте своей и непо-

рочности; но человеку дана покорность в несчастьи, терпение и непоколебимая вера в будущность (2002b: 262).

Эти печальные медитации звучат так, как будто услышаны от матери-гугенотки; их удивительно встретить среди заметок преуспевающего чиновника на службе империи. Если бы Даль под нажимом начальника не уничтожил свои бумаги, у нас было бы больше таких текстов. Исполняя дисциплинарную власть над огромной империей, этот образцовый интеллектуал думал и писал под постоянным давлением внешней подозрений и внутренних сомнений. Изучал ли он русских или изобретал их? Имел ли он право на то и другое? Его власть и его труд — были они или слыли? Восхищаясь языком простого народа и посвятив всю жизнь записи этого языка, он отказывал тому же народу в праве на образование. Воплощая в себе истинно имперские, космополитические таланты и навыки, он использовал их для того, чтобы учить национальной ограниченности и высокомерию.

В России середины XIX века сентиментальность превращалась в гротеск, и эта их близость тоже была частью имперского опыта. Заманчиво представить себе, как гоголевский майор Ковалев приходит в Министерство внутренних дел и просит у Даля вице-губернаторской должности. Даль беседует с Ковалевым, отмечая его провинциальный акцент, и оба они беспокойно следят за своими непослушными частями.

Система нежности

Профессор восточных языков, чиновник Министерства внутренних дел, колониальный администратор киргизской орды и главный цензор империи, Василий Григорьев (1816—1881) применил свои знания в области востоковедения к разным задачам власти. Развивая проекты внешней и внутренней колонизации, он смешивал их так, как казалось нужным ему и его начальни-

кам. Григорьев был типичным востоковедом XIX века: он окончил отделение восточных языков Петербургского университета, ссорился там с Сенковским, говорил на нескольких азиатских языках и писал о многом, от археологии до современной ему литературы. В 1837 году молодой Григорьев представил в Ученый совет Петербургского императорского университета проект нового курса «История Востока»:

Распространение и усиление в России восточных занятий... придало бы нам самостоятельности и, служа противодействием перевесу западных начал, угнетающих наше национальное развитие, содействовало бы его укреплению и быстрейшему ходу... Лучшее средство противодействовать влиянию Запада — это опереться на изучение Востока (Веселовский 1887: 33).

Профессией Григорьева был ориентализм, а основным призванием — национализм. Русским необходимо было изучать Восток, потому что это давало возможность понять себя в противопоставлении Западу. По своим воззрениям Григорьев постоянно оказывался еще большим ястребом, чем его начальники; в тот раз его программа была отвергнута. С 1844 года Григорьев — на службе Министерства внутренних дел. Он помогал Надеждину издавать Журнал министерства и писал статьи на такие разные темы, как положение крестьян в центральных губерниях, книгопечатание в Риге и недавно открытые секты в иудаизме. Хасидов, по Григорьеву, отличают «крайнее невежество и безграмотность»; что касается «секты талмудистов», как он называл ортодоксальных иудеев, они представляют «опасность для России» и являются «несчастьем человечества» (Григорьев 1846). В 1847 году Григорьев вместе со своим другом и коллегой востоковедом Павлом Савельевым купили издававшийся в Петербурге журнал «Финский вестник» и переименовали его в «Северное обозрение». Среди авторов нового журнала был Михаил Петрашевский, которому скоро предсто-

яла сибирская каторга. Случайно или нет, но именно в то время, как Липранди внедрял к петрашевцам своего агента, Григорьев публиковал статьи и переводы участников этой же группы. В «Северном обозрении» он также пропагандировал взгляды Гакстгаузена на Россию (Seddon 1985: 267). В 1848 году Григорьев был отправлен в центральные губернии с поручением выяснить, что дворяне и крестьяне говорили о революциях в Европе. В следующем году он ревизовал рижские книжные магазины, самоотверженно конфисковал 2 тысячи запрещенных книг и заболел, надышавшись книжной пылью.

По приглашению Василия Перовского в 1851 году Григорьев перешел на службу в Оренбург — настоящий Восток, ставший частью России. До 1863 года он служил в губернском правлении и возглавлял пограничную экспедицию на киргизской (казахской) границе; другие его должности там назывались более экзотично, например «главноуправляющий внутренней ордой оренбургских киргизов». Живя бурной жизнью колониального администратора, Григорьев организовывал карательные экспедиции и участвовал в рейдах. Он наносил на карту границы оккупированных территорий, арестовывал бунтовщиков, писал законы, учреждал суды и вел расследования. Все эти многочисленные дела Григорьев исполнял, не имея ни юридического образования, ни военного опыта. Он был ориенталистом, изучал «азиатцев» и любил при случае напомнить, что он профессиональный университетский востоковед. «Как ориенталист я, на беду мою, понимаю Азию и азиатцев, а те, которые руководят моими действиями, не знают аза ни в том, ни в другом», — писал он из Оренбурга в 1858 году. «Степь киргизская — трепещет передо мною: так и сажаю султанов под арест, отставляю от должностей, ловлю разбойников, но, увы, к крайнему моему огорчению, вешать их не имею власти». Оправдывая свои несколько однообразные действия, Григорьев прибегал к научному знанию. Во время волнений среди киргизов он сообщал в личном письме: «Придумал я отличнейшее средство... глубоко макиавеллиевская штука, которою я обязан

тому, что “книжки читал”, а не состарился чиновником с люльки. Да здравствуют “книжки”!» Этой «штукой» была новая серия карательных мер. В возбуждении он помещал самого себя где-то между Чингисханом и Липранди:

Знай, что Чингис-хан теперь мне нипочем. Сам я приобрел великолепную киргизскую шляпу, отпустил усы и нечто вроде бороды, сижу в халате и, в таком великолепии, зрю у ног своих трепещущими потомков сего грозного завоевателя... Теперь в одно время произвожу я следствие по шестнадцати делам! Это *à la* Липранди (Веселовский 1887: 134, 139, 118).

Григорьев верил, что, будучи профессиональным востоковедом, он стоит выше и видит дальше, чем другие чиновники: «Что бы случилось с этими господами, если бы в самом деле затеялось в краю нашем что-нибудь серьезно-опасное?» В ответ его коллеги, большей частью из военных, считали Григорьева экстремистом и ограничивали его действия. Когда в степях началось очередное восстание, Григорьев обвинял свое начальство в мягкости: «Эта система нежности привела управление киргизами к тому же результату, к которому привела и Россию уступчивая политика ее с Европою». Экзотизируя коренное население, Григорьев представлял его столичной публике, играя расистскими стереотипами. Он предлагал послать на коронацию Александра II «несколько благообразных фигур в расширенных золотом высоких шапках и парчевых или бархатных с богатым галуном кафтанах» (Веселовский 1887: 140, 146). Именно академическое образование Григорьева сделало его еще большим ястребом в колониальной политике, чем военное — его коллег-офицеров. В конце концов наш востоковед поссорился с генерал-губернатором Василием Перовским и подал в отставку. Но пока он был в оренбургской степи, он успел принять скандальное участие в столичной литературной полемике. Одна из его статей, длинные и неуважительные воспоминания

о его покойном однокурснике, историке-европеисте Тимофее Грановском, вызвала бурю в научном мире. Отрицая успехи Грановского и говоря о его пьянстве, Григорьев заявил в этой статье, что российским ученым нужно повернуться спиной к западной истории и литературе. Только востоковедение нужно России, и только в этой области российская наука превосходит европейскую. «Грязнейшим из грязных людей» назвал Григорьева ведущий либеральный мыслитель Борис Чичерин (Пирожкова 1997: 146).

Конечно, ориентализм Григорьева был нетрадиционным (Knight 2000; Schimmelpenninck 2010). Используя профессиональные знания, Григорьев трудился во имя имперского доминирования над восточными и западными колониями и над самой имперской нацией. Старший современник Курца из «Сердца тьмы» (см. главу 11), он всем — и жестокостью, и ученостью, и этномифологическими увлечениями — был похож на него, только работал не на Компанию, а на саму Империю, и потому сделал куда большую карьеру. Немедленно после своего скандального возвращения из Оренбурга Григорьев стал профессором восточных языков в Петербургском университете. Он также участвовал в работе нескольких комиссий Министерства внутренних дел: по азиатской торговле, по налогообложению киргизов, по наблюдению за студентами университетов, по каторжным тюрьмам. В 1872 году он вошел и в «еврейскую комиссию», которая рассматривала предложения по отмене черты оседлости. Мнение Григорьева было основано на «научном» знании вопроса: «Все зло заключается в том, что евреи не хотят существовать теми средствами, как остальное народонаселение, не хотят заняться производительным трудом». Разрешить евреям жить вне черты оседлости опасно для всех народов России, писал он в другой антисемитской записке. «Кто раз очутился во власти евреев, того они из рук уже не выпустят» (Веселовский 1887: 251).

В конце 1874 года Григорьев был назначен начальником Главного управления по делам печати, совмещая этот пост вер-

ховного цензора империи с кафедрой истории Востока Петербургского университета. Он контролировал открытие новых периодических изданий и надзирал за уже выходящими, определял процесс прохождения ими цензуры и систему штрафов за нарушения введенных им порядков. Он разрешил Достоевскому публиковать «Дневник писателя» без предварительной цензуры, но больной и опальный Некрасов молил Григорьева о снисхождении. Когда недовольный журналист явился на прием к Григорьеву пожаловаться на закрытие своей газеты, цензор отвечал ему так, что журналист сам себе показался киргизом, которого Григорьев бросил умирать в степи (Градовский 1882: 499). Григорьев вмешивался в государственную политику в отношении украинского языка, который предпочитал называть «малороссийским наречием». В длинной записке он объяснял, что наложил запрет на украиноязычные публикации в ответ на угрозу сепаратизма: «Допустить создание особой простонародной литературы на украинском наречии, значило бы поэтому содействовать отчуждению Украины от остальной России» (Веселовский 1887: 265). Почти в то же самое время, в 1876 году, Григорьев был организатором и председателем Международного съезда востоковедов в Санкт-Петербурге, открыв его речью на французском языке.

Идеи и карьера Григорьева шире, чем ориентализм в понимании Саида. Вероятно, лучшим определением их было бы слово Салтыкова-Щедрина, «ташкентство» (см. главу 1) — российская версия имперского бумеранга, которая переносила ориенталистские методы правления на имперскую нацию. В Санкт-Петербурге и Оренбурге знания и взгляды Григорьева были востребованы властями на самом высоком уровне, потому его карьера и получилась такой успешной. Перейдя из университета на службу в Министерство внутренних дел, оттуда в колониальную администрацию на востоке империи, потом вернувшись к академическому востоковедению и поднявшись до позиции всероссийского цензора, Григорьев сделал успешную карьеру имперского чиновника, чьи разнообразные обя-

занности полностью основывались на ориентализме. Действительно, что для Григорьева не было Востоком? Конечно, киргизы представляли собой Восток и в таком качестве подходили для ориенталистского управления. Но это же касалось украинцев, и евреев, и каторжников по дороге в Сибирь, и столичных студентов, чьи волнения давали повод применить к ним степной опыт Григорьева. Ну и конечно же сюда относились литераторы Петербурга и Киева, выстроившиеся перед ним и дрожавшие то ли от страха, то ли от ярости, как киргизы. У Владимира Даля внутренняя колонизация вела к положительной версии ориентализма — стереотипным суждениям о моральном превосходстве экзотизированных «простых людей», русских и казаков. У Василия Григорьева ориентализм действовал напрямую, дискриминацией и принуждением, но только, «к крайнему огорчению» востоковеда, без права вешать туземцев. Зато он мог казнить книги.

В течение Высокого Имперского периода внутренние дела России были непосредственным образом связаны с литературой. Хлестаков в «Ревизоре» не зря хвастался дружбой с Пушкиным, она открывала ему двери и сердца. Высшие чиновники министерства поддерживали тесные отношения с известными писателями даже после того, как блестящий Лев Перовский, человек, который хотел «не слыть, а быть», покинул свой пост. Как мы помним, министр Перовский был братом писателя Антония Погорельского; его преемник Сергей Ланской был женат на сестре писателя Владимира Одоевского; преемник Ланского — Петр Валуев (сам автор романов) был женат на дочери писателя Петра Вяземского. Известные персонажи произведений Толстого служили в Министерстве внутренних дел: Каренин руководил там орошением полей и переселениями инородцев, Иван Ильич выполнял поручения по делам раскольников. Исполняя служебный долг, интеллектуалы империи отдавали себе отчет в противоречивом характере своего положения; трудясь столоначальниками и ревизорами, они продолжали писать и страдать, как романтические писатели.

Работая по поручению министерства в глуши на границе Ярославской и Костромской губерний, Иван Аксаков писал родным:

Как другой в вине, в пьянстве запоем находит себе утешение, так и я ищу забвения и утешения в служебной работе. Кругом целый ряд вопросов неразрешимых или таких, которых представляющееся уму решение страшно, нежелательно (1994: 175).

Представляя себе по сильно устаревшей традиции, интеллигенцию и бюрократию наподобие двух эндогамных племен, ритуально избегающих друг друга, мы с удивлением обнаруживаем множество пересечений, сношений и перевоплощений. В XIX веке реалистический роман стал ведущим жанром национализма во всем Западном полушарии (Anderson 1991). То же произошло и в России, но, несмотря на националистические мотивы некоторых русских романов, русская литература играла не разделяющую, а объединяющую роль. В большей степени, чем любой другой аспект имперской культуры, литература приняла на себя Бремя бритого человека и достойно несла его. На просторах огромной империи культ Пушкина стал общим вероисповеданием тех, у кого не было ничего общего. В «Идиоте» Достоевского два случайно встретившихся героя, обедневший князь и купец-старовер, перечитывают вместе «всего Пушкина». Российский бунтарь Владимир Ленин изучал Пушкина в гимназии, где русскую словесность преподавал отец его будущего соперника, Александра Керенского. Ленин любил перечитывать Салтыкова-Щедрина и (что более удивительно) Тургенева (Валентинов 1953). Еврейский бунтарь Владимир (Зеев) Жаботинский писал в воспоминаниях, что к 14 годам знал «всего Пушкина» и еще Шекспира в русском переводе. Это не мешало ему отмечать имперские и антисемитские мотивы у Пушкина и других русских классиков (Жаботинский 1989). Польский бунтарь Аполлон Коженевский, отец Джозефа Конрада, написал свою главную пьесу по образ-

цу грибоедовского «Горя от ума». Когда русские народники, еврей-сионисты и мусульманские активисты встречались в царских тюрьмах, они обсуждали творчество великих русских писателей, от Пушкина до Толстого. При взгляде назад русская литература кажется необычайно успешным инструментом культурной гегемонии. С ее классиками, еретиками и критиками, русская литература завоевала больше почитателей среди русских нерусских и врагов России, чем другие имперские предприятия. Стандартизовав язык, создав общий круг значений и этим объединив своих многоязычных читателей, литература оказалась очень ценным достоянием. Цари и цензоры это редко понимали и ценили. Поэтому империя рухнула, но литература пережила ее.

Часть IV

ВРЕМЯ БРИТОГО
ЧЕЛОВЕКА

История приходит к Канту

«Трава необходима скоту, а скот человеку», — писал Кант в «Критике способности суждения». На следующий вопрос ответить было труднее: «Почему же нужно, чтобы люди существовали?» Не дав пока общего ответа, Кант обращал взгляд на север и задавал себе тот же вопрос специально о «гренландце, лапландце, самоеде, якуте и т.д.». В этих частных случаях ответ кенигсбергского философа был отрицательным: «Не ясно, почему люди вообще должны там жить... Лишь величайшая неуживчивость людей привела их к поселению в таких негостеприимных краях» (1994: 5/210—220).

Постколониальный философ Гаятри Чакраворти Спивак показала, что, хотя читатели Канта понимают его философию как относящуюся ко всему человечеству, сам Кант проводил границу между дикарями и разумными людьми и писал свою философию исключительно о последних: «Субъект как таковой у Канта геополитически дифференцирован» (Spivak 1994). Действительно, вопрос «Зачем людям существовать?» отличается от вопроса «Зачем людям жить на Таити или в Сибири?» По логике Канта, живя в Кенигсберге, общаясь и размышляя, люди могут реализовать цель своего существования. Но в таких местах, как Якутск, «неуживчивые» люди не могут понять самих себя, и их жизнь лишена цели. Тем не менее люди всегда ездят в такие места за мехами, нефтью или алмазами. И тут возникает следующий вопрос: кто должен жить в таких негостеприимных, но прибыльных землях — коренное население без смысла существования, или пришлые люди, чья жизнь наделена смыслом, или те и другие, в некоем иерархическом порядке?

Кенигсберг

В этой части света Средние века начались бурно, а кончились тихо. Основанный Тевтонским орденом монахов-крестоносцев, Кенигсберг на века стал предметом раздоров между немцами, славянами и балтийскими народами. Но потом Северный крестовый поход, пушная торговля и, наконец, Ганзейский союз — все закончилось. Несколько северных войн в XVIII веке завершились триумфом России (Frost 2000; Scott 2011). Теснее, чем где бы то ни было, военное покорение этих земель соединилось с поглощением местных элит. Начиная с Петра I Романовы находили себе супруг и наследников на балтийском побережье. В начальный период существования Российской академии наук (открытой в 1725 году) четверо из пяти ее президентов вышли из Кенигсбергского университета (Костяшов, Кретицин 1999).

Во время Семилетней войны (1756—1763) Россия аннексировала Восточную Пруссию. Это случилось после серии панъевропейских переговоров и переделов традиционных союзов, которые историки называли «дипломатической революцией» (Karlan 1968). Прусский король Фридрих заключил союз с Англией, разрушив обычное для европейской геополитики сотрудничество между Англией и Россией. Теперь против Пруссии, субсидируемой Англией, выступал союз Франции, Австрии и России: такая конфигурация не повторится больше ни в одной войне. Уинстон Черчилль назвал Семилетнюю войну самой первой мировой войной. Ее имперский контекст хорошо изучен (Anderson 2000; Schumann, Schweizer 2008). Начавшись с нападения юного Джорджа Вашингтона на форт во Французской Канаде, война перекинулась на Старый Свет. Пока Англия и Франция сражались за заморские колонии, другие державы боролись за колонии в Восточной Европе: Австрия хотела Силезию, Россия — Восточную Пруссию.

В прусском Кенигсберге начало военных действий отметили несколько событий, одно страннее другого. В 1757 году российские войска подошли к стенам города, но отступили без

видимых причин. Настоящей причиной была ставшая государственной тайной болезнь императрицы Елизаветы (Анисимов 1999). Пруссаки праздновали победу, но Елизавета поправилась, арестовала командующего своей армией и вернула войска в Пруссию. Фридрих оборонял свою столицу, Берлин, и когда российская армия вновь появилась у ворот города, Кенигсберг последовал примеру Риги, которая в 1710 году согласилась стать частью Российской империи, чтобы избежать кровопролития. Аннексировав Восточную Пруссию, Россия «навсегда» объявила ее своим владением. 24 января 1758 года городские чиновники присягнули на верность Российской империи. Кенигсберг и близлежащие земли стали колонией Российской империи, и мало кто сомневался, что они навсегда останутся ее частью, а местным жителям, отныне российским подданным, придется приспособливаться к новому порядку.

Российская армия была полиэтничной, как и подобает имперскому институту. Во главе ее стояли балтийские немцы, пехоту составляли в основном русские, а вездесущая легкая кавалерия включала казаков, калмыков и башкир, которыми командовали их соплеменники. Фридрих Великий объяснял атакующую мощь российской армии «многочисленностью татар, казаков и калмыков в их рядах» (Вульф 2003: 261). Позже Кант считал калмыков особой расой, наряду с неграми и американскими индейцами (1994: 2/325—344). Исследователи, кажется, еще не обращали внимания на эту необычную расовую классификацию; она основана на собственных впечатлениях Канта от калмыков, которых он видел в Кенигсберге во стане российских воинов.

Военная революция XVIII века с опозданием пришла в Восточную Европу (Erost 2000), но российская армия использовала новейшие достижения артиллерии, например «секретные гаубицы», только что изобретенные графом Петром Шуваловым. Они имели необычное дуло в форме горизонтального овала и стреляли картечью веером над головами своих солдат. За раскрытие их секрета полагалась смертная казнь, но потом

Фридрих захватил эти гаубицы, не нашел в них ничего ценного и выставил в Берлине на посмешище. Российская армия по-прежнему полагалась на легкую кавалерию и этнические соединения. Самим русским эта восточная конница казалась дикой и страшной. Офицер российской армии Андрей Болотов был поражен, увидев, как эти «странные», «полунагие», привычные «есть падаль лошадиную» воины вырезали население немецких деревень ради славы российской короны (1986: 124). Калмыкам было разрешено грабить старые прусские арсеналы. Вооруженные средневековыми саблями, в доспехах и шлемах, они должны были выглядеть смехотворно; но мало кто смеялся на этой войне. Для калмыков то были последние годы их российской службы: в 1771 году они покинули волжские степи и начали исход в Китай (Khodarkovsky 1992: 182). Несчастливы были и казаки: в 1773 году они начали антиимперское восстание на Урале под предводительством Емельяна Пугачева, который в Семилетнюю войну сражался в казачьих войсках в Восточной Пруссии. Болотов (1986: 125) стал свидетелем того, как пруссаков в гражданской одежде, стрелявших в российских солдат, казнили без суда: двоих российские солдаты публично повесили, одиннадцати диверсантам отрубили пальцы. Ориентализация происходящего, приписывание ответственности за ужасы войны восточным варварам помогали ему сохранять ощущение собственной европейскости.

[Российский] генерал, вошед в Пруссию, крайне удивился, увидев делаемые казаками повсюду разорения, поджоги и грабительства, и с досадою принужден был быть свидетелем всех жестокостей и варварств, оказываемых нашими казаками и калмыками против всех военных правил... Во всех тамошних местах не видно было ничего, кроме огня и дыма; ...над женским полом оказываемы были наивеличайшие своевольства и оскорбления... Таковые поступки наших казаков и калмыков поистине приносили нам мало чести, ибо все европейские народы, услышав о таковых

варварствах, стали и обо всей нашей армии думать, что она таковая же (Болотов 1986: 123).

Российская армия и ее союзники добились быстрых успехов в войне против Фридриха. В 1760 году российские и австрийские войска захватили и разграбили Берлин. Столица пострадала гораздо сильнее, чем Кенигсберг; Фридрих был на грани самоубийства. Болотов (1931: 2/34) слышал, что «берлинских газетиров» решено было «наказать прогнанием сквозь строй за то, что писали они об нас очень дерзко и обидно». Журналисты счастливо избежали шпицрутенов: в последний момент наказание было отменено.

Российская колонизация Кенигсберга, с его тевтонской славой и просвещенным университетом, была кратким, но необычным событием. После смерти Елизаветы в январе 1762 года ее преемник, балтийский немец Петр III, вывел Россию из Семилетней войны и подписал с Фридрихом сепаратный мир. Скорость этих перемен вызывала удивление в самом Санкт-Петербурге. Уже в августе 1762 года Кенигсберг снова стал прусским городом, и Россия готовилась к полному выводу войск из Пруссии. Но тут Петр был свергнут в результате заговора, во главе которого стояла его жена Екатерина, тоже балтийская немка. Российский генерал-губернатор, еще стоявший в Кенигсберге, издал прокламацию о возвращении к власти. Однако Петр был свергнут не для того, чтобы продолжать войну с Фридрихом. Поколебавшись, Екатерина II отказалась от новой войны и вывела войска из Пруссии. Длинная и победоносная война не принесла России никакой пользы. Кровавые события оказались бессмысленными, как на них ни смотри.

Интрига и мелодрама

Столетия спустя Гитлер в окруженном Берлине часто говорил о Фридрихе и надеялся на новое «чудо Бранденбургского

дома» — чудесное спасение от советских войск. Историки и сегодня продолжают обсуждать причины и результаты событий XVIII века, определивших баланс сил в Европе. Кембриджский историк Герберт Баттерфилд назвал эти военные и дипломатические события «интригой и мелодрамой». То было самое насыщенное событиями время за всю историю европейской политики, «за исключением только двух последних десятилетий», писал он в 1955 году. Баттерфилд считал, что европейский заговор против Фридриха с самого начала возглавляла Россия, но король-философ не понял этого, даже когда война закончилась. Не поняли этого и историки: «Внимание историков как будто рассеивается, когда речь заходит о России», — писал автор «Интерпретации истории вигами» (Butterfield 1955: 162, 158). В более поздних трудах немецкого историка и теоретика Райнхарта Козеллека Семилетняя война все еще связана с ощущением шока. Козеллек сравнивает начало войны с германо-советским пактом 1939 года, но в итоге события двухсотлетней давности оказываются «исторически непревзойденными». В 1968 году Козеллек выбрал Семилетнюю войну, чтобы проиллюстрировать на этом примере роль случая в истории (Koselleck 2004: 118, 124). Историки согласны в том, что все стороны конфликта продемонстрировали тогда выдающуюся «готовность к неожиданным решениям» (Schweizer 1989: 179, 217; Palmer 2005: 150). Непредсказуемые факторы — тайная дипломатия, личные симпатии монархов, их клиническое здоровье — сыграли решающую роль в этом противостоянии абсолютистских режимов. Для тех, кто наблюдал за войной из Кенигсберга, она была лишена какого-либо смысла. Если даже современным историкам не хватает метафор, чтобы описать те давние события в Пруссии, что думали о них граждане Кенигсберга, которые не знали о своей войне и малой доли того, что знаем мы сейчас?

Российская оккупация Кенигсберга установила в провинции колониальный режим, который не был уникальным в Европе, но для германских земель был необычен. С 1757 до 1762 года — как

это случилось с Ливонией (с 1710 года) и позже с Восточной Польшей (с 1772 года) — Восточная Пруссия была колонией Российской империи. Никто в Восточной Пруссии не мог знать, что российское господство над Кенигсбергом не продлится и пяти лет, так же как никто не мог знать, что оно возобновится столетия спустя.

Оккупировав Восточную Пруссию, российская администрация столкнулась с типичными для колониального режима культурными и политическими проблемами, и решала их как умела. В городе были размещены войска, администрацию возглавил российский генерал-губернатор, была введена российская валюта. Горожане Кенигсберга стали подданными России, чиновники принесли присягу. Елизавета пообещала уважать их традиционные права, в том числе свободу вероисповедания. Налоги военного времени были снижены, но рекрутский набор, жесткий при Фридрихе, заменили новым налогом. Лишь одну лютеранскую церковь в городе переделали в православную. Особым указом жителей Восточной Пруссии приглашали переселяться в Россию; правда, никаких результатов добиться в то время не удалось (Bartlett 1979: 20; Кретинин 1996). Этот проект переселения побежденных во внутренние земли страны-победителя (а не наоборот) необычен для истории имперских завоеваний. Стремясь стать политическим стратегом на службе российской короны, Дени Дидро пропагандировал массовые переселения, используя Семилетнюю войну как пример:

Русские поступили бы правильно, если бы, покидая Берлин, забрали всю столицу с собой — мужчин, женщин, детей, рабочих, промышленников, мебель — и оставили бы голые стены... Если бы такое переселение предложили организовать мне, я бы позаботился, чтобы оно произошло самым упорядоченным способом (Diderot 1992: 112).

Дидро отправил этот ретроспективный совет Екатерине II, вернувшись из России в 1774 году, когда Семилетняя война уже стала историей, но шла другая война, между империей и колонизованными народами южных степей. Философ воспользовался поводом, чтобы рассказать Екатерине, как поступить с пугачевцами: «Что я сказал о пруссаках, то же относится и к казакам». Что хорошо для внешней колонизации, то хорошо и для внутренней. Они не так уж отличаются друг от друга.

Колонизация Кенигсберга натолкнулась на молчаливое сопротивление его жителей. Убежденные в превосходстве своей культуры, они подчинялись российским оккупантам, но презирали их своим особенным тихим способом. Это еще один пример отрицательной гегемонии (см. главу 6): российская власть над Восточной Пруссией была типично колониальной ситуацией, в которой правители прибегают к принуждению, не сумев убедить коренное население в своем праве на господство или хотя бы в своей способности управлять. Горожане ответили ранним националистическим движением, которое имело огромные последствия для европейской мысли, и после ухода колонизаторов предались беспрецедентным размышлениям о власти, разуме и человечности. Подобный интеллектуальному взрыву, последствия которого отдаются веками спустя, этот короткий эпизод колониальной истории стал точкой входа в глобальную современность. Множество раз повторяясь в разных концах мира, постколониальное состояние почти всегда описывалось со ссылками на тех, кто испытал и понял его в Кенигсберге. Но смысл этих ссылок становится понятен только при лучшем знакомстве с этой местной историей.

Кант

В 1755 году тридцатилетний Иммануил Кант защитил диссертацию и стал лектором Кенигсбергского университета. Его основная работа этого периода, «Всеобщая естественная исто-

рия», открывается посвящением Фридриху II, «могущественнейшему королю и повелителю» от его «нижайшего слуги». В том же стиле Кант обещает служить своему королю «с высочайшим рвением до дня моей смерти». Король-философ, Фридрих был большим покровителем наук и искусств, и ученые не сомневаются, что Кант искренне обещал ему свое рвение: «Давно известно, что Кант полностью поддерживал программу короля» (Zammito, 2002: 58). Но всего лишь два года спустя Канту пришлось присягать смертельному врагу Фридриха, императрице Елизавете. В этот раз Кант обещал, что будет «верным и покорным Всесветлейшей и Великодержавнейшей императрице всех россиян Елизавете Петровне... и Ее Величества высокому престолонаследнику». Больше того, он обещал «поддерживать высокие интересы» российского суверена «с внутренним удовольствием». Далее, если против императрицы или наследника будет что-либо замышляться, он клялся «не только своевременно сообщать обо всем, что направлено против них, но и всеми способами этому препятствовать» (цит. по: Гулыга, 1977; см. также: Gulyga 1987: 31). В 1758 году Кант отправил российской императрице прошение о повышении в должность профессора, подписавшись «Вашего Императорского Величества верно-подданнейший раб». Между этими ритуальными конструкциями, обещавшими вечную службу двум смертельным врагам, всего два-три года. Позже Кант назовет «вертушками» людей, быстро меняющих свои убеждения, и именно на такую нехватку автономии поведет свое великое критическое наступление.

Должность профессора тогда досталась одному из соперников Канта, Даниелю Вейманну. Как считал советский исследователь, причиной неудачи Канта было вмешательство российского офицера Андрея Болотова (Gulyga 1987: 36). Переводчик при российском генерал-губернаторе, Болотов привел в университет небольшую группу русских студентов и сам живо интересовался университетскими делами. Открыв для себя философию среди прочих развлечений кенигсбергской жизни, Болотов предпочитал пиетизм тому, что он считал развращаю-

щим и даже преступным влиянием Просвещения. Месяцами он посещал лекции кантовского соперника, Вейманна. Кроме университетских лекций, он «почти ежедневно» брал у Вейманна частные уроки. Вейманн отказался от платы за них, но перед отъездом из Кенигсберга Болотов оставил своему учителю очень русский подарок — «калмыцкий тулуп» (Болотов 1986: 362).

Нам известно только, что Болотову нравился противник Канта. Нет никаких свидетельств, что Болотов повлиял на выбор кандидата на профессорскую должность, хотя, возможно, он был в состоянии это сделать. Вместе Болотов и Вейманн читали работы философов-теологов, таких как Христиан-Август Крузиус, которого Фридрих II объявил личным врагом и изгнал из прусских университетов (Zammito 2002: 272). При российской оккупации эти правые мыслители снова вошли в моду. Болотов считал, что их моралистическая философия помогала ему дисциплинировать разум, жить нравственной жизнью и отказаться от соблазна светских балов и продажной любви, которые процветали в городе под российской властью (1986: 347). Ясно, что Болотову такие возвышенные теологические наставления были ближе, чем упражнения в естественной истории, которыми в то время занимался Кант. Назвав Вейманна «циклопом» и отказавшись участвовать с ним в публичных дебатах, Кант, наверно, знал о его связях с российской администрацией. Затянувшийся конфликт Канта с Вейманном вспыхнул вновь после их работ об оптимизме; в оккупированном городе этот вопрос был принципиально важным. «Но почему же тебе, предвечному, было угодно, спрашиваю я смиренно, худшее предпочесть лучшему?» — спрашивал Кант в эссе, написанном в 1759 году. Отвечая, он возвращался даже не к Лейбницу, а дальше — к стоикам. Я взываю, писал Кант, ко всякому достойному творению и призываю его воскликнуть: «Слава нам, мы существуем и доставляем радость творцу» (1994: 2/7, 13). Это действительно оптимизм, но источник его не мудрость Бога, а солидарность со всеми живыми существами, даже рабами и животными. Что касается Вейманна, то здесь оптимизм

Канта оправдался, только ждать пришлось долго: обладателя калмыцкого тулупа уволили из университета 15 лет спустя (Kuehn 2001: 215).

У Канта тоже были высокопоставленные друзья среди пророссийской элиты Кенигсберга. В любой биографии философа упоминается графиня фон Кейзерлинг, хорошая знакомая Канта. В течение десятков лет он учил ее детей, приходил к ней на ужины и называл ее своим «идеалом женщины». Тем не менее их мнения о России, а возможно, и о российской оккупации были противоположны. Тридцать лет спустя их общий друг записал застольный разговор у Кейзерлинг, из которого ясно, что Россия не выходила у этих людей из головы:

Разговор зашел о политике, и наши офицеры активно ее обсуждали. Мы с Кантом заявили, что русские — наши главные враги... Графиня же придерживалась другого мнения... «Если бы мой муж был жив, он бы обязательно объяснил королю методом конкретной дедукции, что Россия — наш лучший союзник»... Я до сих пор не могу поверить, что в Восточной Пруссии у них не было никаких интересов... Но графиня не изменила своего мнения (Kuehn 2001: 337—338).

Записки Болотова не оставляют сомнений в том, что в 1759—1760 годах фон Кейзерлинг была любовницей российского генерал-губернатора Пруссии барона Николая фон Корфа и что об этом знал весь город (1986: 289). Балтийский аристократ, фон Корф говорил, но не писал по-русски. Он был приближен к императрице, а в Кенигсберге его власть была такова, что Болотов с усмешкой называл его вице-королем; он знал, что так называли британских наместников Индии. После службы в Кенигсберге Корфа назначили генерал-полицмейстером Санкт-Петербурга, а позже и всей России: опыт внешней колонизации вновь признавался равноценным внутренней полицейской службе. Богатый и взбалмошный холостяк, фон

Корф не пропускал случаев задать бал или устроить маскарад в честь графини фон Кейзерлинг. На эти празднества съезжались знаменитости, в том числе Григорий Орлов, герой русско-прусской войны, который вскоре стал фаворитом Екатерины Великой. Заманчиво представить себе разговор Канта с Орловым, «человеком колоссального роста» но, по словам одного англичанина, «не усовершенствованного чтением» (Вульф 2003: 351). Низкого ростом Канта звали тогда «галантным магистром»; он модно одевался и был популярен если не на балах, то на ужинах. В его работах и лекциях того времени видны признаки разочарования философией и интеллектуальной жизнью, начало «кризиса среднего возраста» (Zammito 2002). Историк Антони Ла Вопа находит «элементы насмешки над собой и даже ненависти к себе» в лекциях Канта этого периода (La Vopa 2005: 17). Не всегда замечая это, исследователи кантовского кризиса говорят о периоде, совпадающем со временем русской оккупации Кенигсберга. К прочим объяснениям этого важного, хотя и временного кризиса нужно добавить и постколониальное. Под властью колониального режима интеллектуалы часто испытывают похожие чувства — раздвоение, сомнения, ненависть к себе, писчий спазм. Из таких ситуаций, в Алжире и по всему миру, вышла значительная часть экзистенциальной мысли XX века. Возвращая Канта в контекст оккупированного Кенигсберга, мы начинаем понимать его связь с этой традицией.

Кроме преподавания в университете, Кант обучал географии, прикладной математике и пиротехнике российских офицеров, говоривших по-немецки, таких как Орлов и Болотов. Очевидно, за это ему платили. После того как российские войска покинули город, Кант продолжал обучать тем же предметам уже немецких офицеров. В эти годы Кант работал над дисциплинами, которые можно было с одинаковым успехом преподавать как пруссакам, так и русским. Во время оккупации он почти ничего не публиковал. За пять лет российского правления увидели свет лишь несколько его эссе на весьма специфиче-

скую тему: о землетрясениях. Географически землетрясения были очень далеки от Кенигсберга, но метафорически эти необъяснимые и бессмысленные катастрофы были близки миру Канта. Вольтер, который провел часть Семилетней войны в Берлине, развивал похожие темы — лиссабонское землетрясение, Семилетняя война, теодицея — в «Кандиде» (1759).

Была ли причиной тому тревога или травма, но российская оккупация для Канта стала периодом творческого кризиса. Сразу после неожиданного окончания оккупации, в 1762—1763 годах, кризис прекратился. «Поразительно, — пишет Джон Заммитто, — что Кант опубликовал столько работ за такое короткое время, учитывая, что за шесть предыдущих лет вышло так мало» (2002: 61). Не менее поразительно, что Заммитто и другие замечательные ученые не видят наиболее очевидной причины этого феномена — российской оккупации и ее окончания. Под властью России Кант был тем самым субалтерном, который не мог говорить. Или, точнее, публично он мог говорить только о землетрясениях.

Болотов

От Исаяи Берлина до Джона Заммитто работы о Канте очень высокого качества. Но ученые не замечали влияние, оказанное на Канта российской оккупацией Кенигсберга, и обходили вниманием важный первичный источник: записки Андрея Болотова. Хотя многие биографы Канта упоминают Болотова, они знают о нем из единственной англоязычной биографии Канта, написанной российским автором (Gulyga 1987). Крупный советский философ, Арсений Гулыга описывал российскую оккупацию легкими штрихами, как безобидное событие с ничтожными результатами. Говоря о Болотове, Гулыга не без гордости выбирал эпизоды, иллюстрирующие его власть над Кантом, и обошел молчанием его мучительные отношения с пруссаками.

Кроме своих необычайно обильных трудов, которые изда ны лишь частично (см.: Newlin 2001: 4), Болотов был типичным



Илл. 20. Автопортрет Андрея Болотова. Текст подписи: «Точное изображение той комнаты и места, где писана сия книга в 1789-м и 1790 годах в Богородицке».

человеком эпохи Просвещения: небогатый офицер, натуралист-дилетант, успешный администратор, который впоследствии управлял тысячами дворцовых крестьян в Подмосковье. Его отец, тоже офицер, командовал элитным полком в оккупированной Прибалтике. Там Болотов так хорошо выучил немецкий, что в Кенигсберге пытался казаться носителем языка. Переводчик, коллекционер, художник-акварелист, Болотов хотел стать настоящим европейцем; редкий русский автор признавался в этом желании с такой искренностью. Получив приказ возвращаться из Кенигсберга в Россию, Болотов был в отчая-

нии. Уйдя в отставку, он применял полученные в Пруссии навыки и идеи на собственных крестьянах; позже он став управляющим огромным, в несколько волостей, собственным имением Екатерины II в Тульской губернии. Тут, в Центральной России, он создал пруды и парки в прусском стиле и был одним из первых, кто начал сажать картофель. Вспоминая о Кенигсберге через десятки лет после возвращения из Пруссии, Болотов считал, что немцы превосходят русских в модах, прическах, кулинарии, школах, книготорговле и многом другом. Как это было свойственно российским колонизаторам, героям отрицательной гегемонии — кавказцам, ташкентцам, сибирякам, — Болотов досконально знал детали туземной жизни и страждал узнать еще больше. Все это не мешало исполнять ему свой офицерский долг за границей и обязанности управляющего дворцовыми крестьянами на родине. Наполняя многие страницы похвалами пруссакам, о русских он писал с аристократическим безразличием, не вдаваясь в детали: «Глупость и крайнее безрассудство нашего подлого народа были нам слишком известны» (1986: 604). В тульских имениях он изучал на местном материале ботанику, экономику и медицину; для этнографии время еще не пришло. Экспериментируя над крестьянами, он подверг полторы тысячи человек лечению электрошоком. Результаты этого его опыта пока остаются неизвестными.

Раскрывая точку зрения колонизирующего государства, записки Болотова отличаются от прусских свидетельств о тех же происшествиях, которые передают скрытые транскрипты колонизованных (я пользуюсь здесь понятиями из: Scott 1990). Интересным событием периода оккупации была пожарная тревога во время службы в Замковой церкви. Она запомнилась тем, что паника в церкви, приведшая к гибели трех человек, оказалась беспочвенной: пожара не было. За несколько месяцев до того профессор богословия Даниель Генрих Арнольдт (1706—1755) прочитал в церкви проповедь, которую русские восприняли как оскорбление императрицы Елизаветы. В проповеди Арнольдт цитировал стих о внутреннем свете из Книги Михея:

«Не радуйся ради меня, неприятельница моя! хотя я упал, но встану; хотя я во мраке, но Господь свет для меня» (Мих. 7: 8). Болотов помнил только, что пастор «заврался» и «проболтал некоторые неприличные слова против нашей императрицы». Арнольдт был арестован и провел шесть месяцев под следствием; в тюрьме пастор, по словам Болотова, «терпел за то превеликое истязание». Чтобы избежать ссылки в Сибирь, Арнольдт пообещал публично отречься от своих слов. Но едва он начал проповедь в Замковой церкви с требуемым отречением, студенты закричали: «Пожар!» Началась паника, и отречение не состоялось. Мы знаем об этом из прусских источников (Kuehn 2001: 113; Kuehn, Klemme, б. г.). О панике в церкви писал и Болотов, но помнил он только ее печальный итог: «множество» горожан были ранены или изуродованы, а одна женщина погибла, выпрыгнув из церковного окна. Описывая оба события друг за другом — арест «любимейшего» пастора за его проповедь и ложную тревогу в церкви, — Болотов не объясняет их связи друг с другом, хотя сама эта смежность говорит о ней. Паника, считает Болотов, произошла из-за угольных «согревательниц», которые «зажиточные жительницы» Кенигсберга приносили с собой в церковь и ставили на пол под юбками. Болотов запомнил еще беспокойство коллег-офицеров за российский пороховой арсенал в подвале Замковой церкви, из-за чего паника перекинулась и на русских (1931: 1/518). На этой службе, наверно, присутствовал и Кант. Он должен был знать Арнольдта, который выпустил свою «Историю Кенигсбергского университета» в 1746 году, когда его оканчивал Кант; позже Арнольдт еще и стал директором пиетистской школы, в которой Кант учился. «Смотреть глазами государства» — значит объективировать событие так, что протекание его описывается правильно, а значение и контекст игнорируются. Напротив, взгляд колонизованного задерживается на смыслах события и намерениях его участников, которые переплетаются в насыщенном, трагичном, срывающемся в панику рассказе.

Несмотря на свое владение немецким, Болотов не разделял чувств и не понимал текстов, которыми туземцы-пруссаки отвечали на российское господство. Ему пришлось признать, что немцы не считают его равным. В канцелярии генерал-губернатора он работал вместе с пруссаками и чувствовал себя чужим:

...о вступлении ж [с прусскими чиновниками] в какие-нибудь разговоры и помыслить было не можно. Сверх того, не только сии господа, но и все лучшие жители города Кенигсберга вообще имели как-то некоторое отвращение от всех нас, русских... Хотя я, оказывая... возможнейшее учтивство, всячески старался с ними сколько-нибудь поближе познакомиться, однако все мои старания были тщетны. Они соответствовали мне таковыми ж только учтивостями, но более сего не мог я ничего от них добиться (1986: 221).

Уязвленный таким отношением, Болотов продолжал размышлять о том, почему они его отвергают. С кантовской четкостью он провел границу между своим стереотипным представлением о немцах и их реакцией на российских оккупантов:

Но после, как узнал короче весь прусский народ и кенигсбергских жителей, то перестал тому удивляться и приписывал уже сие не столько их нелюдимости, сколько общему их нерасположению ко всем россиянам, к которым хотя наружно оказывали они всякое почтение, но внутренне почитали их себе неприятелями (1986: 221).

Каждое воскресенье Болотов проводил в прусских кафе и биргартенах, которые нравились ему за «благочиние, тишину и всякую благопристойность». Застенчивый и настороженный со своими соотечественниками, он никогда не скучал в прусской компании. Все там были «вежливы», «учтивы» и даже «кротки», а именно эти черты характера Болотов демонстрирует читателям

как свои собственные. Он понимал, что кафе и пивные сады, ранее ему неизвестные, были общественными клубами и местами обмена информацией. Некоторые его наблюдения напоминают нам об идее «публичной сферы», которую историки высказали, применительно к тем же кафе, почти двести лет спустя.

Пруссаки были правы, опасаясь Болотова. Он был штабным офицером имперской армии и, пытаясь выдать себя за немца, всегда беспокоился о российских интересах. Он старался, и постепенно его культурные навыки становились лучше. Он был хорошим шпионом.

...сперва все господа пруссаки меня, как российского офицера, дичились и убегали, но как скоро начинал я с ними говорить ласково по-немецки, то они, почитая меня природным немцем, тотчас делались совсем иными и отменно ласковыми. ...И как я охотно давал им волю обманываться и почитать себя немцем, а иногда с умысла подлаживая им в их мнениях, тем еще больше утверждал их в сем заблуждении, то нередко случалось, что я через самое то узнавал от них многое такое, чего бы иначе не можно было узнать и проведать, а особливо из относящихся до тогдашних военных происшествий. О сих были они так сведущи, что я не мог довольно надивиться... Нередко слышал я от них о иных вещах недели за две или за три до того, как писано было в газетах (Болотов 1931: 1/462).

Однажды генерал-губернатор предложил Болотову арестовать прусского аристократа, уличенного собственным слугой в антироссийских настроениях. С помощью отряда казаков Болотов выполнил эту миссию, и графу пришлось отправиться на суд в Петербург вместе со своим обличителем (Болотов 1986: 370). В это же время Болотов часто заходил в один из кенигсбергских книжных магазинов — возможно, тот самый, где чуть позже начал работать Гердер. Болотов любил немецкие книги и считал, что они улучшают его нрав:

[Читая романы], я узнал и получил довольно хорошее понятие о разных нравах и обыкновениях народов и обо всем том, что во всех государствах есть хорошего и худого... Не меньшее же понятие получил я и о роде жизни разного состояния людей, начиная от владык земных, даже до людей самого низкого состояния... Я начинал смотреть на все происшествия в свете не какими иными, а благоднейшими глазами... (1986: 280).

Болотов считал, что агрессивность — недостаток человеческого характера, и ему не нравились ее проявления ни в самом себе, ни в других. Его начальник, генерал-губернатор фон Корф, был особенно вспыльчив, и Болотову были отвратительны проявления его гнева. Чтение романов сделало Болотова более сдержанным. Он чувствовал, что преодолел себя, и теперь мог контролировать свою реакцию даже тогда, когда его обокрал слуга. Болотов с гордостью приписывал этот самоконтроль влиянию немецких романов и философии:

Я пытался соблюдать те самые правила, которые предписывали мои книги, и должен сказать, что мне удалось переменить себя самого за одно лето, так что я перестал быть на себя похожим, и многие этому истинно удивлялись (1986: 304).

Осуществив в себе эту перемену тем далеким прусским летом, Болотов и десятилетия спустя, когда он писал свои записки в тульском поместье, не уставал подчеркивать ее и удивляться ей. Эта переделка себя под влиянием чужой культуры, которую Болотов сам должен был контролировать, до сих пор удивляет. Осуществляя политическую власть над пруссаками, он обнаружил, что глубоко от них зависит. Доминировал он, гегемония принадлежала им. Обе стороны вышли из равновесия.

Камеры и фейерверки

В оккупированной прусской деревне Болотову попался на глаза оптический инструмент — коробка с маленьким отверстием. Свет, попадая на внутреннюю сторону коробки, давал перевернутое изображение. Этот инструмент назывался «прошпективический ящик», или, более поэтично, «камера-обскура». Болотов был очарован:

...виденный... прошпективический ящик так мне понравился, что он у меня с ума не сходил и я неведомо что дал бы, если б мог иметь такой же... Хрустальные призмы и другие оптические инструменты... приводили меня в новые восторги и в удивление; но восхищение, в какое приведен я был камерою-обскурою, не в состоянии я уж никак описать (1986: 208).

Болотов сам сделал переносную камеру-обскуру, чтобы в поездках брать ее с собой. Она позволяла ему «срисовывать натуральные виды» на холст и потом раскрашивать их. С помощью этого прибора Болотов смотрел на Кенигсберг, и с его же помощью он показывал друзьям, российским офицерам, «картинки». Друзья «схаживались толпами» любоваться новым зрелищем: картинки «изображали виды всех лучших мест и улиц в городе Венеции и многих других знатнейших европейских городов» (Болотов 1986: 212). Волшебный фонарь помог Болотову унести Европу обратно в Россию. Много лет спустя, когда он писал свои записки, камера все еще была у него, как «некая памятник тогдашнего времени». Рассказы о том, как он покупал камеру, как делал другую, улучшал обе, демонстрировал их друзьям, составляют счастливейшие страницы воспоминаний Болотова. Ни продвижение по службе, ни женитьба, ни возвращение домой не принесли ему столько радости. Камера, которая показывала Европу вверх ногами, была его просвещением и удовольствием.

Впервые описанная Иоганном Кеплером в начале XVII века, камера-обскура часто упоминалась в трудах мыслителей эпохи Просвещения. Юм сравнивал познание с темной комнатой, в которую врывается луч света и освещает часть ее. Для Локка камера-обскура — лучшая метафора разума (Abrams 1953: 57). Пиетистское представление о внутреннем свете, который без посредников приносит истину душе, соответствовало простому устройству этих камер. С ними Просвещение становилось частным, посильным делом. В то самое время, когда Болотов разбирался в устройстве камеры-обскуры, ему пришлось освоить камералистскую систему управления. Он был назначен переводчиком в Городскую палату (Kammer), ответственную за сбор налогов и пошлин, которую канцелярия генерал-губернатора унаследовала от прусской администрации. Примечательно, что Болотов использует одно и то же иностранное слово, *камера*, или *камора*, для обеих изученных им в Кенигсберге систем: оптического прибора и структуры управления. Хотя он открыто не говорит об аналогиях или различиях между двумя «каморами», такое сходство напрашивается из его описания рабочего пространства в Кенигсберге:

...я принужден был... сидеть один и в сущем уединении, в превеликой, скучной и темной палате, освещаемой только двумя закоптевшими окнами с железными решетками, и притом еще не под окнами, а в удалении от оных, следовательно, сидеть как птичка взаперти, и препровождать наилучшее внешнее время в году не только в непрерывных трудах и работе, но и в прескучном уединении... (1931: 1/370).

Как многие россияне в XVIII веке, Болотов любил фейерверки. В 1759 году генерал-губернатор Кенигсберга и его помощник-итальянец устроили фейерверк на берегу реки Прегель в честь взятия города. Болотов никогда не видел ничего подобного, и пруссаки, по его мнению, тоже: их собралось «бесчис-

ленное множество народа», и все получили «превеликое удовольствие». Даже когда по православному обычаю войска в праздничный день салютовали из пушек, кенигсбергские лютеране-пиетисты тоже смотрели на это «с особливым удовольствием» (Болотов 1931: 5/48). В 1763 году Болотов наблюдал грандиозный фейерверк на Неве, устроенный Петром III в честь примирения с Пруссией. И вновь все берега широкой реки были заполнены народом, и фейерверк был «ослепительный» (1986: 299; 1931: 2/149). Задолго до эпохи телевидения фейерверки были ближайшим аналогом визуальной пропаганды, спонсируемой государством. С камерой-обскурой для частных удовольствий, темной Камерой для государственной службы и фейерверками для массовой коммуникации, Болотов входил в мир современности.

Гердер

Один из первых учеников Канта, Иоганн Готфрид фон Гердер был первым, кто использовал термин «национализм» и исследовал его мирные, гуманистические аспекты (Berlin 1996, 2000). Уроженец прусской деревни, оккупированной российскими войсками, Гердер получил неожиданную помощь от их хирурга, который прооперировал юноше глаз и дал ему денег на обучение в Кенигсберге. Русский врач хотел, чтобы Гердер изучал медицину, но в августе 1762 года, как раз когда было объявлено о выводе российских войск из Кенигсберга, Гердер начал посещать лекции Канта. Одно из первых его поэтических произведений — ода Петру III, который положил конец российской оккупации (Ergang 1966: 60—63). В трактате «Есть ли еще у нас общество и отечество древних?», который Гердер написал в Риге в 1764 году для Екатерины II, он прославлял немецкий дух, но завершал текст одой российской императрице, которая все же была немкой:

Да, отечество, ты, мать, которой мудрецы
принесут в жертву перворожденный плод духа...
Твой это дом в тени Екатерины...
Здесь благословение России, там — объятия солнца
(Herder 1992: 64).

Как показал Исая Берлин, гердеровское понимание национализма «оставалось неизменным» за все время его карьеры, от Семилетней войны до Наполеоновских войн (Berlin 2000: 180). Однако Берлин, глубокий знаток российской мысли, сам родившийся в Риге, не стал подробно останавливаться на жизни Гердера при российской оккупации, которая была важна для его теории национализма. Именно в это время Гердер понял ценность сообщества и его автономию от государства. Философия стала для него жанром публичного дискурса, способом самопознания, как поэзия или политика. Философий столько же, сколько народов. Но когда народы начинают войну или один из них притесняет другой, понимание между ними невозможно.

Дистанцировавшись от Канта, Гердер сохранил общую со своим учителем тему автономии, личного и коллективного самоопределения. Хотя ученые выводят интерес к этой проблеме из общей для Канта и Гердера духовной традиции пиетизма, важным был и их общий опыт российской оккупации. Тем, кто верил в опору на собственные силы и во внутренний свет, трудно было жить при чужой власти. Скрытые транскрипты развивались в оригинальную философию. Основа государства — российского ли, прусского ли — завоевание; все войны по сути — гражданские; государство отнимает у человека самого себя: в этих вдохновенных формулах Гердер высказывал свою концепцию, у которой было великое будущее (Berlin 2000; Swift 2005). Хотя все империи «стоят на глиняных ногах», Гердер восхищался Петром I, «человеком и чудом столетия», и Екатериной II, наконец завершившей войну (Herder 1992: 62). Российская власть в Риге и Кенигсберге не терпела политической оппози-

ции, но великодушно игнорировала культурные различия. Такое отделение политики от культуры — возвышенный вариант непрямого правления — объясняет, почему у Гердера не появилась ненависть к русским. Позднее он писал о прекрасной судьбе, ожидающей славян в будущем, и призывал изучать славянский фольклор — «архив самого народа» (Gesemann 1965)¹. Гердеровский идеал существования — это жизнь в сообществах людей, соединенных общей культурой, которые организуют свою жизнь независимо от государства. Не из наблюдений ли общинного быта славян в Пруссии или Ливонии выросла эта идея? Гердер был популярен среди российских интеллектуалов-романтиков начала XIX века, и некоторые из его поклонников занимали высокие посты в имперской администрации (Майофис 2008). Антропологические идеи Гердера контрастировали с кантовской, более натуралистической и ориенталистской традицией, которую развивали Шлёцер и его коллеги в Геттингене, называя это этнологией. Позднее оба проекта воссоединились в истории одной семьи. Последователь Гердера, Люциан Малиновский, профессор славянских языков и исследователь фольклора Северной Польши, стал отцом Бронислава Малиновского, великого антрополога, который отправился на Тихий океан, вооруженный идеями восточноевропейского романтизма (Gellner 1998: 130).

Постколониальное состояние часто бывало отмечено всплеском интеллектуальной жизни — поэзии, философии, внутренней этнографии. Кружок Канта и Гердера в Кенигсберге раньше других испытал творческую силу этого момента освобождения. Наблюдая за драматическими событиями, вызванными к жизни человеческой волей, но необъяснимыми, как землетрясения, интеллектуалы пришли к новому, революционному пониманию рациональности, автономии и истории. Этот вывод подтверждают судьбы еще двоих людей того же круга, Га-

¹ Советская пропаганда упустила шанс напомнить о Гердере — пророке блестящего будущего для славян, но учебники истории в Украине приводят большие цитаты из его работ (см.: Портнов 2010: 148).

мана и Аббта. Оба они были авторитетны для Гердера в тот период, когда он дистанцировался от Канта (Zammito 2002: 164). Оба приняли серьезное участие в Семилетней войне. Иоганн Георг Гаман, философ из Кенигсберга, жил в Риге, находившейся под властью России, и работал там на крупных торговцев братьев Беренс. Торговцы пенькой и древесиной, братья Беренс имели все причины беспокоиться из-за того, что Россия и Англия — продавец и покупатель их товаров — оказались в состоянии войны. Один из братьев, Рейнгольд Беренс, оставил воспоминания, в которых упоминает, что среди друзей их дома были Гаман и Кант. После окончания Семилетней войны Рейнгольд служил военным доктором в России, участвовал в подавлении Пугачевского восстания и побывал даже в горах Алтая. Беренс настолько обрусел, что в воспоминаниях назвал своего почтенного школьного учителя Нестором (Berens 1812: 10).

В 1756 году братья Беренс послали Гамана в Лондон с миссией «столь же политической, сколь и коммерческой» (Berlin 2000: 262; Betz 2008: 30). Секретная часть этой миссии заключалась в визите Гамана к Александру Голицыну, российскому послу в Лондоне. Гаман передал послу некое предложение от братьев Беренс, которое посол сразу отверг. Вероятно, рассчитывать на его поддержку было неумно: позднее, во время екатерининского переворота, Голицын действовал как «вертушка». Исая Берлин предположил, что братья Беренс замыслили отколоть немецкоязычную Прибалтику от Российской империи. Если так, трудно понять, зачем они посылали своего агента к российскому послу в Лондон. Кажется более вероятным, что они хотели восстановить англо-российский союз, который был выгоден для их торговли. Каким бы ни было предложение Беренсов, Гаман не смог убедить посла, и это изменило его жизнь. Дипломатическая неудача привела его к христианскому пробуждению и дала старт его новой карьере в качестве критика Просвещения. Из Лондона он вернулся в Кенигсберг, где преподавал Гердеру английский язык и соперничал с Кантом за влияние на юные умы.

Историки знают, что именно во время Семилетней войны в Германии складывалась публичная сфера; догадывались об этом и современники. Кроме Гердера, над этим процессом размышлял Томас Аббт в поэме «О смерти за отечество» (1761) (La Vora 1995; Redekop 1997). Призывая немцев героически сопротивляться захватчикам, поэма стала ответом на поражение прусской армии в крупном сражении под Кунерсдорфом, возле Франкфурта-на-Одере. В 1760 году, во время российской оккупации Франкфурта, Аббт стал профессором философии в местном университете; наверно, ему тоже пришлось принять русскую присягу. После окончания войны, в 1765 году, Аббт покинул университет ради придворной должности у графа Вильгельма фон Шаумбург-Липпе, одного из самых успешных прусских полководцев Семилетней войны. В своей поэме Аббт внес свой вклад в споры о теодицее и о природе зла:

Свою мысль о состоянии человечества он выразил в мрачной притче об армии на вражеской территории, которая не представляет, в чем цель войны, так что каждый солдат вынужден заключать свой собственный мир (Zammito 2002: 169).

Найдя эту замечательную историю в старинном тексте, Заммито не обратил внимание на то, что для Аббта, автора «О смерти за отечество», эта неудачливая армия была российской армией в Пруссии, а групповой портрет несчастных солдат, ищущих собственного мира с противником и собой, будто написан с Болотова.

Начало и конец

Полтора века спустя, в августе 1914 года, российские войска снова подошли к Кенигсбергу. «Казачи идут!» — кричали в городе. Окруженная паникующей толпой, маленькая Ханна

Арендт покинула город вместе с матерью. Но в Берлине ее замучила тоска по дому, так что десять недель спустя, после поражения российских войск в битве под Танненбергом, они вернулись в Кенигсберг. У Ханны появилось периодическое недомогание — лихорадка, которая возвращалась каждый раз при отъезде из Кенигсберга (Young-Bruehl 1982: 23). Эта ранняя неустроенность, наверно, повлияла и на ее последующие идеи (Gellner 1987: 76). Кант стремился к всемирному, универсальному знанию, не покидая своего города, но сам этот город переходил от Пруссии к России и обратно. Арендт блуждала по миру, преследуемая отсутствием гражданства, банальностью зла, симметрией Германии и России и памятью о своей девичьей лихорадке. Мы можем только догадываться, какую роль в ее послевоенных переживаниях сыграл тот факт, что хотя страна ее языка и культуры была освобождена от рабства и террора, ее город, к которому она была так болезненно привязана, все еще находился под тоталитарным господством. Мы не знаем, как бы складывалась жизнь этих философов, Канта и Арендт, если бы они росли в других местах: везде свои трудности. Однако мы ясно ощущаем связь их самых глубоких идей с их отношениями с Кенигсбергом. Основанный для колонизации, но сам колонизованный, этот неудавшийся имперский центр оказался плодотворной почвой для критического осмысления современности.

После того как российская армия ушла из Кенигсберга, Кант избавился от своего субалтерного молчания. Наряду со знаменитыми «Критиками» он создал проект вечного мира (1795), утопический проект будущей федерации народов, далеких и близких, основанный на запрете захватывать территории друг друга. Эта прогрессивная идея приобрела популярность в России начала XIX века. В 1813 году Сергей Уваров, будущий министр просвещения, переписал утопию Канта как проект переустройства Европы после Наполеоновских войн, с Россией во главе нового союза империй (Майофис 2008: 74). Несмотря на связи Уварова, его трактат не имел успеха ни при дворе, ни у

союзников. Кант писал, что вечный мир станет возможен, только когда все государства станут республиками; до этого, думали в Петербурге, очень далеко. Мир в Европе был реален, когда основывался не на утопической федерации, а на балансе сил; но этот британский принцип чаще всего не нравился российским правителям.

С приходом современности сила государства стала зависеть не только от его размеров и ресурсов, но от знаний и творчества народа. В 1786 году Кант опубликовал эссе «Предполагаемое начало человеческой истории», в котором под видом комментария на Книгу Бытия скрывались размышления о войне и мире. Ближе к концу эссе Кант отказывается от шифра и признает, что речь идет не только об Адаме и Ное, но и о современных ему событиях:

Опасность войны еще и теперь единственная узда, сдерживающая деспотизм; для того чтобы государство теперь было сильным, требуется богатство, а без свободы не может развиваться деятельность, создающая богатства (1994: 8/84—85).

Власть суверена зависит от военной мощи государства, а та зависит от свободы подданных: без свободы не может развиваться деятельность и промышленность. Деспоты нуждаются в творчестве подданных, создающих «секретные гаубицы» и тому подобные новации, и только поэтому они ограничивают собственный деспотизм. Война и приготовления к войне несут народам величайшие бедствия, писал Кант; «на это тратятся все силы государства, все плоды его культуры». Хуже того, «свободе наносятся... величайшие удары» в силу «материнской заботливости государства», которая оправдывается «интересами внешней безопасности». Однако, спрашивает Кант,

...разве пользовалось бы население той долей свободы, которая, хотя и при весьма ограничительных законах, все-

таки остается, если бы эта вечно угрожающая война не вынуждала верховных правителей государств к уважению человечества? (1994: 8/84—85).

Заботясь о внешней безопасности, деспот ослабляет внутренний контроль и «материнскую заботливость», потому что только так он может получить продуктивную работу от своих подданных. Воюя и готовясь к войне, просвещенный деспот, такой как Фридрих и Екатерина, поддерживал и шпицрутены, и университетские кафедры: он нуждался в обоих, чтобы победить или хотя бы остаться у власти. В те времена, как и в нынешние, затраты на таких людей, как Болотов, — ученых, инженеров, переводчиков — оправдывались более всего их необходимостью для военных усилий. Без свободы нет знания, без знания нет успеха, и потому война оказывается «единственной уздой, сдерживающей деспотизм». В конце концов, однако, деспота ждет возмездие от создателя его лучшего оружия: обладая наибольшей свободой, тот захочет разделить ее с другими. Эта мысль отлично подходит к событиям холодной войны XX века. Арендт страстно защищала советских диссидентов и прожила достаточно долго, чтобы узнать об Андрее Сахарове; согласилась ли бы она с таким прочтением Канта?

«На той ступени культуры, на которой человечество еще стоит [сейчас], война является неизбежным средством, способствующим его прогрессу», — писал кенигсбергский философ, проведший жизнь на острие противостояния между двумя воинственными цивилизациями, германской и российской. Приведя в пример Китай, который «не имел могущественного врага и в котором стерты всякие следы свободы», философ возвращается к священной истории, которую трактует очень вольно. В его пересказе Книга Бытия говорит о том, как пастухи-кочевники, «непримиримые враги всякой земельной собственности», напали на мирных земледельцев и горожан. «Между ними шла непрерывная война, по меньшей мере существовала ее угроза, и народы обоих лагерей могли... наслаждаться»

ся неоценимым благом свободы». Но потом история делает романтический поворот, из притчи о предполагаемом начале превращаясь в притчу о конце: «Со временем все увеличивающаяся роскошь горожан, в особенности их искусство нравиться, благодаря которому городские дамы затмевали чумазных женщин пустыни, должна была стать для кочевников влекущей приманкой». Уступая соблазну горожанок, пастухи завязывают отношения с ними, что приносит конец «всякой опасности войны», а с ней и «всякой свободе». Кант ссылается тут на Моисея (6/2—17): «Сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы», но их смешения кончаются развращением людей, раскаянием Бога и Всемирным потопом. Свобода кончается, когда прекращается война или, что кажется вернее, когда исчезает угроза. И тогда, заключает Кант, наступает «унизительнейшее рабство» и «неисцелимая порча» (1994: 8/84—85).

Думал ли Кант о своем «идеале женщины» — графине фон Кейзерлинг — и бароне фон Корфе, или романтическая история о диком захватчике и городской красавице и правда отвечала тому, как он читал историю Потопа, урок получился поразительно современный. Величайшие беды происходят из-за войн и подготовки к ним. Но если бы не угроза войны, говорит Кант, у людей совсем не осталось бы свободы, потому что эта угроза — единственный фактор, который заставляет правителей уважать человечество и ту способность к творчеству, которую дает одна только свобода. При наличном состоянии культуры, считает Кант, вечный мир недостижим. На этой стадии война, а не мир ускоряет движение человечества. Быку нужна трава, а человеку нужна свобода, и потому война, государство и зло должны существовать.

Глава 10

Секты и революция

16 апреля 1861 года в провинциальной Казани профессор Афанасий Щапов предложил теорию, которая вдохновила несколько поколений российских социалистов. Специалист по истории религии, Щапов выступал на панихиде по крестьянам, расстрелянным властями после того, как те подвергли сомнению условия только что объявленного освобождения. Выступая с амвона, Щапов назвал этих жертв «христами» и описал их появление: «В России за полтора столетия стали являться среди горько страдавших темных масс народных, среди вас, мужиков, свои Христы...» (1923: 409; Field 1976: 98). Щапов закончил речь тем, что погибшие крестьяне отдали жизнь за дело «народосоветия». В своих научных трудах Щапов выдвигал сходные аргументы: во-первых, участники крестьянских бунтов в России обычно не были православными, а во-вторых, члены раскольничьих общин обычно были враждебны империи. Как историк, Щапов знал, что в прошлом некоторые из этих общин называли своих лидеров «христами». Как пророк, он предсказал значение «советов» для далекого еще российского будущего.

Крестьянские христы

Освобождение крепостных было объявлено для грамотных в газетах, для неграмотных в церквях. Одним из ответов стали крестьянские волнения в селе Бездна Казанской губернии. В окружении тысяч крестьян Антон Петров толковал «Положение 19 февраля», как будто оно было Священным Писанием. Петров владел грамотой (по крайней мере, так считали крестьяне) и понимал знак % в тексте «Положения» как Святой



Илл. 21. Афанасий Щапов в 1872 году

Крест, а нули — как символы освобождения без выкупа (Крылов 1892: 616). Речи Петрова так взволновали крестьян, что они отказались расходиться даже под огнем солдат. Несколько сот человек, включая самого Петрова, были убиты или ранены (Field 1976; Freeze 1988).

Историкам известны эти факты, но никто не останавливался на том объяснении событий в Бездне, которое на месте предложил Щапов: Антон Петров и толпа крестьян были сектантами. Говоря о крестьянских «христах», Щапов назвал Петрова лидером секты хлыстов. Они верили во множественные реинкарнации Иисуса Христа и вдобавок в то, что Христос входит в каждого достойного члена общины на пике религиозного экстаза. Самих себя они называли «христы», а недоброжелатели переименовали это самоназвание в «хлысты». С именем, данным их врагами, хлысты и вошли в историю, подобно шейкерам или квакерам. Первым из наблюдателей, кто окружил хлыстов романтическим ореолом, стал знакомый нам Август фон Гакстгаузен. В 1843 году он нашел среди русских сект «прочную и стабильную организацию этих грубых масс... поразительно мощный дух объединения и не имеющие равных общинные институты» (Naxthausen 1856: 1/254). Описав мистические оргии сектантов, самоистязание и — что самое важное — коллективную собственность, Гакстгаузен переходит к кровавым ритуалам хлыстов. В его рассказе поющие, вертящиеся и бичующие себя сектанты отрезают грудь у нагой девственницы. Съев ее грудь, они предаются групповым сношениям. Женщина с одной грудью становится «Богородицей» — лидером общины, а ее духовного партнера называют «Христом». Риторика Гакстгаузена, продукт романтического ориентализма, со-

держала возможность амбивалентного и даже положительно-го прочтения. Съесть женскую грудь — ритуал, безусловно, варварский, и все же он давал женщине возможность возглавить общину. Как писал Гакстгаузен, французские интеллектуалы «поехали в Египет искать там свободную женщину. Если бы они поехали в Россию, они возвратились бы более удовлетворенными» (Naxthausen 1856: 1/44). Скрытая правда русской общины была не только правовой и экономической, но духовной и сексуальной.

Российские писатели, знатоки сект, доверчиво пересказывали историю о съеденной груди (Кельсиев 1867; Мельников-Печерский 1869). Этот ритуал стал сюжетным ходом для многих этномифологических текстов, стремившихся раскрыть тайную жизнь российской провинции. Граф Владимир Соллогуб, светский лев и писатель, служил в Министерстве внутренних дел и ревизовал Тверскую губернию в 1836 году. Одной из задач ревизии было расследование преступлений, которые совершали сектанты. В своих воспоминаниях, написанных много позже, Соллогуб рассказывает о хлыстовском ритуале, который он якобы видел сквозь замочную скважину. Калмык-охранник, которому сектанты отрезали язык, чтоб он не мог раскрыть их секреты, привел Соллогуба к двери подземного святилища. Тот увидел, как в окружении таинственной толпы старейшина ввел в темную комнату шестнадцатилетнюю девушку «красоты поразительной и совершенно голую». После «каббалистических жестов» старейшины присутствующие избивали девушку хлыстом до полусмерти. В этот момент явились жандармы, вызванные ревизором, и арестовали всех хлыстов. Следствие возглавил Соллогуб, у которого не было ни юридического образования, ни полицейского опыта (1998: 133). Вероятнее всего, этот эпизод в его «Воспоминаниях» навеян Гакстгаузенем или кем-то из его российских читателей: светским мужчинам нравилось пересказывать такие истории. Похожие сцены из жизни русских сект можно найти в текстах таких непохожих друг на друга писателей, как Леопольд фон Захер-

Мазох и Максим Горький (Эткинд 1998). Для радикальных читателей Гакстгаузена сектантский ритуал дополнял открытие русской общины впечатляющим образом ее коллективного тела, соединявшегося с Богом в экстатическом союзе.

Каннибализм, бичевание и групповой секс среди хлыстов так никогда и не подтвердились. Эти сектанты практиковали ритуальные кружения, похожие на танцы американских шейкеров, и в экстазе говорили на неведомых языках, пророчествовали и исцеляли больных. Хлысты сейчас почти забыты, но заслуживают места среди других феноменов евразийской религиозной традиции (Синявский 1991; Эткинд 1998; Clay 2001; Zhuk 2004). Политически они придерживались отказа от насилия или просто оставались пассивны. Среди хлыстов и связанных с ними сект зафиксировано только два случая массовых волнений. Первый относится к 1861 году, когда, по словам Щапова, «христы — демократические конспираторы» организовали восстание в Бездне. Второй — к 1901 году, когда в деревне Павловке Харьковской губернии толпа разгромила местную церковь, и некоторые эксперты приписали это хлыстам (Gamfield 1990). Хотя на статистику в данном случае полагаться трудно, к началу XX века общее число хлыстов еще составляло не менее 100 тысяч (Klibanov 1982). От хлыстов отпочковались многие общины, которые были схожи с хлыстами, но часто предпочитали другие — впрочем, тоже довольно странные — названия. Многим из них были свойственны милленаристские представления, роднящие их с сообществами многих колонизованных частей мира (Curtin 2000). Идентифицируя себя с ранними христианами в борьбе против Римской империи, они выражали свое отношение к современным империям. Многие из этих «сектантов», как их официально называли в России, были неграмотными, но среди них встречались и образованные люди, в том числе самоучки. Неверно считать эти религиозные движения российскими «карго-культами», что воспроизводит, на не вполне освоенном языке колониальной антропологии, консервативную этномифологию позапрошлого века. Наоборот, история их в XIX веке показы-

вает примеры постоянного взаимодействия между высокой и низкой культурами. Кульминацией такого взаимодействия стал синтез, достигнутый Львом Толстым и толстовцами. Толстой восхищался сектантскими общинами и некоторым из них писал апостольские послания; толстовцы пытались претендовать на лидерство в мире сект и на его интеграцию.

Автор замечательного исследования российского радикализма, итальянский историк Франко Вентури, утверждал, что активисты, «пошедшие в народ» в 1870-х, руководствовались трудами этнографов (Venturi 1982: 270). Отличный от городского общества и неизвестный ему «народ» (как называли русских крестьян) можно было понять только через призму объективирующей и экзотизирующей науки, которую в данном случае называли этнографией. Сплавляя этномифологию с социальным активизмом, народничество видело в крестьянстве молчащую, загадочную, обездоленную, добродетельную, нерасчлененную массу — людей, во всем отличных от самой народнической интеллигенции. Все, что народ делал или желал, интеллигенция узнавала от писателей, которые сами были частью той же интеллигенции (Frierson 1993; Offord 2010). Колониальное прошлое, утверждала Гаятри Спивак, нельзя передать. Субалтерн не говорит, а если он все же говорит, его речь неаутентична, а язык загрязнен западными значениями. В России субалтерном был народ, а за него говорили все, хором и вразнобой: писатели, ученые, чиновники, священники. Возникавшая российская этнография столкнулась в XIX веке с тем же парадоксом, который историки отметили в Индии XX века (Prakash 1994; Spivak 1994). Доминирующие дискурсы представляли суеверного крестьянина как фигуру за гранью разумного познания, вне категорий рациональности и прогресса. Но те же дискурсы утверждали, что эту субалтерную фигуру можно изучать и исследовать и, более того, что она уже доступна и прозрачна для специальных методов научного знания. Этот парадокс оказался плодотворным для нескольких областей российской гуманитарной науки. Ее всемирно признанные

достижения выросли из изучения народной жизни крестьян и сектантов. Известный пример — структуралистский анализ сказок Владимира Проппа. Менее известно, что теория остранения Виктора Шкловского началась с его анализа хлыстовских песен (Эткинд 1998: 153).

Политизация раскола

Казанская служба была, возможно, первой публичной панихидой по жертвам Российской империи. Церковные власти хотели заключить Щапова в монастырь на покаяние, но Александр II посчитал, что профессор — лицо светское, даже если он занимается историей религии, и приказал Щапова арестовать. В феврале 1862 года, в первую годовщину освобождения крестьян, император помиловал Щапова. Опальный профессор был неожиданно назначен на службу в Министерство внутренних дел. Его новая должность была в Комиссии по делам раскольников, скопцов и других особо опасных сект, отвечавшей за полицейские меры против религиозных диссидентов. На этом посту Щапов продержался несколько месяцев, пока не был столь же неожиданно уволен. Министр просвещения предложил отправить его в Восточную Сибирь в этнографическую экспедицию, но вместо этого царь отправил Щапова туда же в ссылку, под полицейским надзором.

За краткий период государственной службы мысль Щапова радикализовалась. В серии статей, опубликованных в столичных журналах, он пересмотрел историю сектантских движений России, наделив их опыт националистическими и утопическими смыслами. Описав великое множество случаев и ситуаций, Щапов увидел во всех них один общий элемент: антиправительственный протест. Щапов свел на нет традиционное различие между «старообрядцами» и «сектантами», согласно которому первые считались меньшим злом, хотя мало кто мог объяснить, в чем различие между ними. Историк оставил без внимания тех многочисленных раскольников, которых

заботило только спасение души и не беспокоила политика. Среди русских христиан, оставшихся вне государственной церкви, было распространено множество верований и форм поведения¹. И все же, утверждал Щапов, все сектанты и староверы в России прятали социальный протест под маской религиозного инакомыслия, объединяясь в «демократическую партию раскола» (1906: 1/451—505). Щаповская коллекция сект стоит в одном ряду с более известными достижениями русской этнографии, такими как словарь народного языка Даля, исследования крестьянских обрядов и нравов, организованные Николаем Надеждиным, коллекция исторических легенд, собранная Павлом Рыбниковым, и сказок — Александром Афанасьевым. В XIX веке в России и Восточной Европе этнография стала инструментом национального самоформирования в точном соответствии с романтическими надеждами Гердера (Slezkine 1994; Gellner 1998). Ссылаясь на чистые добродетели народа и его мистические практики, этнография демонстрировала его яркое отличие от циничной, коммерческой, западной цивилизации российских городов. Особенностью Щапова, сделавшего его неприемлемым для министерской этномифологии и вместе с тем захватывающе привлекательным для радикальной молодежи, была агрессивная политизация народного опыта в антиимперском ключе.

Открытию русских сект в XIX веке содействовали внешние и внутренние факторы. Секты конструировались как уникально русские, в то время как термины и жанры дискурса о сектах были преимущественно европейскими. Определяющую роль в этом развивавшемся дискурсе сыграли частые диалоги с западными путешественниками, которые искали в России социальные чудеса и восточную экзотику. На протяжении многих

¹ Вслед за Щаповым в XIX веке появилась огромная литература об этих сектах; частичный обзор см.: Эткинд 1998. Из современных трудов стоит отметить: Crummey 1993; Robson 1995; Engelstein 1999; Clay 2001; Paert 2004; Zhuk 2004; Breyfogle 2005; Steinbergand, Coleman 2007; Heretz 2008; Глинчикова 2008.

десятилетий такие авторы, как Август фон Гакстгаузен, Александр Дюма-отец, Уильям Диксон, Леопольд Захер-Мазох и Рене Фюлёп-Миллер, рассказывали европейскому читателю о русских сектах, проецируя на Россию свои излюбленные идеи: экстатическую духовность, свободный эротизм, любовь к страданию и обобществление собственности. Российским интеллектуалам было слишком хорошо известно, что в их кругах таких курьезов не водится. Чтобы дать утвердительный ответ на западные проекции, им приходилось создавать собственные воображаемые конструкции. Сектанты были реальны, но недоступны взгляду профанов, что давало специалистам отличную возможность манипулировать представлениями своих читателей.

В богатой истории российской этнографии сектантских движений можно проследить три этапа, которые Мирослав Грох (Hroch 1985) описал в классическом исследовании восточноевропейских форм национализма. На первом этапе ученые собирают и распространяют информацию о меньшинствах. На втором активисты пытаются получить доступ к этим группам и включить их в проект будущей нации, которая будет радикально отличаться от нынешней. Для третьего этапа характерно формирование массового движения, принимающее совсем не ту форму, о которой мечтали энтузиасты в начале процесса. Ключевым явился второй этап, когда этнографы использовали две стратегии, чтобы радикализовать дискуссии о русских сектах. Во-первых, они преувеличивали странности сектантов, пересказывая обвинения, выдвинутые против них православными миссионерами, но меняя тон этих рассказов на романтический и даже утопический. Составной частью этой модернизации было сравнение русских сект с американскими — шейкерами, мормонами и «библейскими коммунистами» (см. подробнее: Эткин 2001b). Во-вторых, этнографы смешивали разные религиозные группы, что позволяло оценивать общее количество «сектантов и старообрядцев» очень большими числами. В 1861 году в одной из прокламаций количество «сектантов, не признающих царя» было оценено в 9 миллионов

(Шелгунов, Михайлов 1958: 96). В 1867 году политический эмигрант Николай Огарев писал, что «почти половина нашего населения» — раскольники (1952: 773). В 1924 году Владимир Бонч-Бруевич опубликовал в «Правде» статью, где утверждал, что 35 миллионов, то есть «не менее трети населения всей страны принадлежит к этим группам» (сектантству и старообрядчеству). Решающим фактором было сочетание раздутой статистики, которая включала в себя очень разные группы, и красочных описаний самых радикальных сообществ, которые подавались как типические изображения всех этих миллионов сектантов.

Воинствующие паломники

В то самое время, когда Министерство внутренних дел наняло Щапова для решения своих полицейских задач, эмигрант Василий Кельсиев читал того же Щапова, пытаясь начать подрывную работу. По образованию востоковед, по образу жизни эмигрант, по призванию революционер, Кельсиев рассказывал о своем опыте чтения Щапова, смешивая ориенталистские, романтические и сектантские термины:

Я чуть в уме не тронулся. Точно жизнь моя переломилась, точно я другим человеком стал... Мне казалось при чтении их, что я вхожу в неведомый, таинственный мир, в мир сказок Гофмана, Эдгара По или «Тысячи и одной ночи». Скопцы, с их мистическими обрядами... хлысты, с их причудливыми верованиями... интриги старообрядческих вожаков... — все это неожиданно открылось мне в эту ночь; секта сменяла секту, образы неслись передо мною один за другим, точно в волшебном фонаре, я читал, читал, перечитывал, голова кружилась, дух спирался в груди (1941: 285).

Волшебным фонарем назывались первые проекционные аппараты, но Кельсиев, похоже, путал их с лампой Аладдина. В этом

неверном свете Кельсиев пытался перенести свою деятельность из Лондона на сектантские общины в Южной России. С их помощью он надеялся наладить контрабанду оружия через Одессу и распространять нелегальную литературу в Поволжье. В 1862 году Кельсиев въехал в Россию по турецкому паспорту, представляясь исследователем русского раскола. За связь с самозванным этнографом под суд попали тридцать два человека. Вызванный в суд свидетелем, Щапов отрицал, что встречался с Кельсиевым, но переписку между ними суд посчитал доказательством его вины. Щапов был сослан в Сибирь, а Кельсиев перебрался в Константинополь, чтобы наладить контакт с проживавшими там русскими раскольниками-некрасовцами, которые состояли на службе у султана и участвовали в войнах на стороне турок против России. Османское правительство назначило Кельсиева «главой и защитником всех русских перед местными властями», но революционная работа все равно не удалась. Кельсиев снова вернулся в Россию, сдался полиции, в тюрьме написал «Исповедь», которой заработал помилование, и скончался в тихой опале. Поразительная жизнь Кельсиева нашла богатое отражение в литературе тех лет. До возвращения в Россию он послужил прототипом Рахметова в романе Чернышевского «Что делать?», а после возвращения стал прототипом совсем другого героя — Шатова в «Бесах» Достоевского (Эткинд 2001b: 83). В этом романе группа заговорщиков пытается распространить в народе подрывную «легенду получше, чем у скопцов», а неудача этого проекта приводит его участников к убийству и самоубийству.

Что касается Щапова, он так и не вернулся из Сибири; зато там он помог развиваться сибирскому регионализму и, возможно, сепаратизму. Вслед за ним знаменитый анархист Михаил Бакунин заявил в 1862 году, что раскол был политическим протестом против российского правительства, а секты — ресурсом для будущей революции (Драгоманов 1896: 75). Он говорил, что социализм всегда, с древних времен, был образом жизни крестьян, ссылаясь для подтверждения на два этнографических

открытия, земельную общину и раскол, к которым от себя добавил еще воровские шайки. Как и для Щапова, для Бакунина символом революции стали бегуны. Отколовшаяся от хлыстов секта бегунов не признавала не только семью и собственность, но и любую другую форму связи с государством. Они запрещали себе пользоваться деньгами, печатными книгами и данными при рождении именами. В 1849 году секту бегунов открыла на Верхней Волге экспедиция Министерства внутренних дел, экспертом которой был Иван Аксаков (см. главу 8). Опираясь на его статью, Щапов утверждал, что в «столице» бегунов — селе Сопелки — ежегодно собирается «федерация земельных советов», и их «представители» приходят туда пешком со всей России, от Карпат до Сибири. Неутомимые бегуны и их советы, по Щапову, могли разрешить неразрешимую для народничества проблему интеграции местных общин в национальное целое (1906: 1/505—580).

Прочитав Щапова в юности, его лучшие читатели осуществляли его идеи, становясь взрослыми. Летом 1874 года народники двинулись в русские деревни, начав хождение в народ — «самое оригинальное социальное движение в новой истории России» (Billington 1966: 204). В Киеве Иван Фесенко собрал пятнадцать студентов, каждый из которых должен был выбрать себе секту по вкусу и жить среди ее членов. Сектанты будут обращать радикалов в свою веру, а те — пропагандировать сектантов, так что идеи сектантов и народников сближались бы, а число их сторонников росло. Со статьей Щапова в руках самые упрямые пошли на Волгу искать бегунов, но так и не нашли их. Другие отправились к молоканам, некоторые к штундистам (протестантская секта, испытывавшая влияние немецких меннонитов). Сам Фесенко поехал на юг, в общину, напоминавшую своим кружением хлыстов. Участник тех событий позже вспоминал:

Как бывший семинарист... Фесенко сыпал цитатами и свободно толковал тексты... Слушатели были поражены,

как его знаниями и вдохновенностью речи, так и внешностью, вполне напоминавшей пророка. Под конец Фесенко до такой степени экзальтировал этих впечатлительных сектантов, что многие из них прямо пришли в религиозный экстаз. И вот произошло нечто совершенно невероятное... Сектанты, окружив тесным кольцом Фесенко, подхватили его затем на руки и стали вертеться с ним по избе, радостно восклицая: «Он пришел! Он тут! Он с нами!» (Дейч 1923: 220).

Фесенко был готов к новой роли, но полиция не дала ему долго оставаться деревенским Христом. Будущий большевик, Владимир Бонч-Бруевич утверждал, что ему удалось больше. Согласно его рассказу, экстатическая община самих бегунов приняла его за Илью-пророка, и Бонч-Бруевич в своих очках, «как посланник Божий, участвовал в их ритуалах, которые сопровождались песнями, скаканием и почти что оргией» (Иорданская 1994: 208). Дмитрий Рогачев прошел почти все Поволжье, нанявшись бурлаком. Читая псалмы неграмотным сектантам, он вставлял в них пропаганду так, что сектанты не замечали разницы (Итенберг 1960: 48). В 1874 году Катерина Брешко-Брешковская, ставшая в будущем известной как «бабушка русской революции», вела пропаганду среди штундистов. Она жила среди сектантов и много дней изучала Евангелие, готовясь к диспуту. После первой попытки спора глава общины пригрозил ей полицией, и Брешковская бежала (Brechkovskaia 1931: 51). Большого успеха добилась Софья Субботина, которая в 1873 году вернулась из Швейцарии в свое курское поместье, чтобы практиковаться в медицине и политизировать скопцов (Field 1987). Террорист Михаил Фроленко вспоминал, что «в 1875 году, когда мы возились с мирными штундистами, никто еще не помышлял заводить оружие» (1932: 2/94). Однако Фроленко, как и другие лидеры движения, разочаровался в сектантах и в итоге перешел к тактике террора. Иван Ковальский работал в общине сектантов на юге России, но все, что ему удалось, — «убедить ста-

рейшин не падать в экстазе во время моления». И все же он представлял секты единым движением, а себя — их вождем:

Херсонская и Киевская губернии делаются жертвою штундизма, в Полтавской и Екатеринославской губерниях, как грибы, растут шелапуты, а Новороссия... еще раньше сделалась одним из главных пунктов молокан и духоборцев... Николаев, со своими окрестностями, представляет какую-то обширную лабораторию, в которой перерабатываются и совершенствуются разные секты (1878).

В августе 1878 года Ковальский был казнен за вооруженное сопротивление полиции. В 1881 году два студента-радикала отправились в паломничество к сютаевцам, сектантам Тверской губернии. Эта маленькая община была основана в 1874 году Василием Сютаевым, который считал, что собственность — грех; она стала образцом для Толстого и толстовцев. Вдохновленные полевыми исследованиями у сютаевцев, студенты основали «христианское братство» с целью соединить студенческий активизм и сектантство в общем стремлении к социалистическому идеалу. После ареста студенты сообщили полиции, что узнали о коммунистической секте Сютаева из литературного журнала (Волк 1966: 377). Согласно одной из таких вдохновляющих статей, большой хлыстовской общине на юге удалось объединить несколько деревень в иерархическую структуру, подобную государственной. Крестьянским общинам такое не удавалось; авторы предполагали, что именно религиозный энтузиазм сектантов помог им в этом многообещающем деле (Уймович-Пономарев, Пономарев 1886; Саяпин 1915)/

Русский Лютер

Идея интеграции с сектами вошла в первую программу (1876) революционной организации «Земля и воля». Конспиративный документ утверждал, что в России существует масса

«крупных и мелких народных движений, сект религиозно-революционного характера, а подчас и разбойничьих шайк, которые выражают собою активный протест русского народа против существующего порядка». Поэтому программа призывала революционеров «помочь организовать элементы недовольства в народе и слиться с существующими уже народными организациями революционного характера» (Архив 1932: 56—57). Александр Михайлов, самая мощная фигура среди народовольцев, ездил к раскольникам Поволжья — беспоповцам-спасовцам. Позже он вспоминал: «Мне пришлось сделаться буквально старовером... а кто знает староверов, тот понимает, что это значит. Для интеллигентного человека это значит исполнять 10 000 китайских церемоний и исполнять их естественно» (1906: 163—165). Задачей Михайлова во время жизни у мирных спасовцев было найти связь с таинственной сектой бегунов, но и он потерпел поражение. Юный Георгий Плеханов, будущий лидер российского марксизма, сопровождал Михайлова в этой поездке. Плеханов вспоминал (1925), как Михайлов в роли проповедника-раскольника участвовал в публичных прениях в православной церкви с двумя священниками. Михайлов заикался, но спорил убедительно; по крайней мере, так казалось Плеханову. Предметом прений был Апокалипсис, подходящая тема для Михайлова, который скрывал свой революционный проект под маской религиозного энтузиазма, но в этом двойном маскараде находил выход для собственных религиозных исканий. Вернувшись в 1878 году в Петербург и присоединившись к террористам, Михайлов продолжал готовиться, по словам Плеханова, «к своей будущей роли реформатора раскола». На деле Михайлов и его друзья-террористы ходили в публичную библиотеку изучать книги о расколе и в то же время готовили убийство императора. В ноябре 1880 года Михайлов был арестован, а в марте 1881 года его группа убила Александра II.

Переход народничества к терроризму историки-марксисты объясняли классовым разочарованием в крестьянстве, что впоследствии открыло дорогу для воодушевления пролетариа-

том. Но классовый анализ заслоняет более конкретные объяснения того, что произошло с народниками (Hardy 1987)¹. Более точное объяснение этим основополагающим событиям дает разочарование народников в сектантах. После нескольких лет поисков и обольщений они возвращались из деревень в столицы, сменив этнографический туризм на вооруженную партизанскую войну. Взрывы внешней агрессии сопровождались эпидемией самоубийств (Paperno 1997).

Историки не обращали внимания на этот аспект русской революции, но самим участникам событий такое объяснение было хорошо известно. Скрывшись от российской полиции в Англию, Сергей Степняк-Кравчинский объяснял, что хождение в народ было скорее религиозным, чем политическим движением. Он сравнивал народников-пропагандистов с ранними христианами, их коллективное путешествие в глубину России — с Крестовым походом, а попытки поселиться среди крестьян — с основанием «колоний». Когда эта «колонизация» сектантских деревень потерпела неудачу, крестоносцы стали террористами. Два еврея-народника, Осип Аптекман и Лев Дейч, начали политическую карьеру с пропаганды среди молокан (Haberer 1995: 102—105). Аптекман позже вспоминал об интеллектуальных корнях трагедии русского народничества:

Многие сами... бежали без оглядки из деревни: деревня, очевидно, опротивела им хуже самого правительства... С легкой руки Щапова, а потом Кельсиева и других, стало вдруг несомненно известным, что раскол составляет клад для ре-

¹ Показательно, что Самуэль Бэрон (Baron 1953, 1995), американский специалист по Плеханову, упоминает о его работе среди волжских крестьян, но пропускает ее ключевой аспект: Михайлов и Плеханов вели пропаганду не просто среди крестьян, а именно среди спасовцев. Характерным образом анализ Бэрона подчеркивает классовые аспекты этой пропаганды и игнорирует религиозные. В интересной статье (Baron 1995: 188—206) он критически анализирует просоветские и, как он сам говорит, «левацкие» истоки своего длительного увлечения Плехановым.

волюции... Собираются многочисленные сходки молодежи и читаются пространные рефераты о раскольниках... (1924: 434—436).

Увлечение текстами породило пристрастие к сектам, а разочарование в сектах — к насилию. Среди искренних, ищущих народников эти циклы повторялись несколько раз. В 1874 году черниговские крестьяне обратили в хлыстовство Николая Чайковского, лидера одной из самых радикальных групп Петербурга; об этом известно со слов его друзей (Лавров 1974: 1/147). После этого Чайковский стал проповедовать ненасилие и пытался превратить свою группу чайковцев в религиозную общину. Но его товарищи уже занялись террором, и Чайковский уехал в Америку, где жил в общине шейкеров. Спустя несколько лет он вернулся в Европу и продолжил революционную деятельность, а в 1907 году вновь поехал к сектантам Поволжья и был арестован. В 1918 году президент Вильсон обсуждал с Чайковским ход Версальских переговоров, а большевики заочно приговорили его к смертной казни. Как видно из его экстраординарной биографии, Чайковский не делал выбора между революцией и сектантским мистицизмом — он соединил две эти стихии (Necht 1947). Этот путь был необычным, но вряд ли уникальным. Виктор Данилов, дворянин и террорист родом с Украины, бежал из сибирской ссылки в Европу, но нелегально вернулся в Россию, чтобы посетить общины хлыстов, которые он описал в цикле журналистских статей. Потом его вновь сослали, на сей раз в Якутию, где он женился на туземке и теперь стал называть себя этнографом. Вся его длинная политическая жизнь была связана с сектами. Первый раз Данилова арестовали за пропаганду среди духоборов на Кавказе в 1874 году. В 1911 году премьер Петр Столыпин пригласил Данилова, чтобы консультироваться с ним по поводу хлыстов (Эткинд 1998: 641).

В 1898 году в тамбовской библиотеке Виктор Чернов прочитал давний и довольно критический отклик на труды Щапова (это была статья Субботина, 1867). Статья настолько вдохно-

вила Чернова, что он сразу увидел в местной общине молокан тайную организацию с программой подрывных действий (1922: 1/302). Присоединившись к молоканам, Чернов создал для них библиотеку; на ее полках труды Щапова стояли рядом с книгами западных утопистов, например Шарля Фурье или Эдварда Беллами. Работая среди молокан, Чернов обнаружил, что они ждут «русского Лютера», и надеялся сам исполнить эту роль. Тогда Чернов считал, что русский путь в политике состоит в том, чтобы соединить революцию с «нашей отечественной реформацией, опоздавшей родиться» (1922: 1/275). Прославиться ему предстояло иначе: Чернов был одним из основателей партии социалистов-революционеров и вождем Февральской революции 1917 года. Его жизнь трагична: годами он руководил террористической деятельностью эсеров и вел их от победы к победе, пока их не переиграли еще более решительные деятели, социал-демократы. Но и они иногда начинали свои карьеры с работы среди сектантов. «Место революционных организаций занимало до некоторой степени сектантство, успешно ведущее борьбу с казенным православием», — вспоминал свои первые политические шаги будущий соперник Чернова, лидер социал-демократов Лев Троцкий. Он прошел свою инициацию в деле революции, пропагандируя среди штундистов в Николаеве в 1897 году; среди них он познакомился и со своей первой женой (Троцкий 1990: 1/130).

Основанное Георгием Плехановым после его разочарования в поволжских спасовцах социал-демократическое движение изменило перспективу революционного движения в России. Теперь оплотом революции стали агностики-пролетарии, а не верующие крестьяне. На кону стояли две большие проблемы внутренней колонизации: народ и государство. Народники и анархисты Щапов, Бакунин, Михайлов верили в тайную мудрость простого народа, которая непременно проявится, если революцией или царубийством освободить народ от государственного вмешательства. Профессиональные революционеры Плеханов, Ленин, Троцкий считали это невозможным и ненуж-

ным: государство, аппарат насилия, должно стать орудием восставшего народа. Идеологи-ориенталисты, все время возвращавшиеся к образам ужасавшего их Востока, они видели в крестьянской общине — надежде и уповании русских социалистов — наследие «азиатчины», устаревший институт, который надо преодолеть (Baron 1958).

Хождение в народ было демократическим движением, важным для России аналогом аболиционизма и позднейшего движения за гражданские права, изменивших жизнь американского Юга. С приближением XX века народничество стало чувствительным к влиянию декадентских «путешествий в страну Востока» и мистических увлечений символизма, не теряя при этом своих эгалитарных и националистических импульсов. Соединить все это с терроризмом было сложно; пути этнографов-теоретиков, поэтов-мистиков и практиков-террористов расходились все дальше. Выбор народных сект в качестве союзника и объекта пропаганды был закономерен, но контакту с ними мешала навязчивая ориентализация русского крестьянства. Народники преувеличивали культурную дистанцию между собой и крестьянами именно в тех случаях, когда хотели эту дистанцию преодолеть. Пытаясь участвовать в религиозных движениях русского народа, они воображали гаремы и каннибалов, сравнивали народную жизнь с арабскими сказками и говорили о «китайских церемониях» среди крестьян. Хотя городские интеллигенты сходились с сектантскими общинниками в их недовольстве имперской властью, пацифизм многих сект и согласий препятствовал практическим действиям. Были ли тому причиной «народный стоицизм» или «восточная инерция», но радикальные активисты не находили себе места именно в тех общинах, в которые так стремились быть принятыми. Парадоксально, приобретенный опыт контактов с мирными сектантами радикализовал народническое движение. Разочаровавшись в народных сектах или в своем взгляде на эти секты, народники повернули к терроризму. Это стало первым шагом в порочном круге насилия, который завершился революцией.

Достигнув победы и поклоняясь героическому прошлому революционного движения, они подавили память о родовой травме, какой оказалось для этого движения увлечение русскими сектами. И все же наше понимание русской революции меняет признание того факта, что многие ее деятели, включая некоторых лидеров, начинали свои карьеры среди мирных, бескорыстных, гонимых и ищущих сектантов.

Образцовый совхоз

В недавних работах стало популярным подчеркивать религиозные подтексты российской революции¹. Действительно, в умах двух предреволюционных поколений религия и революция были союзниками, но механизмы их взаимодействия оставались сложными и иногда обманчивыми. Лидеры революции заявляли о своем атеизме, и нет причин им не доверять; многие из них на самом деле были светскими интеллектуалами. Но революция, которую они совершили или планировали совершить, не обязательно была светской. Захватить лидерство в нескольких группах инакомыслящих крестьян и использовать их для политических целей значило бы получить шанс для революции в России. Православное духовенство оставалось верным империи, но религиозность крестьян была иной, и радикалы преувеличивали эти различия. Сознвая, какой культурный разрыв отделяет их от крестьянства, радикалы надеялись, что религиозные символы помогут им передать политический смысл своих не очень ясных проектов. Многие народники родились в семьях священников, и часть их окончили духовные семинарии и академии. Они хорошо знали православную риторику, но не были согласны с церковной практикой. Другие были дворянами с университетским образованием, но выработали собственные версии религиозно-политического синтеза.

¹ См.: Эткинд 1998, Etkind 2003; Manchester 1998, 2008; Rowley 1999; Halfin 2000; Malia 2006, а также в беллетристике: Шаров 2003, Meek 2005.

Народников притягивала социальная структура сект, которую они считали наследием первобытного социализма. Апокалиптические пророчества сектантов народники интерпретировали как ожидание наступающей революции. Будущие революционеры в одинаковой степени восхищались нестяжательским характером сектантских общин и презирали ненасилие, которое те проповедовали и практиковали. Хотя молодые социалисты стремились захватить лидерство в мистических сообществах и повести их к целям, изначально чуждым этим сообществам, не все пропагандисты были циничными манипуляторами, как Курц из «Сердца тьмы». Они опробовали весь спектр подходов, от прагматичного цинизма до наивнейшего энтузиазма. В этой духовной области энтузиасты часто оказывались успешнее манипуляторов.

Глубокая гибридизация религии и политики дала разнообразные, но равно нестабильные результаты. Наследник народнической традиции и ее ревизионист, Ленин предложил объединить «прогрессивный авангард» и «отсталое крестьянство» на пути к российской революции. Вести крестьянство в цивилизацию будущего — такова была радикально новая версия внутренней колонизации, которую Ленин увидел в российской провинции (см. главу 2). Его проект «революционного авангарда» зависел от восприятия крестьянства как заблудшего, не сознающего себя мира религиозных предрассудков и темного недовольства. С точки зрения Ленина, знание о крестьянстве, его интересах, сектах и заблуждениях должно было помочь революционному авангарду.

Для поздних интеллектуалов империи академическая наука, политическая деятельность и религиозное рвение часто были нераздельны. Академические успехи были у всех на виду, но за ними часто скрывалась вера, о которой мы узнаем только из личных дневников или воспоминаний. В партии социалистов-революционеров под руководством Чернова главным экспертом по расколу был Александр Пругавин — этнограф, который,

как и многие его коллеги, приобрел эту профессию в политической ссылке. Пругавин верил в грядущий союз между социализмом и сектантством до самой смерти в большевистской тюрьме (1881, 1904, 1917). В той ветви социал-демократической партии, которую возглавил Ленин, самым известным этнографом был Владимир Бонч-Бруевич (Эткинд 1996, 1998; Engelstein 1999). Ведя двойную жизнь подпольщика-террориста и знатока сект, он посетил много сектантских общин, но нашел свой идеал у эмигрантов-духоборов, которым сам помогал уехать за океан. Книга, которую написал о них Бонч-Бруевич, — настоящая ода мистическому социализму, возможно, самый пленительный портрет «народа» на русском языке. Печально, что ее удалось издать, когда автор оказался в Кремле, а духоборы в Канаде (Бонч-Бруевич 1918).

Комендант Смольного — штаба большевиков в 1917 году и управляющий делами первого ленинского правительства, в 1921-м Бонч-Бруевич организовал образцовый совхоз под Москвой, «Лесные поляны». Он переселил туда общину хлыстов из Санкт-Петербурга, которые называли себя «чемреки»; главой их был Павел Легкобытов. Зная их успехи в молочном животноводстве и доверяя честности в бухгалтерском учете, Бонч-Бруевич надеялся, что совхоз покажет пример коммунистического хозяйства, за которым последуют другие российские коммуны и общины. В 1922 году вместе с работниками Наркомата сельского хозяйства Бонч-Бруевич подписал воззвание «К сектантам и старообрядцам, живущим в России и за границей», в котором восхвалял «тысячелетний опыт» сектантов в коллективном земледелии и приглашал их выйти из своего подполья в России и вернуться из эмиграции. По аналогии с екатерининским Манифестом 1763 года, призывавшим иностранных колонистов, многие из которых оказались сектантами (см. главу 7), воззвание обещало им пустующие земли, отобранные у помещиков. Таким образом, сектанты делались прямыми бенефициариями революции. Как в екатерининские времена, Наркомат сельского хозяйства учредил правительственную структуру для того, чтобы кон-



Илл. 22. Ленин и Бонч-Бруевич. 16 октября 1918 года. Москва, Кремль.

тролировать ожидаемое переселение, — Комиссию по заселению Совхозов, свободных земель и бывших имений сектантами и старообрядцами. В 1919 году правительство Ленина освободило сектантов от воинской службы — знак их привилегированного, хотя и пассивного положения во время Гражданской войны. Все равно воззвание Бонч-Бруевича имело куда меньший успех, чем Манифест Екатерины. Хотя некоторые эмигрировавшие общины послали в большевистскую Россию своих представителей, организованные общины сектантов так и не явились ни из подполья, ни из заграницы.

Хоть обещания народной поддержки и остались нереализованными, они привели Бонч-Бруевича на вершину реальной власти. С 1917 по 1920 год сотни правительственных указов были подписаны двумя фамилиями — Ленин и Бонч-Бруевич.

Долгая и неомраченная дружба между ними указывает на то, что пристрастие к сектантам оставалось уважаемым занятием и для деятеля победившей революции. После смерти Ленина Бонч-Бруевич сосредоточился на создании его культа. Пользуясь аргументами о нужде народа в особых местах памяти о своем вожде — аргументами, которые пересказывали скорее Дюркгейма, нежели Маркса, — он сыграл решающую роль в мумификации Ленина и сакрализации Мавзолея. В этом контексте Бонч-Бруевич вернулся к дискуссии о союзе сектантов и большевиков на XIII съезде партии в 1924 году, где с ним яростно спорили большевики левого крыла, еще поддерживавшие Троцкого. Пережив и своих политических оппонентов, и самый предмет изучения, Бонч-Бруевич умер в 1955 году в должности директора Музея истории религии и атеизма АН СССР, который располагался в здании православного собора. В этом музее самым необычным экспонатом был его директор.

Среди большевистского руководства были выходцы из старообрядцев, например Александр Шляпников; но их там вряд ли было больше, чем была их доля в населении страны, и их не рекрутировали по конфессиональному признаку. Однако как раз в то время, как российские революционеры отказывались от веры в политический потенциал сект, интерес к ним развивался у литераторов. Крупнейшие писатели начала XX века, Лев Толстой и Андрей Белый, описывали жизнь сектантов. Толстой отдавал предпочтение духоборам, но интересовался хлыстами и переписывался со скопцами (Толстой 1908; Heier 1970; Fodor 1989). Секты и революция были одной из основных тем в «Серебряном голубе» Андрея Белого, «Чевенгуре» Андрея Платонова, «Голом годе» Бориса Пильняка, «Жизни Климса Самгина» Максима Горького, в недооцененном «Кремле» Всеволода Иванова. Лев Троцкий говорил, что писатели-попугачики усвоили себе «полухлыстовскую перспективу на события»; они не понимают, что настоящие большевики бреются, добавлял Троцкий (1991: 68). До и после революции мистическое народничество составляло важную часть правящей идеологии, а вокруг сектантства велась

напряженная общественная дискуссия (Эткинд 1998). Но в реальной политике революционной России не было ничего подобного той сектантской мобилизации, которую мы видим в английской революции XVII века, в Америке перед Гражданской войной и в Англии XIX века (Nordhoff 1875; Hobsbawm 1959; Walzer 1965; Taves 1999).

Самым важным примером участия религиозных диссидентов в российской политике начала XX века было финансирование радикальных партий, включая большевиков, московскими купцами-старообрядцами. Крупнейший из этих спонсоров, Савва Морозов (1862—1905), был выходцем из Рогожской старообрядческой общины, ожидавшей скорое пришествие Антихриста, а возможно, и верившей в то, что он уже царит в образах российских самодержцев. Морозов изучал химию в Кембридже — как говорили, из-за юношеского увлечения фейерверками. Впоследствии он стал владельцем многих текстильных мануфактур и пивоварен под Москвой и на Урале. Будучи крупным филантропом, он оказывал помощь МХАТу и сблизился с одной из его актрис, женой Максима Горького. Самому Горькому он рассказывал о кембриджских экспериментах Резерфорда; они со знанием дела обсуждали Ницше, чью философию Морозов сравнивал с пиротехникой. Через посредство Горького он финансировал подпольную большевистскую газету и некоторые теракты. После самоубийства Морозова жена Горького получила большую сумму и передала ее социал-демократическому подполью. При этом Морозов был похоронен на старообрядческом кладбище, что не положено самоубийцам; многие считали, что его убили большевики (Фельштинский 2009). Однако Морозовы были настолько светскими людьми, что его вдова вышла замуж за градоначальника Москвы. Другие купцы-старообрядцы жертвовали деньги умеренным и либеральным партиям, а также литературным начинаниям и художественным журналам (Williams 1986; West 1991). Великолепный мир русского модернистского искусства был в значительной степени создан на старообрядческие деньги, но

в этом трудно найти политические мотивы. К тому же многие старообрядцы этого поколения, как и Морозов, вполне секуляризовались, хоть и не утратили религиозной идентичности; но было бы упрощением видеть в их активной и разнонаправленной политике одни религиозные мотивы.

Единственная фигура национального масштаба, которую можно считать сектантом, — Григорий Распутин, своего рода радикал, но совсем не революционер. Скандальные свидетельства о его принадлежности к сектантам не помешали его успеху при дворе Николая II. Напротив, именно его преувеличенная народность определила его успех при дворе и в Синоде. Уже полстолетия секты были предметом восторженного интереса левых интеллектуалов; теперь и правый режим Николая II мог похвастаться домашним сектантом, олицетворявшим народную поддержку монархии (Jonge 1982; Эткинд 1998). Противники Распутина яростно протестовали против его вознесения до уровня культурной власти в стране. С этим мудрым человеком из народа отрицательная гегемония дошла до самого верха, и теперь уже придворные, епископы и царевны обсуждали различительные признаки русских сект с теми же сентиментальным чувством и иллюзорным знанием, с какими лермонтовские «кавказцы» обсуждали особенности местных народов. Когда сама правящая династия пошла в народ, это значило конец империи.

Народничество было ведущей идеологией эпохи; оно объединяло разные политические взгляды и культурные стили. Лев Толстой говорил своему британскому гостю, что его «духовным отцом» был крестьянин-сектант, а он сам, граф Толстой, «просто переводит большому миру все то, что давно известно русскому крестьянину» (Stead 1888: 440). Такой способ самопредставления не мешал популярности Толстого, а вознес ее на новые вершины. После революции 1905 года знаменитый сборник «Вехи» предупреждал интеллигенцию о том, что, поддавшись народническому соблазну, она будет уничтожена народом. Но ведущие авторы «Вех», как Николай Бердяев, были

по-прежнему очарованы хлыстами и другими сектами (Бердяев 1916, 1989; Эткин 1998). Как это происходило и в Европе, русские интеллектуалы остро ощущали духовное опустошение, приходящее с современностью, и компенсировали его религиозным энтузиазмом (Klein, La Vora 1998: 3). Макс Вебер испытывал живой интерес к русским сектам и учил русский язык, чтобы проверить свои идеи протестантской этики на русском расколе и грядущей революции (Weber 1995: 64, 161; Radkau 2009: 246; ср.: Gerschenkron 1970). Следуя за Вебером, некоторые социологи предполагали, что успех религиозной реформации, если бы ему суждено было произойти, облегчил бы капиталистическое развитие России. Однако те народники и социалисты, которые говорили о «русском Лютере», стремились скорее к обратному: они надеялись этим предотвратить развитие капитализма. Реформация в России потерпела неудачу, и эта неудача внесла свой вклад в успех антикапиталистической революции. Возможно, в этой ситуации тезис Вебера был доказан от противного. Однако разнородность сектантских общин в России, политические цели хождения интеллектуалов к сектантам и их разочарование — все это очень далеко от мира «Протестантской этики» Вебера. Тут нужна иная социология, и я считаю, что это социология Эмиля Дюркгейма. С ее помощью можно понять глубокое родство между ритуалами русских сект, например хлыстов, и теориями социалистов на рубеже XX века.

Вертясь в групповых экстазах и призывая Бога войти в их коллективное тело, хлысты поклонялись дюркгеймовскому «большому обществу» — органической, сплоченной общине, которая выше, сильнее и реальнее составляющих ее индивидуумов. Этот образ соотносился с обществом будущего, как его представляли себе многие российские социалисты. Предполагаемое безразличие хлыстов к собственности, их воздержание от брачного секса и слухи о ритуальных оргиях в хлыстовских общинах — все это добавляло им привлекательности, позволяя рассуждать об аналогиях между сектантской жизнью и «перво-

бытным коммунизмом» по Энгельсу. В своем воображении социалисты собирались возглавить «экстатические» массы русских сектантов, колонизовать их изнутри, присоединить к «передовым» группам и вместе направиться к «научным» целям, которые были не так уж далеки от идеалов самих сектантов. Религиозная природа сектантства отличалась от технократического воображения марксистов, но они пересекались в коммунитарных идеалах, которые социалисты надеялись расширить и использовать. И наконец, идея исторического родства русской традиции и коммунизма отвечала националистическим чувствам, которые так и не смогло подавить космополитическое воображение мировой революции.

После коллективизации 1928 года сектантские проекты русского социализма были забыты в России и на Западе. Критики, однако, продолжали их использовать, чтобы понять природу нового большевистского общества. Посетивший Москву в середине 1920х годов австрийский писатель Рене Фюлёп-Миллер предположил, что большевики позаимствовали некоторые идеи и ритуалы у хлыстов (Fülöp-Miller 1927: 71). Пуританин по отцу и православный по матери, этот славист с психоаналитическими интересами написал книги о Достоевском и Распутине, дружил с Фрейдом и редактировал его труды, и устроил в Вене большую выставку экзотических фотографий из советской России. В своей книге «Дух и лицо большевизма» Фюлёп-Миллер рассказывал читателю о групповом сексе среди русских сектантов — «диких и разнузданных оргиях, в которых полная неразборчивость — единственное правило» (1927: 82). Этой воображаемой традицией он объяснял тот краткий период либерализации сексуальности, который с удивлением наблюдал в большевистской Москве. Эти рассуждения Фюлёп-Миллера имели мало общего с реальностью, но отвечали потребностям антиутопии — жанра, который активизировался с победой большевизма. Когда Олдос Хаксли писал «О дивный новый мир» (1932) с его запоминающейся сценой группового секса («Служба солидарности»), он черпал вдохновение в

ЧАСТЬ IV. БРЕМЯ БРИТОГО ЧЕЛОВЕКА

книге Фюлѐп-Миллера о большевизме, на которую написал рецензию во время работы над романом (Huxley 1958: 191; Etkind 2004). Пугающая сцена принудительного секса в бравом мире будущего была основана на международных фантазиях об оргиях русских хлыстов.

ВНОВЬ ОКОЛДОВАТЬ ТЬМУ

В конце XIX века два писателя создали повести, действие которых разворачивается в странно похожих условиях. Пассажиры собрались на палубе речного судна, и один из них развлекает других рассказами о своих приключениях в очень дальних краях. В повести Джозефа Конрада яхта бросает якорь на Темзе, в повести Николая Лескова пароход идет по Ладожскому озеру. Хотя пассажиры на обоих судах одинаково слушают, задают вопросы и дивятся услышанному, рассказчики двух историй очень разные. Марлоу — капитан торгового флота, прошедший жизнь в южных морях, — вспоминает о плавании вверх по реке к сердцу Африки. Флягин — знаток лошадей, монах непонятного статуса — рассказывает о пеших и конных путешествиях по Евразии. Для русской литературы сухопутные странствия так же важны, как морские путешествия для английской. Но повествования в обоих знаменитых текстах, «Очарованный странник» Лескова (1873) и «Сердце тьмы» Конрада (1899), происходят на пресной воде, и оба все время упоминают великие реки. Две эти повести были и остаются популярными в своих традициях — национальных, имперских и постколониальных. Читая их одновременно, видишь глубокие их особенности, выявляемые сходствами и контрастами. В этой главе я предложу свое прочтение этих повестей, сопоставляя их с двумя менее известными сочинениями тех же авторов, которые служат автокомментариями к ним.

Здесь был мрак

Глядя на Темзу, Марлоу в повести Конрада воображает себе римскую колонию на ее берегах:

...вчера здесь был мрак... край света... Море свинцовое, небо цвета дыма... Песчаные отмели, болота, леса, дикари... Кое-где виднеется военный лагерь, затерявшийся в глуши как иголка в стоге сена. Холод, туман, бури, болезни, изгнание и смерть¹ (11—12).

Марлоу не интеллектуал, он матрос. Однако историю нового колонизатора, Курца, он начинает с его очень древней генеалогии. Далекая ретроспектива характерна для Конрада; она вдохновлена той романтической версией гегелевского историзма, которая была популярна в Польше в годы его юности, может быть, начиная с его краковской школы (Niland 2010). Смотря на Темзу и думая о Конго, рассказчик описывает римлянина, который приехал в Англию, «чтобы поправить свои дела». Чем бы этот римлянин ни промышлял в Англии (уж точно не слоновой костью), он нужен Марлоу, чтобы оценить различия между двумя колонизациями, старой и новой. «Нас спасает сознание целесообразности», — говорит он с иронией (оригинал использует более интересное слово: «efficiency», «эффективность»). Новейшую колонизацию «искупает только идея». За исключением этих двусмысленных фраз, античный колонизатор в описании Марлоу всем похож на своего современного коллегу:

Он высадился среди болот, шел через леса и на какой-нибудь стоянке в глубине страны почувствовал, как глушь смыкается вокруг него... В эти тайны не могло быть посвящения. Он обречен жить в окружении, недоступном пониманию, что само по себе отвратительно. И есть в этом какое-то очарование, которое дает о себе знать. Чарующая сила в отвратительном (12).

¹ *Конрад Дж. Сердце тьмы и другие повести* / Пер. А. Кривцовой. СПб.: Азбука, 2011 (далее страницы даны в тексте).

Здесь, на берегах Темзы, колонизованные стали колонизаторами. Марлоу в деталях рассказывает о своей попытке спасти эффективного агента Курца, который «собрал, выменял, выманил или украл слоновой кости больше, чем все агенты, вместе взятые» (34), а потом сошел с ума на Центральной станции. Хотя вся повесть — о добыче слоновой кости, в ней нет слонов. Курц не охотник, он доставляет «ископаемую кость», которую добыли и собрали «негры». Секрет Курца в новом, творческом способе заставить туземцев добывать и доставлять ему товар: он превратил торговлю в ритуал. Туземцы его «боготворили», он «принес с собою гром и молнию... он был страшен... вожди каждый день его навещали. Они пресмыкались» (100—103). Создавая это чудо коммерческой магии, Курц вооружал местные племена, натравливая их одно на другое. Около жилища Курца Марлоу заметил отрубленные головы, для примера врагам сохнувшие на кольях.

Итак, Курц построил свой бизнес на том, что внедрил в верования туземцев и заставил их обожать себя, как бога, и приносить ему жертвы. «Глушь его... приняла, полюбила» (86), и он полюбил ее. Их союз ознаменовали «какие-то дьявольские церемонии посвящения». Курц мог «председательствовать во время полунощной пляски, закончившейся невероятными церемониальными обрядами» (88), и эти обряды давали ему власть собирать слоновую кость. Эти «невероятные... обряды» отталкивали здравомыслящего Марлоу даже «сильнее, чем эти головы, сушившиеся на кольях под окнами» мистера Курца (103—104). В итоге он так и не смог подробнее выяснить смысл религии, учрежденной Курцем, и детали его ритуалов. Мы узнаем только, что Курц «имел власть чаровать или устрашать первобытные души дикарей, которые в его честь совершали колдовскую пляску» и что ритуал был как-то связан с их «избиением в широком масштабе». Прибыль создавалась совместным действием обрядов и набегов. Для Марлоу, как и для Конрада, этот гибридный террор, который подражает дикости средствами цивилизации, был хуже самой дикости.

Антропологические успехи Марлоу не очень впечатляют; в сердце тьмы он открыл необыкновенное явление, но был среди туземцев недолго и описывает его немного туманно. Зато успехи самого Курца были официально признаны. Он состоял членом Международного общества по искоренению туземных обычаев и в отчете, посланном в это общество, доказывал, что белые «должны казаться им (дикарям) существами сверхъестественными» (89). В конце последней страницы этой «прекрасной статьи» Марлоу нашел «нацарапанную нетвердой рукой заметку, которую можно рассматривать как изложение метода...: “Истребляйте всех скотов!”» Марлоу понимает, что оба аспекта этого бизнес-плана взаимосвязаны. Когда просвещенные колонизаторы околдовывают мир ради «идеи», такое колдовство требует насилия и ведет к нему.

«Эребус» и «Террор»

В 1870 году польский мальчик Юзеф прирастился к географии (Conrad 1921: 19). Он учился в краковской школе, и разглядывание цветных карт было его любимым занятием (эту страсть потом разделит Марлоу). Родители Юзефа были российскими подданными и жили в сложной колониальной ситуации. Дед и отец мальчика были управляющими в арендованных имениях в Западной Украине, на землях, которые отошли к Российской империи после второго раздела Польши. Юзеф родился на этой дважды колонизованной территории, в украинско-еврейском Бердичеве. Его отец Аполлон Коженевский учился на отделении восточных языков Петербургского университета, главой которого был Осип Сенковский — польский писатель и ученый, ставший лидером российского востоковедения. Родившийся под Винницей, Коженевский был польским поэтом и драматургом, на творчество которого повлияли его российские предшественники, и героем польской борьбы против империи. В Житомире и потом в Варшаве он возглавил

подпольное движение за освобождение Польши и Украины от власти России, начав подрывную работу во время Крымской войны, в тылу российской армии. Его арестовали в октябре 1861 года, незадолго до начала Польского восстания, и сослали в Вологду. Его сопровождала жена вместе с пятилетним сыном. Потом, из-за болезни жены, их перевели в Чернигов, где она умерла от чахотки. После пяти лет ссылки Аполлон и Юзеф Коженевские смогли нелегально перебраться в австрийскую Польшу. Юзефу было 10 лет, и большую часть детства он провел в Российской империи. Пешком, на руках у отца или в телеге Юзеф проделал по ней тысячи километров. Он знал ее стужу и хлеб, беды и дали. Потом, в Кракове, его отец тоже умер от чахотки и Юзеф остался сиротой и лицом без гражданства. Вологда не Арктика, но ее было достаточно для того, чтобы он навсегда приистрастился к арктическим картам и героям-одиночкам, умирающим во льдах. Из своего опыта в краковской школе Юзеф с наибольшим интересом вспоминал сочинение о полярных странствиях, написанное им «с большой эрудицией». Но его учителя не разделяли его смутного тогда чувства, которое Конрад и столетия спустя определял уклончиво, хоть и красиво, как «романтическое стремление к реальности»: учителей совсем не интересовала Арктика (Conrad 1921: 17).

Когда в последние годы жизни Конрад писал воспоминания, он все еще не мог смириться с событиями своего далекого прошлого. Несколько раз он возвращался к тому, как его больная мать на несколько месяцев вернулась из Вологды в Польшу, чтобы потом вновь отправиться к мужу, в холодную и страшную ссылку. С иронией и сочувствием Конрад передавал истории, слышанные в юности от воинственных родственников-шляхтичей. Когда его дядя, офицер наполеоновской армии, прятался от казаков в крестьянской избе, залаяла собака. Чтобы она не выдала его, дядя отрезал ей голову, а потом и съел. «Конечно, он съел пса, чтобы утолить голод, но еще ему хотелось утолить свой ненасытный патриотический пыл», — писал Конрад (Conrad 1919: 78).

Ситуация, в которой жили польские дворяне Коженевские и рос будущий писатель Конрад, была столь же характерной для Российской империи, сколь непосильной для традиционных дихотомий, выработанных колониальной историей и перенятых постколониальной теорией. Как польский подданный и политический ссыльный, его отец был жертвой российской колонизации; как поляк, управлявший имением, в котором работали украинские крестьяне, он сам был колонистом, даже колонизатором. Как польский писатель и революционер, он был героем национально-освободительной борьбы против империи; как студент-ориенталист Санкт-Петербургского Императорского университета, он учился корпусу знаний, который способствовал власти над российскими колониями: соучеником Коженевского был Василий Григорьев (см. главу 8). Джон Мак-Клур утверждал, что «Конрад одновременно был туземцем колонизованной страны и принадлежал к обществу колонизаторов». Из британских писателей такого двойного опыта не имел больше никто: «Конрад достиг того, к чему стремились такие авторы, как Киплинг: с другой стороны увидеть стену, окружающую колониальную территорию» (McClure 1981: 92; Fleishman 1967). Многоуровневый опыт российского колониализма, в котором колонизатор и колонизируемый часто менялись ролями, дал Конраду его стереоскопическое зрение. Саму идею прогресса — ту самую «идею», в которую верил Марлоу, — Конрад воспринимал как колониальное завоевание, героями которого были люди, подобные Григорьеву и Курцу: «Прогресс оставляет на пути своих мертвецов, ибо прогресс — это всего лишь большое приключение... поход в неоткрытую страну; а в таком предприятии с жертвами не считаются» (Conrad 1921: 156).

Героем молодого Юзефа, любителя арктических историй, был сэр Джон Франклин, командир британской экспедиции на судах «Эребус» и «Террор». В 1845 году эта экспедиция отправилась на поиски Северо-Западного прохода между Гренландией и Северной Америкой. Потом корабли исчезли, и их искали,

но не нашли. В 1859 году сэр Леопольд Мак-Клинток возглавил поисковую партию, которую финансировала вдова Франклина, леди Джейн. На одном из островов Мак-Клинток обнаружил записку, оставленную экспедицией Франклина на листе из судового журнала. Записка заканчивалась словами «Все идет хорошо». Второе послание, оставленное год спустя на полях того же листа, сообщало, что «Эребус» и «Террор» затерты во льдах и команда покинула их (Conrad 1926: 15—16). Эскимосы видели, как матросы ели трупы, и археологические находки подтвердили эти рассказы о каннибализме среди умирающих британцев (Keenleyside et al. 1997).

Книга Мак-Клинтока о том, как он искал следы экспедиции Франклина в арктических морях, стала любимым чтением молодого Юзефа. «С тех пор я перечитывал ее много раз, — писал Конрад, — детали этой истории отправили меня в романтическое путешествие по внутреннему миру человека, открыли во мне вкус к тому, чтобы разглядывать карты». В эссе «География и некоторые исследователи» Конрад противопоставлял путешествия в южные моря, куда людей гонит «дух предпринимательства, жажда наживы» — другим путешествиям, что «свободны от этого пятна». Примеры последних — путешествия на север, в арктические страны, подобные экспедиции Франклина, «чьи помыслы были чисты, как воздух этих высоких широт». Повзрослев, сам Конрад стал больше интересоваться югом и наживой, чем севером и чистотой; и все же, писал он, «не стоит предполагать, что меня больше не интересуют полярные страны» (Conrad 1926: 14, 17, 21). В «Сердце тьмы» Марлоу повторяет вслед за автором: «Когда я был мальчишкой, я страстно любил географические карты... В то время немало было белых пятен на Земле... Помню, одним из таких мест был Северный полюс. Впрочем, я там не бывал и теперь не собираюсь туда ехать. Очарование исчезло» (14). В сознании Конрада память об отце все еще соединялась с холодным, жертвенным воздухом высоких широт.

Рассказ Марлоу, во всем остальном тропический и связанный с наживой, начинается с упоминания о Франклине и его

кораблях, которые тоже вышли из устья Темзы. Названия кораблей — «Эребус» и «Террор» — предвосхищают развитие событий в рассказе Марлоу. Греческий бог Эреб — сын Хаоса и олицетворение тьмы. Террор, по-русски «ужас», достигает кульминации в последних словах умирающего Курца: «Ужас! Ужас!» Спасательная экспедиция Марлоу, искавшего Курца, противопоставлена необыкновенной истории Мак-Клинтока, искавшего Франклина. В конце повести Марлоу солгал невесте Курца; Мак-Клинток не утаил страшной правды от вдовы Франклина. Марлоу подозревает африканцев в каннибализме, что разгневало некоторых критиков (Achebe 2001), и это тоже было связано с историей экспедиции Франклина.

В «Сердце тьмы» много раз упоминается Темза, где эта история была рассказана, но ни разу не называется река Конго, где происходит действие рассказа. Точный в географических описаниях, Конрад тут намеренно ограничивается самыми общими словами — «река», «тьма», «земля»:

Поднимаясь по этой реке, вы как будто возвращались к первым дням существования мира... Бывали моменты, когда все прошлое вставало перед вами... И в тишине этой жизни не было ничего похожего на покой. То было молчание неумолимой силы, сосредоточенной на неисповедимом замысле. Что-то мстительное было в этом молчании (61—62).

При всем различии жары и холода, Конрад очень похоже описывает Конго под властью бельгийского короля Леопольда II и Россию Николая II:

Снег покрывал бесконечные леса, замерзшие реки, равнины огромной страны, стирая ориентиры, случайные черты земли, выравнивая все под одинаковой белизной, как будто чудовищно громадная белая страница ждет, когда на ней будет записана невероятная история (Conrad 2001: 25).

Нет сомнений, что место действия рассказа о Курце — именно Конго. И все же Конрад отказывается поместить сердце тьмы в определенном месте, создавая суммарный образ имперского господства. Темные места, как и темные времена, есть на разных широтах. Для Локка «в начале весь мир был Америкой». Для Конрада вначале весь мир был Польшей.

Гегемон и арлекин

Главный герой повести, Курц, не говорит почти ничего, кроме: «Ужас! Ужас!»; за него и о нем говорят другие. Первый, не названный по имени рассказчик, путешествующий с Марлоу по Темзе, узнает о Курце от второго рассказчика — Марлоу, который сам узнал о Курце от третьего, который хорошо его знал. Этот третий рассказчик — русский. Конечно, удивительно натолкнуться на русского в сердце Африки; сам Марлоу встретил его там «с изумлением». Сын тамбовского священника, этот торговец жил в одном доме с Курцем, путешествовал и промышлял вместе с ним и участвовал в некоторых деликатных начинаниях. Он ухаживал за больным Курцем как цивилизованный человек, но обожал его и приносил ему слоновую кость как туземец. Имя этого русского нам неизвестно. Он странный человек, но еще страннее то, что Марлоу верит его словам:

Он стоял передо мной в своем пестром костюме, восторженный, фантастический, словно удрал из труппы мимов. Самое его существование казалось невероятным, необъяснимым, сбивающим с толку. Он был загадкой, не поддающейся разрешению... (97). Его костюм — кажется, из небеленого холста — был сплошь покрыт заплатами, яркими заплатами — синими, красными и желтыми... (93).

Марлоу нравится этот странный тамбовец, и он разрешает по крайней мере одну из загадок русского. Его причудливый кос-

твом помогает вспомнить «что-то очень забавное, где-то мною виденное» (93). В самом начале рассказа Марлоу описывает карту, которая висела в офисе нанявшей его компании: «В конце комнаты висела большая карта, расцвеченная всеми цветами радуги. Немало места было уделено красной краске — на нее во всякое время приятно смотреть, ибо знаешь, что в отведенных ей местах люди делают настоящее дело, — много было голубых пятен, кое-где виднелись зеленые и оранжевые», и «пурпурная полоса на восточном берегу» (18). Эту карту Конрад мог придумать, вспомнив известные слова Сесилия Родса: «Я заявляю, что мы первейший из народов во всем мире... Если есть Бог, я думаю, он хочет, чтобы я закрасил как можно большую часть карты Африки красным цветом Британской империи» (цит. по: Spivak 1999: 13). На карте Африки не было части, окрашенной в российский цвет, — у России там не было колоний. Но в колониальные цвета была раскрашена одежда русского авантюриста, который для Конрада был символом империализма (Go Gwilt 1995) и пустоты (Said 1966: 146).

Создав этого арлекина, воплощающего собой красочную тьму колониального господства, Конрад привнес в трагедию европейской колонизации Африки травму российской колонизации Польши. Тамбов еще дальше от полярного круга, чем Вологда, но темперамент у этого русского такой же, как у самоотверженных полярных исследователей, которыми Конрад восхищался в юности:

От дикой глуши он не требовал ничего, кроме возможности дышать и пробиваться дальше... Если чистый, бескорыстный, непрактичный дух авантюризма управлял когда-либо каким-нибудь человеком, то, несомненно, этим человеком был мой заплатанный юнец. Я готов был позавидовать ему, горевшему этим скромным и ясным пламенем (98).

Это почти те же слова, что и в начале повести, когда Марлоу противопоставляет жадных путешественников в южные страны безупречным исследователям севера, «чьи помыслы были чисты, как воздух этих высоких широт». Чистота этого русского связана с его «очарованием». Это слово, *glamour* (лучше бы его переводить цветаевским словом «чара»), Марлоу употребляет с настойчивостью. «Я там [на Северном полюсе] не бывал и теперь не собираюсь туда ехать. Очарование исчезло», — говорит он в начале рассказа. Этот же северный гламур он находит в новом знакомом: «Чары увлекали его вперед, спасали от гибели» (97—98), — «*Glamour urged him on, glamour kept him unscathed*».

Приближаясь к Центральной станции, Марлоу делает «необычайную находку»: в заброшенной хижине он обнаруживает книгу «Исследование некоторых вопросов навигации». Попавшейся ему книге 60 лет, так что напечатана она была примерно в годы экспедиции Франклина. На полях ее — карандашные комментарии, относящиеся к тексту, а написаны они шифром, ключа к которому у Марлоу нет. Для него эта книга остается «из ряда вон выходящей тайной» (68—69), пока он не встречает русского, одетого в цветные лохмотья. Теперь он понимает, что комментарии написаны кириллицей. Весь этот эпизод выпадает из контекста и сам представляет собой некий шифр. Конечно, странно встретить в Конго русского авантюриста, но, если уж так произошло, мало удивительного в том, что заметки на полях его книги написаны по-русски. В тексте, переполненном значениями, что они могут означать?

Заметки на полях играют важную роль в «Сердце тьмы» и в эссе «География и некоторые исследователи». Нацарапанные на последней странице отчета Курца слова «Истребляйте всех скотов!» меняют смысл всего документа. На том же листе, где стоят слова «Все идет хорошо», моряки Франклина сообщают о смерти командира. В обоих случаях основной текст лжет, а заметки на полях раскрывают истину. По отношению ко всей повести Конрада ту же роль играет его эссе «География и некоторые ис-

следователи», которое частично объясняет и частично деконструирует «Сердце тьмы». Непрочитанные комментарии на полях английской книги о навигации играют такую же роль.

Почти все, что Марлоу узнал о Курце и что знаем мы, ему рассказал русский авантюрист (Brooks 1996: 70). Особенно это касается самой интересной части истории, которая исходит от русского арлекина, — того, как Курц обращался с туземцами: «этой изумительной повести, которая не столько была рассказана, сколько внушена мне унылыми восклицаниями, пожиманием плеч, оборванными фразами, намеками, переходившими в глубокие вздохи» (101). Марлоу не может ни подтвердить, ни опровергнуть слова и толкования своего русского информатора: когда он сам находит Курца, тот уже при смерти. Но в предложенной ему интерпретации Марлоу не сомневается, как не сомневаются его слушатели и почти не сомневаемся мы, читатели. Однако Марлоу сам признает, что арлекин пресмыкался перед Курцем «не хуже любого из дикарей» (104). Для отстраненного наблюдателя этот русский слишком вовлечен в свою историю.

Интерпретация — вещь важная; она особенно важна, если сырых данных нет, а интерпретация является единственным источником. История Курца, рассказанная тамбовским поповичем лондонскому матросу в сердце Африки, — притча о новом, эффективном и опасном методе колонизации, связанном с очарованием, околдованием жизненного мира. Курц не просто «отуземился» (Rothberg 2009: 83). Вместе со своим русским другом этот европеец стал более диким, чем дикари, чтобы внедриться в систему их верований с «эффективностью», какой обеспечила их цивилизация. Соединив «научно» обоснованную магию с силовым принуждением, Курц реформировал аборигенов с единственной и непонятной им целью — своего обогащения. Он не миссионер, который стремится заменить одну систему верований другой. Он скорее подобен вирусу, изнутри поразившему дух и веру туземцев, чтобы заставить их приносить жертвы. Это своего рода внутренняя колонизация.

Империализм особенно токсичен, когда не просто действует грубым принуждением, а успешно добавляет к ней религиозную или идеологическую веру, силой и обманом заставляя эксплуатируемое население испытывать ее. Индийские исследователи удивляются британской системе «доминирования без гегемонии»; исследователи российской колонизации удивляются проявлениям того, что я ранее назвал «отрицательной гегемонией» (см. главу 7); но самыми удивительными моментами в истории империализма были те, когда гегемония была успешной. Именно в эти моменты бремя белого человека бывало самым тяжким, и за них он потом испытывал особое раскаяние.

Настоящий европеец, Курц не случайно получил русского компаньона, а Марлоу — информатора. «Сердце тьмы» имело много источников: унаследованное от родителей знание о том, что поляки делали в Украине, память о российских преступлениях в Польше и британских преступлениях в Индии, впечатления Конрада от посещения Бельгийского Конго, а еще смутное ожидание будущих революций в России и в колониях, которые, как догадывался Конрад, создадут новые виды тьмы. Уходя в далекий и особенный народ, внедряясь в его религию и принуждая ее работать на «идею», панъевропеец Курц делал то, что пытались сделать с «народом» поколения русских радикалов и их наследников. Народниками, ходившими во внутренние российские колонии, двигала не жажда прибыли, а чистые утопические идеалы. Сходство между ними и столь отличными от них промышленниками-колонизаторами состояло в методах, сочетавших знание и чару, детальные исследования и прямой обман. Наряду с огнестрельным оружием «эффективность» Курца нуждалась в социальных и гуманитарных науках. Именно поэтому у Конрада самым успешным промышленником становится ученый, обладающий репутацией в научных обществах.

В конце XIX века социология и антропология открыли новые методы для того, чтобы понять народ и изменить его. Читая Дюркгейма одновременно с Марксом, радикальные интел-

лектуалы спрашивали себя: если ритуалы приобщают к ценностям, почему бы не создать новые ритуалы? Если боги сменяют друг друга как цари, почему бы не возвести на трон новых богов? Если, к примеру, в России нет рационально мыслящего пролетариата, а есть мистическое крестьянство, то, может быть, российскую революцию подтолкнет не просвещение, а процесс, прямо ему противоположный? В духе времени, склонного к конструированию на ничьей земле, этот процесс называли «богостроительством»¹. Такой процесс сознательного, планируемого околдовывания мира должен операться на верования народа, чтобы, преобразовав их, вести народ к новой жизни. Но эти верования, какие они есть, известны только специалистам — этнографам, историкам; так эксперты и становятся авангардом революции (см. главу 10). Дети священников и знатоки сектантских общин, некоторые из них профессиональные революционеры и убежденные богостроители, выглядели и говорили как конрадовский арлекин-попович, хотя и отправлялись на берега Волги, а не Конго. Трудясь рядом с экзотическими сектантами, чтобы возглавить их и эксплуатировать ради революции, эти интеллектуалы уподоблялись Курцу и его спутнику арлекину, свидетелю его «невыразимых» изобретений. Я могу себе представить, как какой-нибудь новый Марлоу найдет в архиве Анатолия Луначарского записку «Истребляйте всех скотов!» Это, конечно, тоже была бы «необычайная находка», но она бы не изменила историю, какой мы ее знаем. Изучавший философию в Цюрихе, писавший драмы о Фаусте и Кромвеле, настоящий европеец и русский богостроитель, Луначарский стал первым народным комиссаром просвещения в большевистском правительстве.

¹ Об экспериментальном богостроительстве русских революционеров см.: Williams 1986; Stites 1989; Scherr 2003; Rosenthal 2004. О популярности Дюркгейма в России начала XX века см.: Гофман 2001.

Продукт природы

Николай Лесков написал много романов и статей о разных сферах жизни в Российской империи. Он писал о рекрутах из крестьян, судебной медицине, пьянстве низших классов и других социальных вопросах. Его также интересовали проблемы религии, в высших сословиях и в народе. Лесков начал карьеру с должности мелкого судебного чиновника в Киеве, затем стал секретарем рекрутского присутствия и так бы и остался в гоголевских чинах, если бы жизнь его не изменил британский родственник Александр Скотт (Шкотт). Муж тетки Лескова, Скотт управлял огромными поместьями министра внутренних дел Льва Перовского (см. главу 8) и владел торговой компанией «Шкотт и Вилькенс», которая продавала российским землевладельцам британскую сельскохозяйственную технику. В 1857 году молодой Лесков вышел в отставку и поступил на работу к Скотту. Несмотря на высокие связи, российский бизнес предприимчивого британца шел туго. В России Скотт превратился в язвительного старика, который, глядя на непроданную технику, делился с племянником классическими идеями неудавшегося империалиста: «Все это не годится в России... Здесь ничто хорошее не годится, потому что здесь живет народ, который дик и зол». Лескову казалось, что дядя шутит, но тот не шутил. Через много лет, в 1893 году, Лескову вспомнились поразившие его слова британского родственника:

Ты русский, и тебе это, может быть, неприятно, но я сторонний человек, и я могу судить свободно: этот народ зол; но и это еще ничего, а всего-то хуже то, что ему говорят ложь и внушают ему, что дурное хорошо, а хорошее дурно. Вспомни мои слова: за это придет наказание, когда его не будете ждать!¹ (368).

¹ «Продукт природы» цит. по: Лесков 1958: Т. 9. Номера страниц приводятся в скобках.

Под управлением Скотта в поместьях Перовского «эксплуатировали все, что родит земля», прежде всего самих крестьян. Новая карьера Лескова началась с поручения надзирать за переселением крестьян, которых Перовский скупил у мелких помещиков Орловской и Курской губерний и переводил в свои черноземные поместья. Граф умер несколькими месяцами ранее, и его имения перешли к одному из братьев. Управлявший этими имениями Скотт решил использовать возможность заселить южные поместья, прежде чем произойдет ожидаемое освобождение крестьян. В этой истории чувствуется жутковатая симметрия с «Мертвыми душами»: теперь на переселение шли живые крестьяне, а помещик был мертв. Во время прошлых переселений крестьянам Перовского приходилось преодолевать сотни километров на телегах, так что почти половина сбегала или умирала в пути. В этот раз Скотт нанял барки, чтобы перевезти крепостных, которых он называл «продуктом природы», вниз по Оке и Волге. Племяннику он поручил надзирать за «сводом» крестьян, придумав для него особое положение. «Царствуй, но не управляй», — наставлял Скотт племянника в деле непрямого правления. Править должен был «надежный человек» Петр, которого Скотт по-колониальному называл Пизарро, сравнивая его с завоевателем Перу. С ужасом описывая столь характерное для Российской империи переселение, Лесков представляет его так, что в памяти всплывает вывоз африканских рабов в Америку. Заново воображая Петра-Пизарро много лет спустя, Лесков делает его «черным кудрявым мужиком... с черными огненными глазами, черными сросшимися над носом бровями... и маленькой черной окладистой бородой». Все белые в этом рассказе — мертвый Перовский, британец Скотт, слабый Лесков и самозванный исправник — отсутствуют, никчемны или мошенники. Единственный сильный человек — «черный мужик», предводитель нового переселения рабов.

Когда Лесков и Пизарро грузили крестьян на барки, они обратились за помощью к полиции, иначе им было бы не

справиться с тремя барками крестьян — несколькими сотнями семей, которых силой отправляли в долгий путь по русским рекам. Крестьяне, однако, не выглядели несчастными сверх обычного:

[На барках] сидели люди босые, полураздетые, — словом, такие жалкие и обездоленные, как их обыкновенно видишь в русской деревне. Я тогда думал еще, что крестьяне и везде должны быть только в таком виде, как мы их привыкли видеть в России. Смирение их тоже было обычное в их положении (345).

Во время плавания крестьян занимало только одно развлечение, называемое словом «искаться». Они расчесывали тела, стремясь избавиться от вшей, с которыми не могли справиться. Развести на барке костер, чтобы прокипятить одежду, было нельзя; в реке крестьяне отказывались мыться, потому что считали, что от воды заведется еще больше вшей. Они ужасно страдали и охотно показывали кровавые расчесы. Лесков пытался помочь им, но, когда он поделился своей заботой с Пизарро, в ответ получил одну замечательную фразу: «Кому, сударь, людей жалко, тому не нужно братья народ на свод водить». Лесков понимал, что Пизарро прав, хотя один раз все-таки не дал ему выпороть крестьян прямо на барке. Потом крестьяне увидели на берегу баню и умолили Лескова пристать к берегу. Они клялись, что быстро возвратятся, ведь на барке оставались их жены и дети — как они могут не вернуться назад? Лесков разрешил сорока мужикам сходить в баню, и они тут же побежали домой, хотя их дома были за сотни верст. Лескову пришлось снова позвать полицию; три казака поймали и выпороли сорок беглецов. Пока крестьян наказывали, глава местной полиции (как позже выяснилось, самозванец) запер Лескова у себя дома, чтобы он не мешал пороть крестьян. Сидя под замком, Лесков читал книги из библиотеки хозяина, в которой оказались свободлюбивые труды Герцена и Грановского. А потом все вернулись на барку:

Несмотря на ночной сумрак, я видел, как их «гнали». Перед этим шел дождь, а почва была глинистая, и было смешно и жалко смотреть, как они шлепали и как ноги их волоклись и расползались по мокрой глине, причем где скользила и падала одна передняя пара — то же самое проделывали и все другие (351).

Работая торговым представителем дядюшкиной компании, Лесков объездил российскую провинцию. Он писал сочувственные к народу романы и сатирические очерки об интеллигенции, которые создали ему скандальную репутацию. Но, оставаясь человеком практическим, он не забывал цитату, которую приписывал Генриху Гейне: «Кто любит народ, тот должен сводить его в баню».

Конэсер

Марлоу разговаривал с пассажирами на борту яхты как с равными. Он рассказывал им о том, кто стоял ниже их — черных людях в стране слоновой кости, — и о европейце-сверхчеловеке по имени Курц. История Марлоу необычна, но его собеседники и мы, читатели, верим ему. Другое дело — Иван Флягин, рассказчик в «Очарованном страннике» Лескова. По мере того как он рассказывает свою историю, случайные пассажиры все более недоверчиво относятся к нему и к тому, что он говорит. Тем не менее они продолжают слушать и вообще относятся к нему с цивилизованным интересом, — с большим любопытством, чем то, с которым Флягин относился к туземцам, среди которых ему пришлось жить. Исследователи характеризуют Флягина по-разному, от «русского супермена» (McLean 1977: 241) до «обычного русского человека» (Franklin 2004: 108). Он одет как монах-«черноризец», хотя на самом деле он — монастырский кучер. У него есть дар лошаdnика-конэсера, знаток и любителя лошадей; с людьми ему труднее, хотя по ходу

своей истории он их тоже оценивает, покупает, бьет нагайкой, а иногда и любит так, как любят отменную лошадь. Разочарованные пассажиры постепенно распознают в нем самозванца (вспоминается история о том, как Владимир Даль разоблачил беглого крепостного, узнав по акценту, откуда он родом, — см. главу 8). Начавшись как разговор равных, история Флягина превращается во встречу европейцев с благородным дикарем.

Флягин рассказывает о своей жизни, стоя на борту судна, которое везет паломников и снабжает необходимым монастыри на островах Ладожского озера. Пароход находится примерно в одном дне неспешного пути от Петербурга, к северу от истока Невы. Через эти земли пролегает путь к древнему сердцу России. Как и у Темзы, у Невы были мгновения сияния, тьмы и мерцания. Как и Англия, Россия была страной колонизованной и колонизирующей. Римляне не добрались до этих берегов, но по ним прошли финны, шведы, русские и немцы, некоторые по нескольку раз. Если Рюрик действительно вышел из Скандинавии, то здесь, по Неве и Ладоге, он плыл на своей ладье к Новгороду. В противоположном направлении, из Новгорода через Онегу и Ладогу, шли в Европу меха. Теперь здесь, рядом со столицей империи, Флягин повествует о своей кочевой жизни, которая бросала его из русской глубинки в пустыни Средней Азии, на Кавказ, а потом на озера и острова Русского Севера. Для Марлоу плавание из Британии в Европу, а потом в Африку означало, что он пересекал моря, государства и границы. Все приключения Флягина происходят внутри России. Пересекая степи, пустыни и горы, оказываясь среди чужих и часто враждебных народов, Флягин никогда не покидает «родную землю». Марлоу — критически настроенный, рефлексирующий империалист, один из тех, кто участвовал и в колонизации, и в деколонизации мира. Очарованный и чарующий, Флягин совсем лишен любопытства и критического мышления. Читатель неизбежно оказывается ближе к пассажирам на борту судна, чем к самому Флягину, красноречивому, но непроницаемому рассказчику. С его навязчивой чарой невозможно идентифициро-

ваться: мешают несдержанная сила, причудливая религиозность, аморальная спесь, глубокий контакт с животными и нехватка человечности. Если Флягин — сверхчеловек, то описан он со здоровой дозой человеческой иронии.

«Очарованный странник» Лескова начинается с того, что пассажиры ненадолго оказываются в Кореле, небольшом городке на берегу Ладожского озера, «этом бедном, хотя и чрезвычайно старом русском поселке, грустнее которого трудно что-нибудь выдумать». Основанную финнами Корелу в 1310 году взяли новгородцы, потом в 1580 году — шведы, в 1595-м — Московское государство, в 1617-м — снова шведы, в 1710-м — петровские войска. В 1920 году Корела вошла в состав Финляндии, в 1940-м была захвачена Советским Союзом, в 1991-м осталась в составе России. Четыре раза поменяв название, Корела известна как Приозерск, дачный курорт на Ладоге. Много раз захваченный и ни разу не освобожденный, Приозерск — город, у которого нет причин для веселья; все же и его рекордная грусть, пожалуй, преувеличена. В рассказе Флягина грусть разлита по азиатской пустыне, где туземцы взяли его в плен и искалечили, по его родной губернии в Центральной России, где вся его жизнь была одной сплошной поркой, и по столице империи, где он бедствовал так, что играл роль демона в театре. Но для Лескова сердцем грусти была именно Корела — городок, похожий на сотни других, например на Пензу, где и Лесков, и его герой Флягин жили некоторое время:

В этой Пензе... люди дошли до того, что хотели учредить у себя все наыворот: улицы содержали в состоянии болот, а тротуары для пешеходов устроили так, что по ним никто не отваживался ходить. Тротуары эти были дощатые, а под досками были рвы с водою. Гвозди, которыми приколачивали доски, выскакивали, и доски спускали прохожего в клоаку, где он и находил смерть. Полицейские чины грабили людей на площади; предводительские собаки терзали людей на Лекарской улице... а губернатор собственно-

ручно бил людей на улице нагайкою; ходили ужасные и достоверные сказания о насилии над женщинами, которых приглашали обманом на вечера в дома лиц благороднейшего сословия... (1958: 9/369).

Из такой среды, которую Лесков называет людским Законом, органично вырастает Флягин. Лесков дает ему талант рассказчика и сильный, часто разрушительный характер, но иронию оставляет себе. Рожденный крепостным, Флягин вырос на конюшне и сбежал от хозяина, когда его выпороли за то, что он отсек хвост кошке, съевшей голубя. Потом он скитался с цыганами и участвовал в «татарском» соревновании — пороть друга нагайками, «вроде как господа на дуэли». Хорошо освоив эту «азиатскую практику», Флягин заporол противника-татарина до смерти. Наградой ему стала прекрасная лошадь, но Флягину снова пришлось бежать. Зайдя далеко в пустыню, он был взят в плен азиатским племенем, люди которого искалечили его, зашив в его пятки конскую щетину. Среди этих «татар» Иван прожил одиннадцать лет, выучил их язык, лечил их травами и магией, взял себе несколько жен и стал отцом их детей, имен которых не помнил. Успех среди туземцев сочетался у него с полным отсутствием интереса к ним; у «татар» не было ничего хорошего, кроме коней. Не понравились ему и русские миссионеры, которых он встретил в пустыне: «Азията в веру приводить надо со страхом, чтобы он трясся от перепуга, а они им бога смиренного проповедывают», — высказывает он свою теорию чары. Но миссионеры проповедовали Христа смиренного и были убиты аборигенами.

Потом из Хивы в пустыню пришли британские шпионы. В этом русском варианте «Кима» Большая игра воображается с другой стороны Гималаев. Готовясь к войне с Россией, британцы хотят купить в Средней Азии лошадей. Флягин портит им торговлю, но британцы, напугав племя фейерверком, крадут лошадей и сбегают. Оставшиеся фейерверки Флягин использует так же, как Курц, крестит племя огнем и молнией и объявля-

ет себя богом. Так ему удастся уйти из пустыни обратно в Россию. Там его возвращают старому хозяину, который усердно порет еще недавно бывшего Богом Флягина за его давний побег.

Флягин возвращается к торговле лошадьми с азиатами и работает на князя, который доверяет ему деньги, коней и женщин. Но оба влюбляются в одну и ту же красавицу — цыганку Грушу. Флягин доставляет ее патрону, а когда беременная Груша надоедает князю, она умоляет Флягина убить ее. Ради любви к ней он бросает ее в реку, создавая еще один сюжет с жертвоприношением женщины (см. главу 12). Флягин вновь бежит, на сей раз в армию, воюющую на Кавказе. Совершив героические подвиги, он находит себе последнее пристанище, став кучером при северном монастыре. Призраки Груши и других убитых преследуют Флягина, но он отгоняет их частым постом и земными поклонами.

После того как Флягин рассказал пассажирам об убийстве Груши, что-то странное происходит с его историей: она превращается в бессмысленные рассуждения, в несвязную проповедь, граничащую с бредом. Вначале очаровавший слушателей, в конце повести рассказчик звучит как безумный ханжа, одолеваемый виной, агрессией и соблазном. Призрак Груши остался с ним, несмотря на все посты и поклоны. Странствие находит свой конец, который Лесков решил изобразить самыми необычными средствами своего словесного мастерства. Лекарь, который пользовал Флягина в монастыре, «не смог разобрать, что он такое: так просто добряк, или помешался, или взаправду предсказатель». Не могут разобрать и слушатели, не могут и читатели.

Родившись в семье священника, ставшего коллежским асессором и получившего дворянство, Лесков окончил всего два класса гимназии; но он многому научился сам. В зрелые годы он стал тонким иронистом, просвещенным либералом и последователем одного из величайших диссидентов в истории — Льва Толстого. Как многие крупные русские писатели или даже больше, чем они, Лесков был склонен к нарративной игре, на-

смешливо экспериментируя с героями, читателями и авторской позицией. То, что у Конрада называется «тьмой», Лесков зовет «грустью». Рассказанные на спокойной пресной воде, обе истории, «Сердце тьмы» и «Очарованный странник», вскрывают центральные трагедии своих имперских народов, разворачивавшиеся в различных стихиях. Обе повести построены как рассказ от первого лица внутри авторского повествования. В обеих повестях образ сверхчеловека создан для того, чтобы его разрушить. Наделенный, как Курц, необычными талантами, Флягин тоже реализует их в насилии и чаре. Истинный герой империи, он знает животных лучше, чем людей. Любя женщину, он убивает ее — поистине грустная история. Флягин «великолепен и отвратителен», пишет историк (Franklin 2004: 109). Интересно отметить, насколько это мнение созвучно тем словам, которыми Марлоу заканчивает свою историю римского колониста в Британии: «Чарующая сила отвратительного».

Сидя на палубе и повествуя об очарованных странствиях в далеких землях, Флягин — одновременно свидетель и агент колониализма, Марлоу и Курц в одном лице. Но Флягин еще и туземный информатор, говорящий продукт природы — позиция, отсутствующая в «Сердце тьмы», где черные субалтерны молчат. В отличие от Флягина Марлоу и Курца не пороли; в отличие от черных жертв Курца и вшивых жертв Пизарро, Флягин может рассказать нам свою историю сам. Рассказ Марлоу тоже не из приятных, но он заканчивает его, чтобы говорить от имени тех, кто говорить не может. Русские были одновременно колонизаторами и колонизируемыми, и они могли говорить. И Флягин говорит, пока может.

Глава 12

Жертвенные сюжеты

В 1850 году богатый дворянин Александр Сухово-Кобылин, деливший время между переводами из Гегеля и распутством в высшем свете, избавился от любовницы-француженки. Он привез ее из Парижа в Москву, прожил с ней несколько лет и был к ней более или менее привязан, но в этот момент у него были и другие связи. Француженку нашли на дороге с перерезанным горлом и следами побоев на теле. Хотя Сухово-Кобылин обвинил в убийстве своих слуг и подкупил полицейских, подозрение пало на него. Следствие длилось семь лет и закончилось тем, что и Сухово-Кобылин, и его крепостные были оправданы. До наших дней ученые спорят, кто убил Луизу Симон (Murav 1998; Селезнев, Селезнева 2002). Находясь в заключении, Сухово-Кобылин начал писать комедию, потом другую. Его знаменитая трилогия заняла тридцать лет работы. В первой комедии богатая невеста, соблазненная мошенником, едва спасается от смерти. Во второй ее отец отдает свое состояние, чтобы спасти дочь от полиции, и умирает. В третьей полицейский офицер превращается в оборотня, инсценируя свою смерть и воскрешение. С 1850-х по 1880-е годы женские персонажи отступали в этом цикле на второй план, позволяя корыстным и безумным мужчинам уничтожать самих себя без всякой помощи с их стороны. С характерной для этого автора черной иронией, эпиграф к трилогии взят из Гегеля: «Кто разумно смотрит на мир, на того и мир смотрит разумно».

Русская беллетристика интересовалась имперским опытом не меньше историографии. Однако в отличие от исторической нон-фикшн роман всегда связывает отношения между народом и империей с отношениями между мужчиной и женщиной. Ключевыми элементами национальной образности были две

романтические и колониальные темы: русская женщина как трагическая жертва и русский крестьянин как благородный дикарь. Великие писатели посвящали этим темам свои произведения, и эти темы делали их великими писателями.

Контактная зона романа

Изучая литературу путешествий, Мэри Луиза Пратт ввела понятие контактной зоны, определяемой как «пространство, в котором народы, исторически и географически разделенные, входят в контакт друг с другом и устанавливают длительные отношения, часто в условиях принуждения, расового неравенства и неразрешимого конфликта» (Pratt 1992: 6). Такой зоной контакта был и русский роман, в котором разворачивались конфликтные отношения исторически и культурно разделенных людей, мужчин и женщин. Рассуждая об исторической поэтике романа, Михаил Бахтин среди прочих «устойчивых хронотопов» выделил хронотоп дороги. В классификации Бахтина роман путешествий развивается по двум направлениям: в первом случае «дорога проходит по своей *родной стране*, а не в экзотическом *чужом мире*», во втором — «аналогичную дороге функцию... несет “чужой мир”, отделенный от своей страны морем и далью» (Бахтин 1975: 392—394). В обоих случаях, считал Бахтин, герой сознает экзотическую природу происходящего, но в первом типе романа это «социальная экзотика», а во втором — экзотика природная и этнографическая, связанная с далекими путешествиями.

Примером первого, «внутреннего», типа романа был «Вильгельм Мейстер» Гете, а второго, «внешнего», — «Робинзон Крузо» Дефо. Все примеры из русской литературы, которые приводит Бахтин, от Радищева до Некрасова, относятся к внутреннему типу. Путешествие в социальном пространстве, от одного класса к другому, для романа — такая же выгодная стратегия, как и путешествие в пространстве географическом, меж-

ду континентами. Дорога принимает на себя функцию острания; повседневное в ней становится экзотичным, надоевшее — новым и интересным. Эти идеи у Бахтина связаны с другим типологическим нововведением — «идиллическим хронотопом». Литература, писал Бахтин в 1937 году, создавала различные типы идиллий «со времен античности и до последнего времени», а литературоведы не поняли и не оценили «значение идиллии для развития романа». Из-за этого, пишет Бахтин, «искажены все перспективы» в истории романа. Бахтин сосредоточивается на одном из главных спектров идиллии: «Человек из народа в романе очень часто идиллического происхождения». Соответственно, идиллия противопоставлена утопии по хронотопу: утопия находится на далеких островах, идиллия — в местной глубинке. Бахтин кратко рассматривает «сублимацию идиллии» у Руссо, «возвращение идиллии» у Толстого и «крушение идиллии» у Флобера. Далее он утверждает, что «в русской литературе, конечно, хронологические границы этого явления сдвинуты ко второй половине XIX века», когда роман был во власти «идиллического комплекса» (1975: 384).

Развивая эти идеи, я хочу отметить, что в русском романе Человек из Народа обычно противопоставлен Человеку Культуры. Каждый из них по определению живет в своей среде, а встречаются они в контактной зоне романа. Сводит их род занятий или случай, но чаще всего — «дорога». В романных сюжетах эти два типа персонажа, Человек Культуры и Человек из Народа, вступают в разные отношения, от смертельного соперничества до спасительного братства. Один из этих типов исторический, а другой — идиллический. В своем времени обычно укоренен Человек Культуры, а Человек из Народа обладает надъисторическими, хоть и национальными чертами. Наделенный способностью и желанием перемещаться в культурном пространстве, Человек Культуры проникает в идиллическое, вневременное пространство Человека из Народа, где рискует остаться.

Любовь мужчины и женщины — вечный предмет романа. Тем не менее франко-американский теоретик литературы

Рене Жирар (Girar 1965), которого первоначально, как и Бахтина, вдохновлял Достоевский, показал, что эротическое желание в романе нуждается в медиаторе. Чтобы рассказать историю любви, роману требуются не два персонажа, а три. Соперничество двоих мужчин за любимую женщину порождает парадоксальный эффект медиации. Между мужчинами, которые пытаются превзойти и устранить друг друга, возникают отношения взаимозависимости. Иногда читатель даже начинает подозревать, что женщина, предмет их страсти, не имеет в романе особого значения. В разных текстах отношения между соперниками интерпретируются как мистические, политические или эротические. Жирар объясняет эту триангулярную структуру в целом, а меня интересует ее специальная модификация, свойственная русским романам XIX века.

Согласно теории Жирара (Girar 1965, 1995), если общество не может достичь мира с помощью закона и суда, оно приводит в действие древний механизм жертвоприношения, понимаемого как коллективное участие в акте насилия. Исторические общества от человеческого жертвоприношения перешли к животному, а затем от реальной жертвы — к символической. Что происходит в светском обществе, где религиозные обряды значат все меньше, но судебная система остается слаборазвитой? В таком обществе можно ожидать неконтролируемый рост насилия и его символических субститутов. А может быть, сам роман является механизмом замещения жертвоприношения? Здесь ради коллектива умирают не люди, а их репрезентации. Наряду с драмой и оперой, где работали сходные механизмы, в XIX веке роман был одним из средств жертвоприношения. В следующем столетии эта роль перешла к кино. Конечно, не в каждом романе в конце появляется труп, но таких романов много. А у трупа всегда есть пол.

«Человек из народа появляется в романе как носитель мудрого отношения к жизни и смерти, утраченного господствующими классами», — писал Бахтин (1975: 384). Чаще всего этот загадочный персонаж обладает мистической и угрожающей

властью, которая делает его подобным Богу Отцу. Отношения между героями построены по модели Книги Бытия. Человек Культуры, потомок согрешившего Адама, спорит с Человеком из Народа за власть над русской Евой, бесклассовым, но национальным объектом желания. Гендерная структура пересекается с классовой, и обе они заключены внутри национального пространства, которое символизирует Русская Красавица. Иногда она пассивна, но чаще ей предоставлено право делать выбор между соперниками-мужчинами.

Взаимодействуя с типическими хронотопами и реальными историческими ситуациями, этот треугольный сюжет создает огромное разнообразие русского романа. Конечно, такое прочтение упрощает дело: есть романы, у которых мало общего с нашим сюжетом, а в тех, которые в целом соответствуют схеме, есть много персонажей и сюжетных ходов, не вмещающихся в триангулярную модель. Однако я покажу, что в ее многообразных осуществлениях эта нарративная структура отражает тонкие особенности внутренней колонизации и их развитие в большом историческом времени. В финале этих богатых, разветвленных нарративов мы часто можем разглядеть древний мотив жертвоприношения, разрешающий проблему, которую Жирар определил как «жертвенный кризис». В зависимости от того, кого именно роман приносит в жертву — Человека из Народа, Человека Культуры или Русскую Красавицу, — можно выделить несколько типов триангулярного сюжета. Еще одна гипотеза состоит в том, что на протяжении XIX века в роли романной жертвы персонажи-мужчины постепенно замещали женщин.

Дар и милость

В 1882 году французский историк Эрнест Ренан определил «нацию» через общий опыт страдания и жертвоприношения. «Общее страдание сильнее объединяет, чем радость... Нация — это великая солидарность, основанная на чувстве

жертвы» (Renan 1996: 53). Ренан имел в виду войны и революции, но в вымышленной жизни, которую создает культура, эти жертвенные нарративы проигрываются без пролития настоящей крови. За сорок лет до Ренана герой русского романа рассуждал так: «Мы неспособны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастья, потому что знаем его невозможность». Это слова Печорина из «Героя нашего времени» Лермонтова (1840). Среди персонажей, гибнущих по ходу действия этого романа, большинство — женщины; Печорин, вероятно, не считал их «великой жертвой». В поэме «Демон» Лермонтов изображает падшего ангела, влюбленного в женщину Кавказа. Погубленная его возвышенной страстью, она умирает после поцелуя, а Демон в печали улетает. Ничего не случилось: в колонии погибла еще одна женщина. Если бы все произошло наоборот — демон-мужчина, загрязненный низкой плотью, умер, — перевернулся бы ад и содрогнулись небеса, случилась бы своего рода революция. Но в русской литературе такое станет возможным значительно позже, когда возможность собственного счастья соединится с благом человечества, а путь к нему будет открыт великими жертвами. Жертвенная смерть много значила для романтического текста, но не менее важен и выбор жертвы: мужчина это или женщина, человек из высших или низших сословий? Пол и класс жертвы — исторические переменные, ключевые элементы в развитии сюжета.

Пушкин сформировал треугольную конструкцию в «Капитанской дочке»: восставший казак Пугачев — Человек из Народа, молодой офицер императорской армии Гринев — Человек Культуры, и Машенька — Русская Красавица. В народе скрыты ужасающие глубины, тайная сила и невыразимая мудрость; за государством лишь дурная дисциплина и чуждая рациональность. Казак-старовер и романтический бунтовщик, Пугачев пугает и чарует всех, даже Гринева, в остальном верного империи. История разыгрывается в большом имперском пространстве между Санкт-Петербургом и Оренбургом — сто-

лицей, расположенной на периферии, и далекой провинцией в географическом центре империи. В этническом и культурном отношении смесь казаков, башкир и беглых русских, восставших в оренбургских степях, не так уж сильно отличалась от своего противника — нерегулярных частей императорской армии. Обе стороны сражались против своих, и все же их борьба принадлежит истории колониальных войн. Многие персонажи «Капитанской дочки» — и пугачевцы, и армейские офицеры — начали императорскую службу во время Семилетней войны с Пруссией (Кретинин 1996). Гринев очень похож и на исторического Болотова, только родился двадцатью годами позже, и на своего ровесника Державина. Бунтовщики носят русские бороды и восточные штаны — татарские шаровары у Пугачева, киргизские у его товарища. Пушкин описывает бунтовщиков со смесью ориенталистских предрассудков и уважения, а русских и немцев, которые представляют имперскую власть в степи, с немалой иронией.

«Капитанскую дочку» надо перечитывать в сравнительном контексте таких событий, как более позднее восстание сипаев в британской Индии (1857), которое сейчас называют Первой войной за независимость. В британских нарративах о восстании сипаев обычен мотив ужасных казней и изнасилований, которым подвергались англичане и англичанки в крепостях, захваченных повстанцами (Sharpe 1991). То же мы видим и в «Капитанской дочке», с одним исключением: Машенька, захваченная Пугачевым, остается цела и невредима. На фоне жуткого насилия, натурально показанного Пушкиным, отсутствие насилия в отношении желанной всеми Машеньки является своего рода минус-приемом. Честь героини критически важна не только для героев повести, но для всей ее конструкции. Спасая Машеньку, Пушкин дает ей возможность рассказать о своей истории самой императрице, призывая ее — и читателя — к милости к восставшим и павшим. Сюжет полон перемещений в культурном пространстве, но самое невероятное из них — сначала в самый низ бунтующего народа, потом

в самый верх имперского порядка — осуществляет женщина. Читатель, знавший реалии крестьянских бунтов, понимал необычность фабулы и, соответственно, мог оценить ее идеологическое значение.

Непроницаемая для имперской власти провинция подчиняется своим правилам обмена, и это касается насилия в той же степени, что и богатства. Во всем тексте «Капитанской дочери» туземные обряды дарения взаимодействуют с рационализмом и правосудием имперского государства, давая им проверку боем. Выявляя эти два конфликтующих принципа, Пушкин пытается найти равновесие между ними. Первый дар в этом романе — пушнина. Гринев жалует Пугачеву заячий тулуп: «Бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком».

Как в исследованиях Марселя Мосса из жизни маори, так и в примерах Пушкина из жизни казаков, дар принуждает к отдаче не в силу внешнего закона, но потому, что вещь — заячий тулуп — несет в себе часть своего владельца и эта часть должна быть возвращена. Два автора — Пушкин и Мосс — почти в равной мере амбивалентны в отношении описываемых обычаев: лучше ли правосудие и расчет, чем милосердие и дары? В туземных обрядах, как и в обычае потлача, каждый ответный дар больше предыдущего. В ответ на заячий тулуп Пугачев дарит Гриневу жизнь и лошадь, а плюс к тому овчинный тулуп. Начиная другую цепь дарений, Пугачев дарит Марье Ивановне честь и дарит девушку Гриневу. В ответ Гринев «пламенно» желает спасти его голову, и вместе с Машенькой они будут молиться о спасении его души. Как формулировал Мосс, дар — это способ «купить мир», тот самый мир, что в цивилизованном обществе обеспечивается государством (Mauss 2002; Bethea 1998). Вернувшись в цивилизацию, Гринев попадает под суд. Оставаясь в мире даров, Машенька просит у Екатерины «милости, а не правосудия». Она получает не только милосердие, но, по правилам ритуального дарения, еще и приданое. Машенька и Гринев спасены и сочетаются законным браком, а Пугачева судят и казнят на эшафоте. С точки зрения героев, автора и

многих читателей, Пугачев был преступником, которого казнил правый суд. Законный конец бурной истории останавливает порочный круг насилия, символизирует восстановление гражданского мира и обещает жизнеспособность колониального порядка. Пушкинский компромисс удался: воображением поколений будут владеть и чернобородый, непостижимый Пугачев, и милосердная, справедливая императрица. «Капитанская дочка» впервые воплотила ужас перед русским бунтом и овеществила столь же знакомую «чару», исходившую от народа (Цветаева 2006).

Почва и жертва

Творчество Достоевского можно расположить между двумя историческими жертвоприношениями: инсценировкой его казни в 1849 году и цареубийством 1881 года, до которого он лишь немного не дожил. Однако в его романах жертвами чаще оказываются женщины. В «Преступлении и наказании» (1866) студент убивает ростовщицу и ее сестру. Тема женского страдания соотносится с другим персонажем — проституткой. Сонечка, жертва социальной несправедливости, противопоставлена жертве убийства, процентщице. Страдает одна, погибает другая, но обе они — женщины. В «Идиоте» (1868) эти темы возвышаются и смешиваются. Кульминацией романа становится убийство Настасьи Филипповны, в которой две черты русских героинь — красота и страдание — доходят до пределов возможного.

В романе три основных персонажа: князь Мышкин, Человек Культуры; купец Рогожин, Человек из Народа, и Настасья Филипповна, Русская Красавица. Действие происходит в Петербурге, куда Мышкин, князь из Рюриковичей, является из Швейцарии, а Рогожин — из глубин русской мистики (его семья связана с сектой скопцов). Загадочная динамика отношений между Мышкиным и Рогожиным в лабораторном виде пред-

ставляет структуру внутренней колонизации. Начавшись в поезде (бахтинский хронотоп дороги) и закончившись в постели, втроем с трупом любимой женщины, их отношения показывают стремление к уменьшению культурной дистанции и предупреждение о катастрофических последствиях этого «братания». И вместе с тем дружба-вражда Мышкина и Рогожина представляет собой хрестоматийный, внеисторический пример медиации желания; так Жирар и рассматривал этот сюжет.

Многие любили Настасью Филипповну, но она бросала каждого из них ради другого, а в конце концов выбрала Рогожина. Почему он убил Настасью, вместо того чтобы жениться на ней? Пытаться понять это бесполезно, но Мышкин понимает Рогожина. Почему князь не предотвратил убийства или не отомстил за убитую? Почему он становится соучастником если не убийства, то его сокрытия? Почему он проводит ночь рядом с трупом любимой женщины и ее убийцей? Разумеется, этот опыт для него крайне важен — он сводит Мышкина с ума. Мы чувствуем, что Мышкин понимает причины, по которым Рогожин пошел на убийство, — но почему он это сделал, мы не узнаем ни от Мышкина, ни от Рогожина. Почему они не разговаривают об этом? Мы лишены возможности понять эти события изнутри, потому что в этой ситуации и персонажи, и рассказчик, и сам автор отказываются от диалога. В предыдущих сценах мы слышали их голоса. Они совершали тот сложный, но поддающийся передаче обмен внутренними позициями, в котором Бахтин нашел ключ к прочтению Достоевского. Убийство Настасьи становится не частью и результатом человеческого диалога, а просто тем, что произошло. Оно доступно только внешнему наблюдению. С жертвой не разговаривают: где совершается жертвоприношение, там кончается диалог. Здесь Бахтин перестает работать, и ему нечего сказать о финале «Идиота». Здесь Бахтина дополняет Жирар.

Автор наделяет Мышкина и Рогожина всевозможными различиями: они принадлежат к разным сословиям — старому дворянству и развивающемуся купечеству, к разным религиоз-

ным традициям — высокому православию и таинственному культу, у них противоположные темпераменты. Но, объединенные любовью к Настасье Филипповне, они подобны двойникам. Они обмениваются нательными крестами, исполняя ритуал братания, и вместе читают «всего Пушкина». Благодаря соперничеству, дружбе и взаимному влиянию, они перерастают личностные границы. Их отношения — диалогические и идеологические, и прояснить их сущность помогает чтение Бахтина. Однако объяснить их невозможно без отсылки к третьему лицу — женщине, которую оба любят. Этот процесс можно объяснить с помощью важного для Жирара понятия — «миметического желания». Жирар настаивает, что в таком желании смешиваются два компонента — стремление к предмету желания и состязание с соперником — до такой степени, что одно невозможно отделить от другого. Миметическое желание триангулярно, и по мере того, как развивается страсть к общему предмету, соперники все больше зависят друг от друга. По словам Жирара, миметическое желание заразно, и только жертва может остановить его эпидемию. Миметическим братьям Рогожину и Мышкину, которые соперничают и сотрудничают в своей страсти к Настасье, соответствуют миметические сестры Настасья и Аглая, чья страсть направлена на Мышкина. Настасья оказывается в центре этой сети и логично оказывается ее жертвой. Важно то, что в «Идиоте» никто не говорит, что Настасья заслужила такую судьбу. Жертвоприношение — это не наказание и не месть; лучшие жертвы всегда невинны.

Иррациональность этих отношений в равной мере создается всеми тремя сторонами. Мы никогда не поймем, зачем Мышкин женится на Настасье, почему она бежит из-под венца, почему ее убивает Рогожин, почему его прощает Мышкин. Действию давалось множество частичных объяснений: гомосексуальное влечение героев друг к другу; классовая борьба между дворянством и буржуазией; конфессиональный спор, заканчивающийся скопческой инициацией Настасьи Филипповны... Не пытаюсь дать еще одно объяснение или заранее

признавая его частичность, я предлагаю всерьез перечитать страстные речи Мышкина.

В романе есть знаменитый эпизод с участием князя Мышкина, столичного общества и китайской вазы. Рогожин отсутствует, но о нем постоянно говорит Мышкин. Светское собрание состоит из генерала с немецким именем, барина-англомана, русского поэта из немцев. Барин-англоман недовольтно рассказывает «о каких-то беспорядках по помещичьим имениям» и с сочувствием упоминает родственника, принявшего католицизм. Мышкин отвечает, что католичество есть нехристианская вера и оно порождает социализм. Он утверждает: «Надо, чтобы воссиял в отпор Западу наш Христос», а «кто почвы под собой не имеет, тот и от Бога своего отказался». В этой речи Россия предстает как истинный Восток, а Бог — как «наш Бог». В тотемных культах не наш бог вообще не является богом. Религия неотделима от политики, обе связаны с географией и все три замкнуты на национальной идее. Мышкин также говорит, что «у нас образованнейшие люди в хлыстовщину даже пускались». Имея в виду Рогожина, Мышкин открывает аудитории идею внутреннего ориентализма: «Откройте жаждущим и воспаленным Колумбовым спутникам берег Нового Света, откройте русскому человеку русский Свет, дайте отыскать ему это золото, это сокровище, сокрытое от него в земле!» (Достоевский 1973: 8/446—453) Главное колониальное событие — открытие Америки — переносится на Россию: ее внутренние губернии, куда недавно путешествовал Мышкин, неизвестны и многообещающи, как Новый Свет. В их глубине нужно открыть духовное Эльдorado, которое воскресит Россию и мир. Но петербургское общество не дает истинно русским людям достичь такого преобразования. Как говорит Мышкин:

Я боюсь за вас, за вас всех и за всех нас вместе. Я ведь сам князь исконный и с князьями сижу. Я, чтобы спасти всех нас, говорю, чтобы не исчезло сословие даром, в потемках, ни о чем не догадавшись, за все бранясь и все проиграв (Достоевский 1973: 8/458).

Дворянское сословие внутренней колонизации, предупреждает Мышкин, проиграло свою игру. Его может спасти только паломничество на восток, во внутренние российские земли. Скоро, в 1874 году, такое паломничество — хождение в народ — совершат многие. Под «народом» они тоже, как Мышкин, часто имели в виду скопцов, хлыстов и другие секты (см. главу 10).

Позитивный ориентализм имперской элиты есть характерная черта позднего периода колонизации, одновременная националистическим движениям в колониях. От Руссо до Леви-Стросса романтизация далеких, доблестных дикарей была важным элементом западной традиции. Россия внесла сюда свой вклад, как всегда центростремительный. Утопии — по своей этимологии, места без места — помещались далеко в пространстве или времени; идиллия, наоборот, определяется местом, которое близко, но все равно недоступно. Мышкин хочет быть русским Колумбом; Рогожин хранит свои сокровища, но, как Монтесума, готов дарить их тому, кто правильно попросит, и примерно с теми же последствиями. Между тем столичный свет, не замечая подлинной идиллии, молится на ложных идолов, вроде «огромной, прекрасной китайской вазы, стоявшей на пьедестале». Это внешний ориентализм, его можно разбить одним экстатическим жестом, тогда откроются внутренние сокровища, что и делает Мышкин на вершине своего экстаза. Он весь обращен к востоку общинного народа, а китайщина только помеха для русского паломника. Восток раздвоен: одна его версия воплощена в китайской вазе, другая — в речах Мышкина.

«Идиот» есть, как давно сказано, идеологический роман. В идеологическом обмене — один из смыслов странного союза между Мышкиным и Рогожиным. Князь прочел купцу «все» Пушкина, а тот рассказал ему о единстве Бога и почвы. Все это не объясняет, конечно, зачем же убивать Настасью Филипповну. Этот акт разрешает проблему нашей треугольной структуры страшным способом: жертвой становится невинная женщина. Это самый тяжкий из возможных исходов ритуального действия; составляющие жертвенное сообщество, Мышкин и Рого-

жин ненадолго переживут свою жертву. Жуткий конец романа — доказательство того, что его автор не верил в воскресение человечества «русской мыслью, русским богом», а вложил эту веру в уста карикатурных убийц. Такая вера ведет к жуткому злодеянию, что вполне ее разоблачает. Конечно же, Мышкин не был Христом, а писатель не был идиотом, какими он и его герой предстают в столь многих толкованиях.

Настоящий день

Если социальные науки нуждаются в статистических критериях, чтобы показать значимость наблюдаемых различий, науки гуманитарные полагаются на память читателей и вековую работу отбора, которую она производит. Когда читатель думает о русском романе или драме 1860—1870-х годов, на память приходят смерти героинь: самоубийство в «Грозе» Островского, убийство в «Идиоте» Достоевского, самоубийство в «Анне Карениной» Толстого... Слишком много Офелий, слишком мало Гамлетов. Историк европейской оперы подмечает, что для шедевров оперы XIX века часто была характерна похожая фабула «уничтожения женщин» (Clement 1988). В «идиллической», по Бахтину, русской литературе этого времени насильственной смертью тоже умирали именно женщины.

Критика того времени знала об особой роли, которую русская литература отводила женщинам. В трагедии Островского «Гроза» (1859) мы видим адюльтер в семье волжских купцов; в финале любовник едет торговать в Сибирь, на границу с Китаем, а любовница кончает с собой, бросаясь в Волгу. В рецензии на пьесу радикальный критик Николай Добролюбов рассуждал о том, что два состояния — мужское «самодурство» и женский «решительный, цельный... характер» — взаимодействуют таким образом, что могут привести только к смерти женщины. Предвосхищая метафору «сердца тьмы» у Конрада и «темных времен» у Арендт, Добролюбов называет провинциальную Россию

«темным царством». Луч света в нем — женщина-самоубийца: «Нам отрадно видеть избавление Катерины — хоть через смерть, коли нельзя иначе» (1962: 6/362). Высок должен был быть уровень отчаяния, чтобы автор и публика разделяли эту радость в связи с доведением женщины до самоубийства.

Вместо того чтобы дать «реалистический анализ социальных проблем», который считался задачей литературы, пьеса Островского, статья Добролюбова и роман Достоевского создали простые, легко запоминающиеся символы человеческого страдания. На пороге 1861 года и освобождения крестьян обществу были нужны сильные жесты самообвинения. Видя страдание и гибель женщины, публика ощущала свою вину. Она надеялась, что власть изменится, изменится и публика; но, пока этого не произошло, женщины продолжали умирать на сцене и в романах. Коллективное участие в обрядах жертвоприношения, которые проводила высокая культура, инсценировало всеобщую вину, пересказывая длинную и трудную историю в простом мелодраматическом нарративе, сплачивая публику и создавая ощущение «реалистического» понимания жизни.

Но самые радикальные мыслители смотрели дальше. В статье «Когда же придет настоящий день?» Добролюбов критиковал роман Тургенева «Накануне» (1860) за то, что там выведена очередная красивая и страдающая русская женщина. Она полюбила революционера, но он был иностранцем, болгарским националистом, и увез Елену бороться за свободу своей родины. Русский критик завидует герою-болгарину, который живет и борется в союзе с представителями других социальных слоев, так как у них есть общий враг, внешний колонизатор. «Такой монотонности вовсе нет в русской жизни, в которой каждое сословие, даже каждый кружок живут своею отдельною жизнью, имеют свои особые цели и стремления, свое установленное назначение». Настоящий день придет, предрекает критик, когда русские начнут вместе сражаться со своим «внутренним врагом». Но это дело будет нелегким. Добролюбов сравнивает общество с пустым ящиком, который легко пере-

вернуть снаружи, но трудно сдвинуть, если сидеть внутри него. Легче быть националистом и сражаться с иностранными угнетателями, чем сражаться с ними там, внутри:

Русский же герой... сам кровно связан с тем, на что должен восставать. Он находится в таком положении, в каком был бы, например, один из сыновей турецкого аги, вздумавший освободить Болгарию от турок... нужно, чтобы он отрекся уж от всего, что его связывало с турками: и от веры, и от национальности, и от круга родных и друзей, и от житейских выгод своего положения. Нельзя не согласиться, что это ужасно трудно и что подобная решительность требует несколько другого развития, нежели какое обыкновенно получает сын турецкого аги (Добролюбов 1962: 6/163).

Женщины в России сильнее мужчин, потому что они больше похожи на болгар под властью турок: внешняя колонизация прояснила их положение и сделала возможным героизм. Для критика 1860-х годов колонизация и гендер были связаны друг с другом. Женщины угнетены извне, мужчины изнутри. «Настоящий день» придет, когда мужчины, подобно сыну турецкого аги, восстанут против «своих», отрекшись от множества связей и выбравшись таким образом из ящика, который не перевернуть изнутри.

«Катехизис революционера» — программный документ русского политического терроризма, написанный Сергеем Нечаевым в 1869 году, — призывал к новым жертвам: «Революционер — человек обреченный. Беспощадный для государства и вообще для всего сословно-образованного общества, он и от них не должен ждать для себя никакой пощады... Он каждый день должен быть готов к смерти... Денно и ночью должна быть у него одна мысль, одна цель — беспощадное разрушение» (Нечаев 1997: 244). В этом тексте нет гендерной амбивалентности. Обе роли в акте жертвоприношения — палач и жертва — отво-

дятся мужчинам. Рубя связи со своим сословием, они должны были вновь разрушить общество до состояния *terra nullius* в надежде на то, что новый мир построит сам себя и будет лучше прежнего. Поздний, но все еще актуальный образ этой деятельности представил Андрей Белый в «Петербурге», где сын собрался взорвать собственного отца, руководителя учреждения, очень похожего на Министерство внутренних дел.

Жертвоприношение Человека из Народа возвращало политическое равновесие, давая надежду на сохранение имперского порядка. Жертвоприношение невинной Красавицы поднимало сюжет на уровень финальной, апокалиптической катастрофы. Жертвоприношение Человека Культуры — победа колонизованного народа, которому не может и не хочет противостоять элита метрополии. Одержимая чувством исторической вины, эта элита возглавила собственное разрушение, организовала свое самопожертвование. Примером такого текста может быть «Серебряный голубь» Андрея Белого, в котором мы снова находим знакомую треугольную структуру. Дарьяльский — поэт-символист и типичный интеллеktуал из поздних народников. Идиллия, которая влечет его столь же неудержимо, сколь и бессмысленно, объединяет три вектора — мистический, политический и эротический. Как мудрый Человек из Народа, Кудеяров описан в более выразительных деталях, чем Пугачев или Рогожин. Но Матрена, предмет губельной страсти Дарьяльского, безлика. Единственный ее секрет — кем она приходится Кудеярову: любовницей? дочерью? духовной сестрой?

Новое решение треугольного сюжета в том, что в жертву приносится Человек Культуры, и оно несет новый смысл. Как этого хотел, но не сумел сделать Мышкин, Дарьяльский спускается «в глубины» мистического сектантства. Его гуру, Кудеяров, близок к хлыстам, и их ритуалы автор описывает со множеством этнографических деталей. Как и его эрудированные современники, Андрей Белый был знаком с трудами Дюркгейма о религии и с работами классицистов XIX века об искупитель-

ном действии языческих жертвоприношений. Пытаясь постичь и перенять веру народа, культурный герой Белого слепо сотрудничает в приготовлении ритуального убийства самого себя. Когда оно свершается, полная его бесцельность подчеркивается повествованием: вместо вагнеровской сцены искупления и разрыва Белый пишет унылый, очень реалистичный образ банальности зла. Жертва напрасна, искупления не происходит, и мир продолжается без Дарьяльского. В очередной раз поиск народной традиции привел интеллектуала в тупик, а прохождение им контактной зоны — к насилию. Конструируя этот сюжет, Белый использовал воспоминания о хождении в народ и богатую этномифологию российских сект (см. главу 10). Готовя революцию, интеллигенция — сословие людей, чье существование оправдывалось их колонизаторской ролью в отношении народа, — пыталась найти религиозный или политический смысл в своем самопожертвовании. Предупреждая о последствиях одновременно со сборником «Вехи», который рассказывал о той же ситуации на языке политической философии, Андрей Белый деконструировал саму идею жертвы. Убийство Дарьяльского показано как злодейство, за которым не видно традиции и ритуала, а только нелепое совпадение двух разных вер, народной и народнической.

Дарьяльский и его убийца Кудеяров во всем отличны друг от друга, кроме расы и пола. В зоне их контакта колония отстоит от метрополии на считанные версты, и люди глубоко различной природы имеют один цвет кожи. Это парадоксальная ситуация внутренней колонизации, делающая ее столь пригодной для тонкой литературной обработки. Смысл «Серебряного голубя» станет более ясным, если сравнить его с «Сердцем тьмы» Джозефа Конрада; к тому же возможно, что Белый читал эту книгу (Лавров 2004). У Курца была своя чернокожая красавица, но все туземцы в этом тексте безымянны, и мы не видим ни одного отдельно взятого колдуна, а тем более соперника Курца. Белый же показывает Дарьяльского в детальном контексте хлыстовских ритуалов. Духовная власть их лидера Кудеярова над интел-

лектуалом Дарьяльским — очередной пример отрицательной гегемонии — в повести абсолютно ясна. Религиозные новации Курца были «эффективны»: с помощью изобретенных им ритуалов он собирает слоновую кость. Колониальная власть требует не искоренять местные обычаи, но реконструировать их изнутри и дать возможность Человеку Культуры эксплуатировать их в своих особых интересах. Дарьяльский потерпел неудачу там, где Курц одержал победу. Но, как показывают литература и история, оба проекта были обречены.

Двойник и чудовище

Доведенная до крайности, ситуация внутренней колонизации возвращает нас к идеям Жирара о «кризисе различия» и «чудовищном двойнике». В мифологии и литературе, пишет Жирар, двойник и чудовище — часто одно и то же, и никто не понимал их динамики лучше, чем Достоевский (Girar 1995: 160—161). Жирар не объясняет, почему Достоевскому удалось достичь того, что не получалось у других авторов, начиная с Софокла? Новое прочтение ключевого для Достоевского текста — повести «Двойник» — помогает понять исторические источники его вдохновения.

Как и в «Носе» Гоголя, герой — мелкий петербургский чиновник Голядкин — встречает своего двойника. Этот клон носит то же имя и занимает ту же должность, но ведет себя попеременно как друг и враг. Хуже всего то, что двойник всегда быстрее и умнее оригинала и его больше любят. Голядкин, разумеется, сумасшедший, но не понимает этого. Для него эти настойчивые появления двойника — личная и всеобщая катастрофа, переворот в самом сердце социального порядка. Он поражен, что другие не разделяют его чувства. Сюжет развивается в тесном социальном пространстве, которое определяется как перевернутая пирамида власти, от толпы начальников Голядкина, которые все одинаковы, до его слуги Петрушки. Го-

лядкин недоволен собой и своим местом в мире, всегда пытается быть кем-то другим, занять чужое место, стать самозванцем. Он нанимает карету, приличную более высокому чину, бесцельно гоняет ее по городу, приценивается к дорогим и ненужным вещам, обещает прийти и заплатить и не делает этого. Живя в системе сословий и чинов, Голядкин пытается быть кем-то другим, за что его наказывает другой, становясь им самим, — его двойник.

Голядкин живет в Петербурге, но родом «не здешний», что делает его чужим для коллег, которые чуть раньше приехали в столицу. И все же он дворянин, у него есть квартира, слуга и сбережения. Согласно Табели о рангах он имеет девятый чин титулярного советника, что давало ему личное дворянство со многими сословными правами, в том числе свободой от телесных наказаний. Следующий, восьмой, чин коллежского асессора, дававший потомственное дворянство с правом владеть крепостными (тот самый, что получил гоголевский Ковалев за свою службу на Кавказе), Голядкин никогда не получит. И все же он по закону и статусу — господин, только его разум и речь настолько разрушены, что Голядкин выглядит и говорит так, будто себе не принадлежит: два, но меньше чем один. Теперь, когда Голядкин одновременно находится в двух местах, взгляд власти не может контролировать его. За это он дорого заплатит.

Горизонтальные отношения у Голядкина складываются только с его клоном, только тот его понимает, когда хочет. Субъективность Голядкина ужасающе безмирна, что характерно для русских историй с двойниками. Голядкин и так лишен любопытства, а по мере того, как его мир сосредотачивается на двойнике, его интерес к своим и чужим делам совсем пропадает. В повести нет ни слова о крепостных, чей далекий труд снабжает жалкое существование чиновника предметами необходимости, а иногда и роскоши; слуга Петрушка — постоянный предмет соперничества Голядкина с его двойником. Из текста мы так и не узнаем, в каком министерстве служит Голядкин, но его немногие интересы связаны с Востоком, как его тогда по-

нимали в России. Беседуя между собой, два Голядкина упоминают Турцию, Индию и Алжир, причем всегда делают это в неприязненном, ориенталистском ключе. Единственный писатель, которого Голядкины называют по имени, — плодовитый автор, цензор и востоковед Осип Сенковский, учитель целого поколения российских ориенталистов, писавший под западническим псевдонимом барон Брамбеус. Вслед за этим автором Голядкин и его двойник «много смеялись над простодушием турков», хотя «не могли не отдать должной дани удивления их фанатизму, возбуждаемому опиумом». Голядкин полагает, что «Россия с часу на час идет к совершенству», но, рассказывая двойнику о чудесных увеселениях столицы, он называет одну только картину Карла Брюллова «Последний день Помпеи», возвышенный образ приближающейся гибели имперской цивилизации. Подобно многим читателям Сенковского, Голядкины самоутверждаются за счет тех, кого считают ниже себя, потому что те — более восточный народ, чем русские. Возможно, Достоевский писал здесь сатиру на Азиатский департамент Министерства иностранных дел, где служили несколько его товарищей по кружку Петрашевского.

В конце повести начальство увольняет Голядкина-оригинала и берет на его место Голядкина-двойника. Оригинал отправляется в сумасшедший дом, и лечащий врач Голядкина, воплощение его ужасов, носит имя Рутеншпиц, перевернутый двойник слова «шпицрутен». В этой фантазии раннего Достоевского скрыта мрачная антиутопия. Чтобы его слышали и понимали, субалтерну нужны равные. Если равных ему нет, он создает их. Но последние могут подчинить его новому угнетению, которое будет подобно старому, колониальному угнетению неравными, или еще хуже. Под влиянием скорее Фанона, чем Достоевского Хоми Баба писал, что в колониальной ситуации «вместо символического бессознательного, которое придает знаку идентичности его целостность и единство, его *глубину*, мы наблюдаем раздвоение» (Bhabha 1994: 71). Но фантазия Достоевского заходит дальше, чем теория Бабы. Ум-

ножение Голядкиных не останавливается на двойнике: по мере того как его бред прогрессирует, он видит все больше своих клонов. Петербург наполняется ими, они слетаются вместе, подобно гусям, и гонятся за Голядкиным. Полицейский отправляет их в тюрьму, но тщетно. Пародируя социализм Фурье и его российских последователей, в которых в это время разочаровывался Достоевский, отчаяние Голядкина размножало его симулякры. Когда рушится личность, ее раскол порождает двойника, а затем их множество — общество неразличимых копий. «Страшная бездна совершенно подобных», — пишет Достоевский о голядкинском опыте (1993: 1/242): пророческая картина тоталитарного общества, которое здесь представлено размножением двойников.

Читателей всегда удивляло, насколько напряженным было соперничество Голядкина с собственной копией. Как писал Михаил Бахтин в своей блестящей статье о «Двойнике», в сознании героя «власть... захватило вселившееся в него чужое слово». «Чужое слово» — одна из любимых и часто употребляемых идей Бахтина, но здесь она приобретает политическое, колониальное значение, означает поселенца извне, оккупанта, захватчика. Согласно Бахтину, три голоса вступают в диалог в сознании Голядкина: голос, который утверждает его независимость от чужого слова тех, кто обладает властью; голос, который притворяется, что Голядкин равнодушен к чужому слову; голос, который имитирует чужое слово, как будто оно принадлежит самому Голядкину. Эти три голоса моделируют динамику внутренней колонизации, с присущими ей доминированием, сопротивлением и отрицательной гегемонией. Захваченная и заселенная чужим голосом, субъективность приходит не к автономии и диалогу, а к двойничеству, безмирности и безумию.

Историю Голядкина рассказывает нам внешний наблюдатель, которому (как это бывает в романе) принадлежит повествовательная и дисциплинарная власть над героем. Такой наблюдатель похож на врача или детектива, который реконструирует внутреннюю жизнь другого человека по ее

внешним проявлениям. Но Бахтин показал, что этот рамочный, объективирующий нарратив в «Двойнике» смешивается со словами, которые могут принадлежать одному Голядкину. Круг замыкается: голос власти заражен безумием жертвы. Одновременно с бахтинским открытием диалогизма Достоевского Вальтер Беньямин писал о том, как советские кинорежиссеры сталкивались с неспособностью русских крестьян «следить за двумя одновременными нитями повествования» (Benjamin 1999: 13). В сущности, «диалогизм» Бахтина — адекватный ответ на эти заботы московских друзей Беньямина: способность субъекта следить и развивать «две одновременные нити», не уходя в двойничество. Если утомительные беседы Голядкина со своим клоном иллюстрируют подмеченную Беньямином проблему, то направленность Бахтина на открытый, творческий диалог с *Другим* можно считать ее решением. Этот процесс всегда сопротивляется монологическому голосу власти.

Читатель Достоевского чувствует, что из страданий Голядкина нет выхода именно потому, что его преследует двойник, абсолютно точный и странно современный клон, а не старомодный монстр, какого изображали Гоголь и готические предшественники Достоевского. Монстры игривы и живописны; они гибриды человека и *Другого* — зверя, духа, технического устройства; они приходят издалека и туда вернуться, как трансильванские вампиры или гаитянские зомби. Монстров можно исследовать и усмирять; двойников колонизовать нельзя, потому что они сами — неудачный продукт колонизации. Как учат нас фильмы ужасов, «превратить двойника обратно в монстра — значит сохранить остаточное ощущение самого себя как цельного субъекта» (Coates 1991: 87; см. также: Webber 1996). Именно это не удается Голядкину. Внешнюю колонизацию символически представляет гибрид, внутреннюю — двойник. Кольцевой характер этого воображения соответствует рефлексивному характеру самоколонизации, которая всегда пытается определить отличного от себя другого, но приходит к двойнику самого себя. Читатели Бахтина и Достоевского используют

понятие диалога как парадигму постколониальной утопии, доказательство того, что человек способен относиться к другому как к *Другому*. «Двойник» стал черновиком посттоталитарной антиутопии, хроникой распада человека, когда из него изгнан *другой*. Как писал Жан-Поль Сартр, «европеец смог стать человеком, только создавая себе рабов и монстров» (Sartre 1963: 22). А разрушал он себя, создавая крепостных и двойников.

Двойники и тени, магические вредители и помощники принадлежали фольклору германских и славянских народов, но предметом литературы стали в эпоху пост-Просвещения, с ее навязчивой «тенью колонизованного человека» (Bhabha 1994: 62), — эпоху, которая в России органично совпала с Высоким Имперским периодом. В европейской литературе изобретение двойника приписывают Адальберту фон Шамиссо, франко-прусскому поэту и ботанику. В 1813 году, когда войска Российской империи с боями проходили по его родным землям, он написал «Удивительную историю Петера Шлемиля», продавшего свою тень за неограниченный доступ к золотым монетам. До того он совсем не ценил своей тени, но, лишившись ее, стал тосковать и все пытался вернуть ее обратно; однако сюжет можно понять и в том смысле, что одиноким и несчастным Петера делает его неограниченное богатство. Если явление двойника лишило Голядкина его мира, то потеря тени, наоборот, безмерно расширяет мир Шлемиля: в поиске своей тени он становится ученым, физиком и географом, специалистом по магнетизму. Подобно Франкенштейну, он путешествует через океаны и континенты, хотя в конце истории мы понимаем, что эти странствия лишь плод его воображения. Литературное влияние Шамиссо на русских сочинителей, писавших истории с двойниками, — Антония Погорельского, Гоголя, Достоевского, Ахшарумова — кажется очевидным, хотя всерьез не исследовано. Но вскоре после того, как Шамиссо рассказал о воображаемых путешествиях своего Шлемиля и заключил его в сумасшедший дом «Шлемиум», построенный на его же деньги, он и сам отправился в кругосветное путешествие

на корабле российского флота. За три года (1815—1818) Шамиссо на самом деле посетил Африку, Полинезию, Камчатку и Русскую Америку. В его честь назвали площадь в Берлине и остров в Чукотском море. И будто для того, чтобы сделать историю самого Шамиссо еще более удивительной, корабль, на котором он служил натуралистом, назывался «Рюрик» (Gusejnova 2012).

Проблемой империи было осуществление политической власти в условиях культурного разнообразия и экономического отчуждения. В успехах и неудачах ситуация внутренней колонизации вела к умножению и усложнению различий, опосредовать которые приходилось новому классу имперских администраторов — чиновников, офицеров, миссионеров, ученых. Эти смешанные группы бюрократов и интеллектуалов, пример которым мы видели в Министерстве внутренних дел, действительно производили знание, налаживали управление, выявляли внешних и внутренних врагов. От Державина до Менделеева среди них были лучшие люди России; много было и других. То был становой хребет империи, ее несущий каркас, ее растущий позвоночник. Поэтому на своем огромном пространстве от Пушкина и Гоголя до Белого и Толстого русская литература фокусировала свою оптику именно на этих людях. Подобно биопсии, литературные тексты диагностировали злокачественное развитие в этом новообразовании. Они прогнозировали крах, который случится с имперским организмом именно в этом узком месте; так эти тексты и читали их влиятельные критики, начиная с Белинского. От отчаянного чиновника из «Медного всадника» до его подлого коллеги из «Записок из подполья», от ненадежных Башмачкина, Ковалева, Поприщина до таких оплотов здравого смысла и имперской верности, как Максим Максимыч, Каренин, старший Аبلеухов, — раз за разом и текст за текстом имперская элита не выдерживала имперского бремени. Осуществляя владычество над себе подобными, элита внутренней колонизации переживала его как разрыв внутри собственной субъективности. Напряженные отношения этих людей с государством, частью которого они



Илл. 23. Иллюстрация к «Медному всаднику» Пушкина. Александр Бенуа. 1903.

были так же, как нос был частью майора Ковалева, определяли их двойственные отношения к самим себе. Где бы ни застала этих имперских менеджеров их литературная служба, в столице или в глуши, — неочевидная и непостоянная, но острая как лезвие колониальная граница разрежала этих посредников надвое, оставляя их наедине со своим двойником. В среде внутренней колонизации предельным выражением имперских процессов стало именно размножение двойников, исключаящих обмен, диалог и субъективацию. Обильное и всегда критическое использование двойственных образов тени, оборотня, призрака, ставшее традицией русской литературы, выросло из особенной ситуации, в которой жил и работал этот средний класс внутренней колонизации.

География, история и политика сжали русскую культуру XIX века, создав в ней складки, которые соединили то, что в других имперских культурах разделялось океанами или тысячелетиями. На уровне высокой профессиональной культуры — среди самих авторов и их культурных героев, таких как Гринев, Мышкин и Дарьяльский — развивались рациональность, индивидуализм, письмо и дисциплина. На уровне народной культуры — среди миллионов русских крестьян — своим ходом шла

«восточная», «общинная», «мистическая», «дописьменная» жизнь. Это уровень Пугачева, Рогожина и Кудеярова. И был еще средний уровень имперских чиновников и офицеров, приказчиков и исправников внутренней колонизации, таких как Максим Максимыч, Чичиков и Хлестаков, Ковалев и Голядкин, Каренин и Аблеухов. Их жуткие конфликты развивались в имперском одиночестве, безумии и безмирности. Раздвоенное, как имперский орел, сердце этой тьмы билось именно здесь.

Изображая короткие замыкания жертвоприношения и двойничества, которые пронизывали складки истории, классическая русская литература предвещала глобальную современность, в которой внутренняя колонизация перехватывает эстафету у внешней. Как писал в 1924 году Юрий Тынянов: «Много заказов было сделано русской литературе. Но заказывать ей бесполезно: ей закажут Индию, а она откроет Америку» (Тынянов 2001: 458).

Заключение

Время быстро летит в постколониальном мире. Всего несколько десятилетий назад идея считать даже Украину или Среднюю Азию колониями Советской империи вызывала яростное сопротивление по обе стороны «железного занавеса». В 1990-х годах постколониальные исследователи обсуждали, почему созданные ими концепции нельзя применять к развивающимся странам на постсоветском пространстве. В работах последних лет эти проблемы решены, но возникают новые. Изучая этносы, национализм и суверенитет в постсоветском пространстве, ученые часто не обращают внимания на специфические институты Российской империи, которые на протяжении веков определяли жизнь Северной Евразии и привели ее к революционным событиям XX века. Пример тому крепостное право. Отмененное в то же время, что и рабство в США, но гораздо более масштабное, крепостное право действовало на историю России по крайней мере так же долго и столь же сильно. Однако ни в России, ни за рубежом не появилось ничего подобного американскому вниманию к истории рабства и наследию расизма. В науке двойные стандарты не бывают продуктивны.

Конструктивистская парадигма избегает идей исторической преемственности и культурного наследия, которые вдохновляли прежние поколения советологов. В годы холодной войны многие ученые оправдывали свои занятия, выводя генеалогию советских институтов из истории Российской империи. Недооценивая масштабы изменений и напряженность выбора, который на развилках истории делали правители России и ее народы, такая прямолинейная логика давно уже не выглядит убедительной. Считать советский режим реинкарнацией Российской империи столь же неверно, как и объяснять характерные черты постсоветской России наследием советского режи-

ма. Каждое поколение делает свой выбор в рамках окна возможностей, которое ему досталось от прошлого.

Тем не менее некоторые возможности и ограничения в этой части света оказались удивительно живучими. В географии и культурной экологии России есть преобладающие связи, которые трудно отрицать. Россия приобрела большую часть своей территории до того, как стала империей, и основной причиной такого собирания земель был пушной промысел. Когда этот ресурс истощился, с государством произошла катастрофическая и продуктивная трансформация, заложившая фундамент империи. Это был период многочисленных экспериментов: империя открывала, захватывала, заселяла, возделывала — одним словом, цивилизовала — земли по обе стороны своих движущихся границ. В течение столетий Российское государство сочетало территориальную экспансию с сильной иммиграционной политикой. Оно ввозило людей, расселяло и переселяло их, экспериментировало с разными формами управления населением. Незаконные или организованные, эти массовые движения перекрывали эластичные континуумы внешнего и внутреннего, туземного и зарубежного, освоенного и чуждого. Зоны более ранней колонизации ощущались как свои — недавно захваченные территории — как все еще иностранные. Политические категории пространства выросли из восприятия исторического времени. Большую часть своей тысячелетней истории Кенигсберг был за пределами границ России. Однако российские войска не раз захватывали его, и горожане становились подданными России так же, как ингерманландцы, жившие на территории нынешнего Петербурга, и те финские и славянские племена, что некогда жили на месте Москвы. Категории внешнего и внутреннего менялись местами; военные и политические границы расширялись, но внутренние земли оставались неразвитыми. Их приходилось колонизовать снова и снова.

В середине XIX века колониальную терминологию стали использовать российские историки, а за ними и столичные чиновники (см. главу 4). Как и во Франции XIX века с ее заоке-

анскими колониями (Stoler 2009: 37), русифицированные термины «колонист» и «колония» приобрели множество взаимосвязанных значений. В разных случаях они могли означать сиротский приют в Центральной России, военное поселение в Украине, каторжный лагерь в Сибири, форпост на Кавказе или огромную территорию в Средней Азии. Эта терминология пережила революцию, но оказалась несовместима со сталинизмом. В 1907—1917 годах Переселенческое управление, созданное в 1896 году при Министерстве внутренних дел, издавало официальный журнал под названием «Вопросы колонизации». Государственники и технократы, чиновники этого управления контролировали колонизацию, направленную на реорганизацию внутренних земель России и переселение крестьян в Сибирь, Среднюю Азию и Закавказье (Holquist 2010a). В 1922 году правительство большевиков открыло Государственный научно-исследовательский институт колонизации, который существовал до 1930 года (Рыбаковский 1998; Hirsch 2005).

В XIX веке Россия была колониальной империей, как Британия или Австрия, и одновременно колонизованной территорией, как Конго или Вест-Индия. Русская культура в разные периоды и в разных аспектах была и субъектом, и объектом ориентализма. Основные пути колонизации вели не только за пределы России, но и в ее внутренние земли — в Новгород, Тулу, Оренбург так же, как в Восточную Европу, Среднюю Азию, на Ближний Восток и к Тихому океану. На внутренних землях империя расселяла иностранных колонистов и открывала военные поселения. Там, внутри, российские дворяне владели миллионами душ и наказывали миллионы тел. Там, в глубинных землях империи, эксперты открывали самые необычные общины и собирали самый экзотический фольклор. И именно туда отправлялись российские паломники в поисках самых необычных сообществ. Характерные для колониализма феномены, такие как миссионерство, экзотические путешествия и этнографические исследования, были направлены не только за горы и моря, но и внутрь России. Расширяясь и охватывая огромные

пространства, Россия колонизовала свой народ. Это был процесс внутренней колонизации, вторичной колонизации собственной территории.

В Средние века и в период, известный в других странах как Возрождение, популяции диких, пушистых, драгоценных зверей определяли российскую экспансию. В далеких арктических колониях возникали зимние дороги, меховые фактории и охраняемые склады пушнины. Меха шли на запад и выменивались на серебро и оружие; промышленники шли на восток. Конные сани с мягкой рухлядью играли в Северной Евразии ту же роль, что в южной ее части играли верблюжьи караваны Великого шелкового пути, куда лучше известные истории. Открыв чужое для себя племя, империя не оставляла его в покое. Смешанные, разделенные, уничтоженные или созданные этносы были не сырыми продуктами природы, а блюдами имперской кухни. Этномифологические представления о фольклоре и характере покоренного народа обслуживали интересы власти. Имперские и колониальные элиты определяли себя по контрасту друг с другом и со своими соотечественниками из низших классов. Описанные в главах 5—7, эти процессы задействовали иные механизмы, чем те, что описаны в заморских колониях европейских держав. Как некий структуралист, Российская империя накладывала сословную матрицу на хаотическую мозаику религиозных различий, местных традиций, прав собственности и, наконец, самой географии. Но поток истории, подобно деконструкции в действии, неизбежно смешивал и преодолевал эти схемы.

Как говорили Вальтеру Беньямину его московские друзья, России не стоило интересоваться Востоком потому, что она сама была востоком. Внутреннее противоречие, заложенное в этой формуле, стало постоянной темой русской культуры. Так, в пушкинской «Сказке о золотом петушке» магический помощник, выполняющий функции внешней разведки, кричит «обратившись на восток»: оттуда исходит угроза царству. На деле угроза исходит изнутри, от скопца, члена народной секты. Между

царем и скопцом выстроены все различия, какие только могут существовать между людьми; при этом оба они русские. Царь боится врага, но гибнет в схватке с другом. Он готов воевать на Востоке, но не справляется с колонизирующей ролью в отношении собственного, не менее экзотического народа. В этой истории два востока — один внешний, географический, помещенный в Шемахе (нынешнее Баку), откуда царь получил свою царицу; и другой внутренний, сектантский и столь же чуждый. Русский царь гибнет от их зловещего союза.

Та же двойственность Востока есть и в других шедеврах на эту тему, например в картине Репина «Казачи пишут письмо турецкому султану» (1891). Полномочные представители народа, казаки показаны в образе восточной стихии, детьми природы, неграмотными творцами народной культуры. Их издевательские усилия адресованы субъекту еще более ориентальному, чем они сами, турецкому султану. Его в картине нет, есть только его имя, но это его далекое присутствие/отсутствие приводит в движение всех действующих лиц. Писарь, непохожий на казаков, но похожий на Гоголя, тщится передать карнавал народной культуры правильным канцелярским языком. Все тут славяне, но культурное расстояние между казаками и писарем вряд ли меньше, чем между ними и султаном. В лице писаря Запад, с его письмом и рациональностью, пытается посредничать между востоком казаков и Востоком султана; писарь наверно состоит на службе, но получает очевидное удовольствие от общения с народом. Казак в центре картины выразительно показывает назад: там султан, адресат письма, и там географический восток. Мы вместе с автором оказываемся на западе от казаков. Картина назидательно рассказывает о бессилии письма перед устным словом, профессиональной культуры перед народной, Запада перед Востоком. Восток расщеплен надвое, как в сцене Мышкина с китайской вазой (см. главу 12). Внутренний восток есть предмет восторга и любования; он радикально отличен от Востока султанов, предмета традиционного ориентализма. Сюжет Репина тонок и ироничен, в нем есть и злорадство в

отношении далекой и никчемной власти, и притча о необходимости Запада и письма: всем, и казакам и султану, нужен писарь, и всем нужны художник и зритель. Иными словами, картина читается и как ориентальная утопия типа евразийской, и как ее насмешливая деконструкция. Второй мир обращается к Третьему, но без Первого им не обойтись. Женщин в этой картине нет. Скорее всего, в своем колониально-освободительном протесте казаки рассказывают султану, что они не будут платить ему дань, а еще лучше — сделают его женщиной.

Рефлексивный характер внутренней колонизации, направленной на самое себя, придал истории российской культуры характерную непоследовательность, путаницу и незаконченность. Западные ученые пытались объяснить эти ее черты в ориенталистском ключе, как культурную особенность России, неспособной найти свое место между Востоком и Западом. Как я показал в главах 5—8, логика внутренней колонизации позволяет глубже понять становление, эксперименты и крах петербургской империи. Основанный на непрямом правлении, имперский порядок создавал контролируемый обмен между культурой, природой и законом, в котором культурные различия плавно натурализовались и эффективно легитимировались, обеспечивая стабильность. Но этот обмен превращался во взрывоопасную смесь каждый раз, когда конфликты интересов, присущие непрямому правлению, нарушали специфическое для него разделение властей. В кризисных ситуациях те же интеллектуалы, которым империя поручала управлять культурными дистанциями, утверждали их культурно сконструированный характер, денатурализуя и делегитимируя их.

Внутренняя колонизация России больше походила на британскую колонизацию Америки, чем Индии. Многие неевропейские этносы были ассимилированы или уничтожены, и империя занималась колонизацией собственного мультиэтнического народа, который в ответ формировал новые идентичности. Большинство говорило на одном языке, и почти у всех был одинаковый цвет кожи. Диалектная вариативность языка,

которая сыграла важную роль во многих европейских культурах, оказалась не столь важна для России. Стабильность аграрных обществ обеспечивается культурной дистанцией между верхними и нижними стратами, а горизонтальные различия между группами не так важны (Gellner 1983, 1998). Зато основные границы, лежащие между правителями и народом, репрезентируются всеми средствами, доступными культуре. Из-за случайностей истории, географии и даже зоологии аграрное общество в России сразу стало имперским, и социальные дистанции первого помножились на политические дистанции второго. Российская империя определяла *других* по сословным и религиозным критериям, а империи Запада — по географическим и расовым. Вместо того чтобы натурализовать социальные и лингвистические различия на основе «природной» расы, государство кодифицировало их, создав правовую систему сословий, регулировавшую доступ подданных к собственности, образованию и карьере. Различные способы колонизации определяли разные способы политического участия, колониального управления и военных приготовлений, а также разные формы культуры и науки. Два способа колониальной экспансии — британский и русский — настолько различались, что Бисмарк сравнивал их с китом и медведем, которые в природе не встречаются между собой. На деле, однако, русский медведь и британский кит непрерывно общались в торговле, союзах, угрозах, столкновениях и подражаниях.

Необычным для европейских держав образом Российская империя демонстрировала обратный имперский градиент: на периферии люди жили лучше, чем в центральных губерниях. Империя расселяла на своих землях иностранцев, давая им привилегированное положение по сравнению с русскими и другим местным населением. Из всех народов империи только на русских и восточных славян распространялось крепостное право. После 1861 года русские продолжали подвергаться более мощной экономической эксплуатации, чем другие народы.

Без культурных дистанций нет империи. В России столичная элита часто воспринимала такие дистанции парадоксальным образом: покоренные народы — русский и иные — считались наделенными более высокой культурой и моралью, чем сама элита. Имперские офицеры, администраторы и интеллектуалы все более интересовались малейшими особенностями жизни колонизованных народов, славянских и других. Для одних эти имперские познания остались хобби, для других стали идеологией и едва ли не религией, для третьих — профессией. За знанием следовали практические навыки имитации, как правило взаимной, хотя и не обязательно симметричной. В сумме эту своеобразную ситуацию я характеризую как отрицательную гегемонию. Она была свойственна не только российской колониальной ситуации, но характеризовала внутреннюю колонизацию и в других государствах. Хотя концепцию ориентализма иногда осмысляют исключительно в аспекте эксплуатации, колониальный субъект нередко идеализировался как «высший» в сравнении со столичным наблюдателем или мечтателем. Для британцев и французов в XIX веке Восток часто был «местом паломничества», «экзотической, но особенно привлекательной реальностью» (Саид 2006: 265—269); но британцы искали знания и наслаждения Востока далеко за морями, россияне — в глубинах собственной страны. Укоренившись в воображении общества, идея различия стала обоюдоострым лезвием, идеологическими качелями. Когда правящие и пишущие элиты приписывали «благородным дикарям» и «простым мужикам» самые невероятные добродетели, такие как изначальное равенство, бескорыстное трудолюбие, врожденное чувство справедливости и любовь к страданию, этот нескончаемый поток этномифологии не мешал угнетать население. Наоборот, творческие конструкторы верхов поддерживали эксплуатацию низов тонкими и парадоксальными способами. Тем, кто жил доходами со своих поместий, было приятно думать, что благодаря своей возвышенной вере крестьяне не нуждаются в частной собственности. Некоторым интеллектуалам

всегда удается убедить себя, что крестьяне, или славяне, или женщины, или студенты просто любят страдать.

От триумфа при Петре I до краха при Николае II империя постоянно стремилась утвердить свою культурную гегемонию. Всегда озабоченная силовым доминированием, она тратила огромные средства и на то, чтобы показать миру вдохновенный и вдохновляющий облик, который вызывал бы верность у подданных, уважение у друзей и страх у врагов. Но силовое обладание давалось этой империи легче, чем культурное преобладание. Самым амбициозным проектом имперской гегемонии оказалась постройка Санкт-Петербурга, но культурная мифология этого города переполнена образами вины, Потопа и Апокалипсиса. От «Медного всадника» Пушкина до «Реквиема» Ахматовой образцовые петербургские тексты выражали народное страдание в особенных формах, связанных с предназначением столицы. В Академическом зале Русского музея в Петербурге (1895), главной витрине поздней империи, заботливая рука собрала гигантские картины, воплощавшие апокалиптическое ожидание, присущее имперской столице, разделявшееся царской семьей и подтвержденное революцией: «Последний день Помпеи» Карла Брюллова, «Медный змий» Федора Бруни, «Девятый вал» Ивана Айвазовского.

Несмотря на масштабную программу культурного импорта и использование перспективных технологий, таких как фейерверки, империя постоянно возвращалась к силовому подавлению недовольства русского народа и национализма народов нерусских. На этом фоне поразителен успех русской литературы как самого успешного института культурной гегемонии империи. Исполняя свою функцию — дать многоязычным подданным, рассеянными на огромной территории, единый запас культурных символов, — литература все сильнее критиковала другие имперские институты. Начавшись в XVIII веке, преобладание литературного вымысла как ведущего жанра политического протеста продолжалось весь XIX век и перешло в советский и, кажется, постсоветский периоды. Исполняя эту роль,

русская литература приобрела множество поклонников в России и вне ее. Культурная власть литературы продемонстрировала сложную диалектику: чем более продуктивным был литературный текст в осуществлении культурной гегемонии, тем более критическим и, в конечном итоге, разрушительным он становился для аппарата доминирования. За три столетия русская литература создала великую сагу политического инакомыслия и доказательство трансформирующей силы культуры. Заселяя неисследованное пространство между отступающим империализмом, возникающим национализмом и амбициозным утопизмом, русская литература создала парадигму постимперского человечества. Ее классическим текстам рукоплескали колониальные читатели по всему миру.

Постколониальная теория с ее открыто политическим методом чтения важна для понимания канонических текстов русской литературы. В тех случаях, где канон создан доминантной культурой, современные критики ищут маргинальные тексты, чтобы услышать подавленную часть исторического опыта — голоса субалтернов, которые говорили с трудом, не высказывались прямо и оставляли аллегорические записи в неожиданных местах. Канонические тексты русской литературы, однако, появились не в низших сословиях. На много голосов их авторы говорили за себя и, одновременно, за субалтернов с их молчанием, страданиями, жертвами. Эти авторы оказались способны к такой сложной, полифонической речи — великому памятнику человеческой солидарности — потому, что сами испытали политическое преследование в его чистом виде, не обязательно сопровождавшееся расовыми дискриминациями и экономическими бедами. Обманывая цензуру и отправляясь за книги в ссылку, многие русские писатели стали жертвами в собственной стране. Эти белые, образованные, часто состоятельные люди принадлежали к угнетенному меньшинству. Их маргинальные чувства вылились в канонические тексты, и потому британские поклонники Толстого сравнивали его с Ганди столь же часто, как Франц Фанон или писатели Гарлемского

Ренессанса ссылались на Достоевского. Одна группа писателей была рождена среди имперской элиты, другая — среди колонизованных народов, но сходство между ними оказалось важнее различий. Это было сходство между внешней и внутренней колонизацией.

Во Франции и Германии создание нации из аграрной культуры тоже напоминало самоколонизацию: «народ», разделенный по сословиям, провинциям, диалектам и сектам, превращался в единую «нацию» (Weber 1976). В России этот процесс принял трагическую форму нескончаемых катастроф, которую будущий историк, с легкой руки Троцкого, назовет «перманентной революцией». Поощряя государственный национализм и этнографические исследования, в середине XIX века империя спонсировала открытие крестьянской общины, которую потом все более радикально интерпретировали славянофилы, народники и социалисты. С открытием неправославных сект к российской жизни стало возможно применять немецкие романтические клише, французские утопические идеи и американский опыт религиозного инакомыслия. Зажатая между империей, которую ей не удалось свергнуть, и общиной, которую ей не удалось сохранить, русская мысль преподнесла миру блестящий, трагичный и глубоко человечный урок. Благодаря русской литературе крепостные, разночинцы, сектанты и другие субалтерные группы говорили с современной им публикой и до сих пор говорят с нами. Созданная авторами из высших классов, чья судьба иногда отличалась, а иногда повторяла судьбу их непривилегированных героев, эта литература стала постколониальной задолго до появления этого термина.

В 1988 году американский антрополог Джеймс Клиффорд (Clifford 1988: 93—94) пытался предсказать, чем будет заниматься «интеллектуальный историк в 2010 году, если его можно себе представить», и что он будет думать о недавних десятилетиях. Клиффорд полагал, что историк XXI века преодолеет языковую проблематику прошлого столетия и создаст новую парадигму «этнографической субъективности». Конечно, буду-

щее превысило эти ожидания. После бурного увлечения этничностью и суверенитетом, имевшего политические причины в период бархатных и цветных революций, историки и антропологи Евразии стали работать над транскультурными понятиями и космополитическими метафорами (Hagen 2004; Kappeler 2009; Burbank, Cooper 2010). Как правильно предсказал Клиффорд, новая парадигма вышла за пределы языка, но она выходит и за пределы этнических различий и этнографического знания как такового. Мне представляется — и, возможно, это останется справедливым еще пару десятков лет, — что новая парадигма работает в более широких пределах человеческой субъективности. В имперском контексте слово *subject* имеет два смысла — «подданный по отношению к суверену» и «субъект по отношению к объекту». В английском языке это слово, с производными от него *subjectivity* и *subjectness*, сохраняет двусмысленность, которую не имеет в других европейских языках, включая русский. Субъективность развивается в связи с суверенитетом, но намного перекрывает его объем и содержание. Именно этот избыток субъективности по сравнению с субъектностью (подданством) делает имперские культуры столь богатыми и нестабильными¹. Мишель Фуко (Foucault 1998: 44) говорил о прощании с идеей суверенитета как недостаточной для анализа власти. Концепция субъективности богаче и гибче, потому что мерцание субъекта между правовым и эпистемологическим значениями помогает разрешить проблему имперской власти. Зажатые между сувереном, который является сверхсубъектом своих владений, и их объектами, которые годятся для использования и налогообложения (ресурсы, товары и так далее), субъекты-подданные развивают уникальные способы жизни, службы и любви. Сверху эта имперская субъектность варьирует от идентификации себя с сувереном до сопротивления и

¹ Выразить эту идею мне помогла важная дискуссия о «советской субъективности», см.: Halfin 2000; Hellbeck 2000; Krylova 2000; Etkind 2005; Chatterjee, Petrone 2008.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

бунта. Внизу эта имперская *субъективность* сталкивается с разнообразием объектов, от животных до ландшафтов, которые она пытается завоевывать и исследовать, строить и разрушать, захватывать и обменивать, забывать и помнить. В горизонтальной плоскости имперская *субъективация* вовлекает других субъектов, единичных и тех, кого считают миллионами, с их душами, телами и сообществами.

Медведь сильно отличается от кита, но ученые знают, что глубоко под кожей их отличия не так уж велики. Колонизируя Россию и Индию, британцы и россияне поработали, эксплуатировали, просвещали и освобождали населявших эти страны «полудьяволов, полудетей» (Киплинг). На эту невыполнимую задачу их толкало Бремя белого человека, или, применительно к элите Российской империи, Бремя бритого человека. Среди многих текстов русской литературы, открывающих уникальный доступ к пониманию этого бремени, — «Продукт природы» Николая Лескова. Автор вспоминает о том, как в молодости пытался спасти крестьян от телесного наказания, которое им назначил местный исправник за попытку побега. Но этот полицейский чиновник запер Лескова в своем доме, оставив его рыться в библиотеке, в которой с любовью собрал запрещенные книги, звавшие к справедливости и освобождению крестьян. За это время крестьян выпороли, а единственной удачей автора стало открытие того, что этот исправник на самом деле не полицейский чин, а самозванец, «фитюлька», приказный секретарь. Источником его права на суд был его имперский опыт: «Настоящее знание этого народа дает на него настоящие средства», — говорил он с гордостью. А был бы у него чин исправника, он бы «один целую Россию выпорол».

Литература

- Аксаков, Иван 1994. Письма к родным, 1849—1856. М.: Наука.
- Анисимов, Евгений 1999. Елизавета Петровна. М.: Молодая гвардия.
- Анненков, Павел 1989. Литературные воспоминания. М.: Правда.
- [Аноним] 1847. Барон Гакстгаузен и его путешествие по России // Финский вестник, 22/10: 1—16.
- Аптекман, О.В. 1924. Общество «Земля и воля» семидесятых годов по личным воспоминаниям. Пг.: Колос.
- Архив 1932. Архив «Земли и Воли» и «Народной Воли». М.: Общество политкаторжан.
- Бахтин, Михаил 1975. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин, Михаил. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Художественная литература, 234—407.
- Бахтин, Михаил 2000. Проблемы творчества Достоевского. М.: Русские словари.
- Белинский, Виссарион 1954. Полное собрание сочинений. М.: АН СССР.
- Бердяев, Николай 1916. Типы религиозной мысли в России // Русская мысль, 6.
- Бердяев, Николай 1989. Духовное христианство и сектантство в России // Бердяев, Николай. Собрание сочинений. Т. 3. Париж: YMCA-Press.
- Березин, Илья, 1858. Метрополия и колония // Отечественные записки, 118/5: 74—115.
- Богучарский, В. 1912. Активное народничество семидесятых годов. М.: Сабашниковы.
- Болотов, Андрей 1931. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. Т. 1—3. М.: Academia.
- Болотов, Андрей 1986. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков / Ред. А. Гулыга. М.: Современник.
- Бонч-Бруевич, Владимир 1918. Духоборцы в канадских прериях. Пг.
- Бонч-Бруевич, Владимир 1924. Возможное участие сектантов в хозяйственной жизни СССР // Правда. 15 мая.
- Булгарин, Фаддей 1830. Поездка в Парголово // Булгарин, Фаддей. Сочинения. Т. 11. СПб.: Смирдин, 150—161.
- Булгарин, Фаддей 1836. Русский театр. «Ревизор» Н. Гоголя. // Северная пчела, 98.

- Валентинов, Николай 1953. Встречи с Лениным. Нью-Йорк: Издательство имени Чехова.
- Венгеров, С. 1902. Тургенев // Энциклопедический словарь. СПб.: Брокгауз, 96—106.
- Вениаминов, И. 1840. Записки об островах Уналашкинского отдела. СПб.
- Веселовский, Н.И. 1887. Василий Васильевич Григорьев по его письмам и трудам. СПб.: Императорское археологическое общество.
- Вигель, Филипп 1998. Письмо (1836) // Ермичев, А.А., Златопольская, А.А. (ред.) Чаадаев. Pro et Contra. СПб.: РХГИ.
- Вилков, Олег 1999. Пушной промысел в Сибири // Наука в Сибири, 45.
- Вишленкова, Е.А. 1997. Религиозная политика: официальный курс и «общее мнение» России александровской эпохи. Казань.
- Волк, С.С. 1966. Народная воля, 1879—1882. М.; Л.: АН СССР.
- Воробьев, Н.И., Бусыгин, Е.П., Зорин, Н.В. 1957. Краткие путеводители по университету. Этнографический музей. Казань: Казанский государственный университет.
- Врангель, Фердинанд 1841. Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю. СПб.
- Вульф, Ларри 2003. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М.: Новое литературное обозрение.
- Вульфсон, Г.Н. 1984. Глашатай свободы. Страницы из жизни А.П. Щапова. Казань: Казанский университет.
- Высочайший 1818: Высочайший Именной Указ Правительствующему Сенату об Обществе Израильских Христиан (25 марта 1817) // Систематический свод существующих законов Российской империи. Т. 5. СПб., 94.
- Герасимов, Илья и др. 2004. Новая имперская история постсоветского пространства. Казань: Ab Imperio.
- Герберштейн, Сигизмунд 1988. Записки о Московии. Вступительная статья А.Л. Хорошкевич. М.
- Герцен, А.И. 1956. Le peuple Russe et le socialisme // Герцен, Александр. Собрание сочинений. Т. 7. М.: АН СССР, 271—306.
- Герцен, А.И. 1957. Russian Serfdom // Герцен, Александр. Собрание сочинений. Т. 12. М.: АН СССР, 7—33.
- Герцен, А.И. Собрание сочинений: В 30 т. М.: Академия наук, 1954—1966.
- Герштейн, Эмма 1964. Судьба Лермонтова. М.: Советский писатель.
- Глебов, Сергей 2011. Границы империи как границы модерна: Антиколониальная риторика и теория культурных типов в евразийстве // Изобретение империи: Языки и практики. М.: Новое издательство, 292—317.

- Глинчикова, Алла 2008. Раскол, или срыв русской Реформации. М.: Культурная революция.
- Гоголь, Николай 1984. Собрание сочинений. 7 т. М.: Художественная литература.
- Головнин, Александр 2004. Записки для немногих / Ред. Б.Д. Гальперин. СПб.: Нестор.
- Гофман, А.Б. 2001. Эмиль Дюркгейм в России. М.: ГУ ВШЭ.
- Градовский, Г.К. 1882. К истории русской печати. // Русская старина, 2: 494—509.
- Грибоедов, Александр 1999а. Проект учреждения Российской закавказской компании // Грибоедов, Александр. Сочинения: В 3 т. Т. 1. СПб.: Нотабене, 614—641.
- Грибоедов, Александр 1999б. Загородная поездка (Отрывок из письма южного жителя) // Грибоедов, Александр. Сочинения: В 3 т. Т. 2. СПб.: Нотабене, 275—278.
- Григорьев, В.В. 1846. Еврейские религиозные секты в России // Журнал Министерства внутренних дел, 15/3—49: 282—309.
- Гринев, Андрей, б.д. Туземцы-аманаты в Русской Америке. <http://america-xix.org.ru/library/grinev-indeans/>
- Гройс, Борис, 1993. Имена города // Гройс, Борис. Утопия и обмен. М.: Знак.
- Гроссман, Леонид 1929. Исторический фон «Выстрела» // Новый мир, 5: 203—223.
- Гулыга, Арсений 1977. Кант. М.: Молодая гвардия.
- Даль, Владимир 2002а. Полтора слова о нынешнем русском языке // Неизвестный Владимир Даль. Оренбург: Книжное издательство.
- Даль, Владимир 2002б. Автобиографические записки // Даль, Владимир. Картины из русского быта. М.: Новый ключ.
- Дамешек, Л.М., Ремнев, А.В. (ред.). 2007. Сибирь в составе Российской империи. М.: Новое литературное обозрение.
- Дейч, Л.Г. 1923. За полвека. Берлин: Грани.
- Дефо, Даниель. Робинзон Крузо / Пер. З.Н. Журавской. Новосибирск, 1997.
- Добролюбов, Николай 1962. Собрание сочинений: В 9 т. М.: ГИХЛ.
- Долбилов, Михаил 2010. Русский край, чужая вера. М.: Новое литературное обозрение.
- Достоевский, Федор 1972—1990. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л.: Наука.
- Драгоманов, М.П. Введение // Бакунин, Михаил. Письма к А.И. Герцену и Н.П. Огареву. Женева.
- Дружинин, Н.М. 1946—1958. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселёва. Т. 1. М., 1946; Т. 2. М., 1958.
- Дружинин, Н.М. 1968. Крестьянская община в оценке А. Гакстгаузена и его русских современников // Ежегодник германской истории. М.: Наука, 28—50.

- Дурьлин, С.Н. 1932. Русские писатели у Гете в Веймаре // Литературное наследство, 4/6: 83—496. М.: Журнально-газетное объединение.
- Екатерина II 1869. Антидот // Осьмнадцатый век. Т. 4. М.
- Екатерина II 1990. Сочинения / Ред. О.Н. Михайлов. М.: Советская Россия.
- Екатерина II 2008. Российская история. М.: ЭКСМО.
- Елифаний Премудрый 2003. Слово о житии святого Стефана, бывшего епископом в Перми, Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; Под ред. Д.С. Лихачева и др. СПб.: Наука. Т. 12: XVI век.
- Ермичев, А.А., Златопольская, А.А. (ред.) 1998. Чаадаев. Pro et Contra. СПб.: РХГИ.
- Ешевский, Степан 1870. Сочинения. Т. 1. М.: Солдатенков.
- Жаботинский, Владимир (Зеев) 1989. Повесть моих дней. Иерусалим: Алия.
- Зорин, Андрей 1997. Идеология «православие-самодержавие-народность»: опыт реконструкции // Новое литературное обозрение, 26.
- Зорин, Андрей 2001. Кормя двуглавого орла. Литература и государственная идеология в России. М.: Новое литературное обозрение.
- Иорданская, М.К. 1994. Новый table-talk // Новое литературное обозрение, 9.
- История Русской Америки 1997 / Ред. Н.Н. Болховитинов. М.: Международные отношения.
- Итенберг, Б. 1960. Дмитрий Рогачев, революционер-народник. М.: Социально-экономическое издательство.
- Кавелин, Константин 1989. Мысли и заметки о русской истории // Кавелин, Константин. Наш умственный строй. М.: Правда.
- Кавелин, Константин, Чичерин, Борис 1974. Письмо к издателю // Голоса из России. Сборники Герцена и Огарева. Т. 1. М.: Наука.
- Кагарлицкий, Борис 2003. Периферийная империя. М.: Ультра-Культура.
- Кант, Иммануил. 1994. Собрание сочинений: В 8 т. М.: Чоро.
- Карамзин, Николай 1989. История государства Российского. М.: Наука.
- Карамзин, Николай 1991. Записка о древней и новой России. М.: Наука.
- Карцев, П.П. 1890. О военных поселениях при графе Аракчееве // Русский вестник, 3.
- Кауфман, А.А. 1908. Русская община в процессе ее зарождения и роста. М.: Сытин.
- Кельсиев, Василий 1867. Святорусские двоеверы // Отечественные записки. Октябрь.
- Кельсиев, Василий 1941. Исповедь // Литературное наследство. Т. 41—42. Ч. II. М.
- Киплинг, Редьярд 1989. Рассказы. Стихотворения. Л.: Художественная литература.

- Киплинг, Редьярд 2011. Избранные стихи из всех книг. Б.м.: Salamandra P.V.V., 2011.
- Киреева, Р.А. 1996. Василий Осипович Ключевский // Сахаров А.Н. (ред.) Историки России. М.: Институт Российской истории, 398—445.
- Клаус, А. 1869. Наши колонии. СПб.: Нусвалыт.
- Клейн, Лев 2009. Спор о варягах. СПб.: Евразия.
- Ключевский, Василий 1913. История сословий в России. М.
- Ключевский, Василий 1956. Курс русской истории. М.
- Ключевский, Василий 1959. Русский рубль XVI—XVIII веков в его отношении к нынешнему // Ключевский, Василий. Сочинения. Т. 7. М.
- Ключевский, Василий 1983. Наброски по «варяжскому вопросу». // Ключевский, Василий. Неопубликованные произведения. М.: Наука.
- Ключевский, Василий 1990. Евгений Онегин и его предки // Ключевский, Василий. Сочинения. Т. 9. М.
- Ключевский, Василий 1990а. Афоризмы // Ключевский, Василий. Сочинения. Т. 9. М.
- Ковальский, И. 1878. Рационализм на юге России // Отечественные записки. Март, 204—224; Май, 199—230.
- Козлов, Сергей 2003. Русский путешественник эпохи Просвещения. СПб.: Историческая иллюстрация.
- Конрад, Джозеф 2011. Сердце тьмы // Конрад, Джозеф. Сердце тьмы и другие повести. СПб.: Азбука, 5—136.
- Кордонский, Симон 2008. Сословная структура постсоветской России. М.: ФОМ.
- Корф, Модест 2003. Записки. М.: Захаров.
- Костяшов, Ю.В., Кретинин, Г.В. 1999. Петровское начало: Кенигсбергский университет и российское просвещение в XVIII веке. Калининград: Янтарный сказ.
- Кретинин, Г.В. 1996. Под Российской короной, или Русские в Кенигсберге. Калининград: Калининградское книжное издательство.
- Крылов, Н.А. 1892. Воспоминания мирового посредника первого призыва // Русская старина, 7.
- Кукулин, Илья, Уффельман, Дирк, Эткинд, Александр (редакторы) 2012. «Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России». М.: Новое литературное обозрение.
- Куланж, Фюстель де 1908. Римский колонат / Пер. И.М. Гревса. СПб.: Стасюлевич.
- Лавров, Александр 2004. Андрей Белый между Конрадом и Честертонном // Лотмановский сборник, 3. М.: ОГИ, 443—457.
- Лавров, Петр 1974. Годы эмиграции / Сост. Борис Сапир. Dordrecht: Reidel. Т. 1.
- Лебедев, Кастор 1888. Из записок сенатора // Русский архив. Т. 7.

- Левшин, А.И. 1994. Достопамятные минуты в моей жизни // Федоров В.А. (ред.) Конеч крепостничества в России. М.: МГУ.
- Леец, Г. 1980. Абрам Петрович Ганнибал. Таллинн: Ээсти Раамат.
- Ленин, Владимир 1967. Развитие капитализма в России // Ленин, В.И. Полное собрание сочинений. Т. 3. М.: Политиздат.
- Лермонтов, Михаил 1958. Собрание сочинений. М.: ГИХЛ.
- Лесков, Николай 1958. Собрание сочинений. М.: ГИХЛ.
- Лесков, Николай 1988. О русском расселении и Политико-Экономическом Комитете // Лесков, Николай. Честное слово. М.: Советская Россия, 57—73.
- Липранди, Иван 1870а. О природных границах и стремлении немцев на Восток ('Drang nach Osten') // Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских. Т. 1.
- Липранди, Иван 1870б. Краткое обозрение русских расколов, ересей и сект // Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских. Т. 2.
- Лысаков, Павел, Эткинд, Александр 2006. Культуральные исследования. СПб.: Европейский университет.
- Любавский, Матвей 1996. Обзор истории русской колонизации. М.: МГУ.
- Ляпунова, Р.Г. 1987. Алеуты. Очерки этнической истории. Л.: Наука.
- Майофис, Мария 2008. Воззвание к Европе. Литературное общество «Арзамас» и российский модернизационный проект 1815—1818 годов. М.: Новое литературное обозрение.
- Маркс, Карл 1983. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. М.: Политиздат.
- Мельников-Печерский, Павел 1869. Белые голуби // Русский вестник, 3.
- Мельников-Печерский, Павел 1873. Воспоминания о Владимире Ивановиче Дале // Русский вестник, 3.
- Мельников, Павел, 1910. Отчет о современном состоянии раскола // Действия Нижегородской Губернской Ученой архивной комиссии. Т. 9. Нижний Новгород.
- Миллер, Герхард Фридрих 1996. Академик Г.Ф. Миллер — первый исследователь Москвы и Московской провинции. М.: Янус.
- Милюков, Павел 1895. Колонизация России // Энциклопедический словарь. Т. 30. СПб.: Брокгауз, 740—746.
- Милюков, Павел 1990. Воспоминания. М.: Современник.
- Милюков, Павел 2006. Главные течения русской исторической мысли. М.: ГПИБР.
- Миронов, Борис 1999. Социальная история России. СПб.: Дмитрий Буланин.
- Михайлов, А.Д. 1906. Автобиографические заметки // Былое, 2: 163—165.
- Могильнер, Марина 2008. Homo imperii. История физической антропологии в России. М.: Новое литературное обозрение.

- Морозов, П.О. 1891. Барон Август Гакстгаузен и его сочинение о России (1842—1854) // Исторические материалы из архива Министерства государственных имуществ. Т. 1. СПб., 189—207.
- Надеждин, Николай 1998. Два ответа Чаадаеву // Ермичев, А.А., Златопольская А.А. (ред.) Чаадаев. Pro et Contra. СПб.: РХГИ.
- Надеждин, Николай 2000. Современное направление просвещения // Надеждин, Николай. Сочинения. СПб.: РХГИ.
- Нечаев, Сергей 1997. Катехизис революционера // Рудницкая Е.Л. (ред.) Революционный радикализм в России. М.: Археоцентр.
- Нечкина, Милица 1974. В.О. Ключевский. История жизни и творчества. М.: Наука.
- Н.Р. 1895. Колонизация // Энциклопедический словарь. СПб.: Брокгауз, 736—740.
- Овсяннико-Куликовский, Д.Н. 1880. Секта людей божиих // Слово, 9: 55—74.
- Огарев, Н.П. 1952. Избранные социально-политические и философские произведения. М.: МГУ.
- Орлов, М.Ф. 1963. Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Письма. М.: АН СССР.
- Очерки по истории колонизации Севера, 1922. Т. 1. Пг.: Государственное издательство.
- Павлов, В.Н. 1972. Пушной промысел в Сибири XVII века. Красноярск: Красноярский рабочий.
- Панченко, А.М. 1999. Русская история и культура: Работы разных лет. СПб.: Юна.
- Петров, А.Н. 1871. Устройство и управление военных поселений в России. СПб.: Русская старина.
- Пирожкова, Т.В. 1997. Славянофильская журналистика. М.: МГУ.
- Плеханов Г.В. 1925. Воспоминания об А.Д. Михайлове // Прибылева-Корба А.П., Фигнер В.Н. (ред.) А.Д. Михайлов. Л.
- Повесть временных лет 1950. М.; Л.: АН СССР.
- Погодин, Михаил 1846. Исследования, замечания и лекции о русской истории. Москва.
- Погодин, Михаил 1859. Норманский период русской истории. М.
- Погодин, Михаил 2011. Вечное начало. Русский дух. М.: Институт русской цивилизации.
- Погосян, Елена 2001. Петр I. Архитектор российской истории. СПб.: Искусство.
- Покровский, Михаил 1920. Русская история в самом сжатом очерке. М.
- Покровский, Михаил 1922. Своеобразие исторического процесса и первая буква марксизма // Красная Новь (повторно опублик. в: Восток. 2004. Декабрь. 12 (24)).
- Покровский, М.Н. 1933. Историческая наука и борьба классов. Вып. 1—2. М.; Л.: Соцэкгиз.

- Покровский, Михаил 2001. Россия в конце XVIII века // История России в XIX веке. Дореформенная Россия. М.: Центрполиграф.
- Покшишевский, В.В., Кротов, В.А. 1951. Заселение Сибири. Иркутск: Иркутское областное издательство.
- Полян, Павел (ред.) 2001. Город и деревня в современной России. Сто лет перемен. М.: ОГИ.
- Портнов, Андрей 2010. Упражнения с историей по-украински. М.: ОГИ.
- Правилова, Екатерина 2006. Финансы империи. Деньги и власть в политике России на национальных окраинах. М.: Новое издательство.
- Приамурский, Г.Г. 1997. Петербургский паноптикон // Петербургские чтения — 97. СПб.: Русско-балтийский центр, 165—168.
- Проскурина, Вера 2006. Мифы империи. М.: Новое литературное обозрение.
- Пругавин, Александр 1881. Значение сектантства в русской народной жизни // Русская мысль, 1.
- Пругавин, Александр 1904. Старообрядчество во второй половине XIX века. Очерки по новейшей теории раскола. М.
- Пругавин, Александр 1917. Бунт против природы (о хлыстах и хлыстовщине). М.
- Пушкин, Александр 1950. Полное собрание сочинений. М.: ГИХЛ.
- Пушкин, Александр 1995. Биография А.П. Ганнибала // Пушкин, А.С. Дневники. Записки. СПб.: Наука.
- Пыпин, Александр 1869. Русские отношения Бентама // Вестник Европы, 2.
- Пыпин, Александр 1890. История русской этнографии. СПб.
- Радищев, Александр 1941. Полное собрание сочинений. М.: АН СССР.
- Радищев, Александр 1992. Путешествие из Петербурга в Москву СПб.: Наука.
- Рейтблат, А.И. (ред.) 1998. Видок Фиглярин: Письма и записки Булгарина в III Отделение. М.: Новое литературное обозрение.
- Ремнев, Анатолий, Суворова, Наталья 2011. «Русское дело» на азиатских окраинах // Изобретение империи: Языки и практики. М.: Новое издательство, 152—222.
- Рыбаковский, Л.Л. 1998. Исследования миграции населения в России // Социология в России. М.: Институт социологии, 436—451.
- Саид, Эдвард Вади 2006. Ориентализм. СПб.: Русский Мирь.
- Салтыков-Щедрин, Михаил 1936. Полное собрание сочинений. М.
- Самарин Ю.Ф. Сочинения: В 10 т. М.: 1877—1896.
- Сапов, В.В. 1991. Ученики Чаадаева. 1. Отречение доктора Ястребцова // Новые идеи в философии. Ежегодник Философского общества СССР. 1991, 148—165.
- Сариева, Е.А. 2000. Фейерверки в России XVIII века // Развлекательная культура России XVIII—XIX веков. СПб.: Дмитрий Буланин, 88—98.

- Саяпин, М. 1915. Общие. Русская коммунистическая секта // Ежемесячный журнал, 1: 65—77; 2: 60—69.
- Свиньин, Павел 2000. Поездка в Грузино // Давыдова Е.Е. и др. (ред.) Аракчеев. Свидетельства современников. М.: Новое литературное обозрение.
- Свод 1818. Систематический свод существующих законов Российской империи. СПб.: Комиссия составления законов.
- Селезнев, В.М., Селезнева, Е.О. (ред.) 2002. Дело Сухово-Кобылина. М.: Новое литературное обозрение.
- Семенов-Тянь-Шанский, Вениамин 1915. О могущественном территориальном владении применительно к России. Очерки по политической географии. Пг.
- Синявский, Андрей 1991. Иван-Дурак. Очерк русской народной веры. Париж: Синтаксис.
- Словцов, Петр 1886. Историческое обозрение Сибири. М.: Скороходов.
- Соллогуб, Владимир 1998. Воспоминания. М.: Слово.
- Соловьев, Сергей 1856. Шлецер и антиисторическое направление // Русский вестник, 8/4: 489—533.
- Соловьев, Сергей 1983. Избранные труды. Записки. М.: МГУ.
- Соловьев, Сергей 1988. История России с древнейших времен. М.: Мысль.
- Сопленков, С.В. 2000. Дорога в Арзрум: Русская общественная мысль о Востоке. М.: Восточная литература.
- Старцев, Абель 1995. Русско-американские этюды. М.: Восточная литература.
- Стебницкий, М. (Николай Лесков) 1863. С людьми древнего благочестия // Библиотека для чтения, 9.
- Струве, Петр 1894. Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России. СПб.
- Субботин, Николай 1867. Раскол как орудие враждебных России партий // Русский вестник, 5: 316—348.
- Сухомлинов, М.Л. 1888. И.С. Аксаков в сороковых годах // Исторический вестник. Февраль.
- Татищев, Василий 1994. История российская. М.: Ладомир.
- Телетова, Н.К. 1989. Герб Ганнибалов // Временник Пушкинской комиссии. Т. 23. Л.: АН СССР, 140—151.
- Токвиль, Алексис де. Демократия в Америке.
- Толочко, Алексей 2005. «История Российская» Василия Татищева: Источники и известия. М.; Киев: Новое литературное обозрение.
- Толстой, Лев 1908. Письма о скопчестве // Бонч-Бруевич В. (ред.) Материалы к истории русского сектантства и старообрядчества. Т. 1. СПб.
- Троцкий, Лев 1922. Об особенностях исторического развития России // Правда, 1—2 июля.

- Троцкий, Лев 1990. Моя жизнь. Т. 1. М.: Книга.
- Троцкий, Лев 1991. Литература и революция. М.: Политиздат.
- Тургенев, Николай 1963. Собрание сочинений. М.
- Тынянов, Ю.Н. 2001. Литературное сегодня // Тынянов Ю.Н. История литературы. Критика. СПб.: Азбука.
- Уймович-Пономарев, П., Пономарев, С. 1886. Земледельческое братство как обычно-правовой институт сектантов // Северный вестник, 9: 1—31; 10: 1—36.
- Уваров, Сергей 1864. Доклад к десятилетию Министерства народного просвещения // Десятилетие Министерства народного просвещения. СПб.
- Федоров, В.А. 1994 (ред.) Конец крепостничества в России. Документы, письма, мемуары, статьи. М.: МГУ.
- Фельштинский, Юрий 2009. Вожди в законе. М.: Терра.
- Филюшкин Александр 2011. Как Россия стала для Европы Азией? // Изобретение империи: Языки и практики. М.: Новое издательство, 10—48.
- Фроленко, М.Ф. 1932. Собрание сочинений. Т. 2. М.
- Фуко, Мишель 2005. «Нужно защищать общество». Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975—1976 учебном году / Пер. с франц. Е.А. Самарской. СПб.: Наука.
- Халфин, Н.А. 1990. Возмездие ожидает в Джагдалаке. М.: Наука.
- Ходасевич, В.Ф. 1988. Державин. М.: Книга.
- Хомяков, Алексей 1832. Ермак. М.: Селивановский.
- Хомяков, Алексей 1861. Полное собрание сочинений. М.
- Хомяков, Алексей 1871. Записки о всемирной истории. М.
- Хомяков, Алексей 1988. О старом и новом. Статьи и очерки. М.: Современник.
- Хорошкевич, А.Л. 1963. Торговля Великого Новгорода с Прибалтикой и Западной Европой. М.: Наука.
- Храмов, Александр. Колониальная изнанка европейского костюма. Заметки о внутреннем колониализме в Российской империи (XVIII — начало XX века) // Вопросы национализма. 2012. 10: 71—105.
- Цветаева, Марина 2006. Мой Пушкин. М.: Азбука.
- Цимбаев, Н.И. 1986. Славянофильство. М.: МГУ.
- Чаадаев, Петр 1914. Сочинения и письма / Ред. М. Гершензон. М.
- Чернов, Виктор 1922. Записки социалиста-революционера. Т. 1. Берлин: Гржебин.
- Чичерин, Борис 1856. Обзор исторического развития сельской общины в России // Русский вестник, 4.
- Чичерин, Борис 1990. Воспоминания. М.: Правда.
- Шаров, Владимир 2003. Воскресение Лазаря. М.: Вагриус.
- Шелгунов, Николай, Михайлов, Михаил 1958. К молодому поколению [1861] // Каратаев Н. (ред.) Народническая экономическая литература. М.

- Шлецер, Август 1809. Нестор. СПб.
- Шумахер, А.Д. 1899. Поздние воспоминания о давно минувших временах // Вестник Европы, 3: 89—128.
- Щапов, Афанасий 1862. Земство и раскол. СПб.
- Щапов, Афанасий 1906. Сочинения. СПб.
- Щапов, Афанасий 1923. Речь после панихиды по убитым в Бездне крестьянам // Красный архив, 4.
- Эйдельман, Натан 1965. Павел Иванович Бахметьев // Нечкина М.И. (ред.). Революционная ситуация в России в 1859—1861. Т. 4. М.: Наука, 387—398.
- Эйдельман, Натан 1993. «Где и что Липранди?» // Эйдельман, Натан. Из потаенной истории России XVIII—XIX веков. М.: Высшая школа, 429—464.
- Эткинд, Александр 1996. Русские секты и советский коммунизм: Проект Владимира Бонч-Бруевича // Минувшее, 19: 275—319.
- Эткинд, Александр 1998. Хлыст. Секты, литература и революция. М.: Новое литературное обозрение.
- Эткинд, Александр 2001а. Фуко и имперская Россия: Дисциплинарные практики в условиях внутренней колонизации // Хархордин, Олег (ред.) Фуко и Россия. СПб.: Европейский университет, 166—191.
- Эткинд, Александр 2001b. Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах. М.: Новое литературное обозрение.
- Эткинд, Александр 2002. Бремя бритого человека, или Внутренняя колонизация России // *Ab Imperio* (Казань), 1: 265—299.
- Юль, Юст 1899. Записки датского посланника при Петре Великом. М.
- Ядринцев, Николай 2003. Сибирь как колония. Новосибирск: Сибирский хронограф.
- Ямпольский, Владимир 1994. Из истории германской геополитики // Россия-XXI, 6/7: 158—168.
- Ястребцов, Иван 1833. О системе наук, приличных в наше время детям. М.

- Abrams, I.H. 1953. *The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition*. New York: Oxford University Press.
- Achebe, Chinua 2001. "An Image of Africa: Racism in Conrad's Heart of Darkness," in Vincent B. Leitch (ed.), *The Norton Anthology of Theory and Criticism*. New York: Norton.
- Agamben, Giorgio 1998. *Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life*. Stanford: Stanford University Press.
- Anderson, Benedict 1991. *Imagined Communities*. London; New York: Verso.
- Anderson, F. 2000. *Crucible of War: The Seven Years War and the Fate of Empire in British North America*. New York: Vintage.

- Arendt, Hannah 1966. *Origins of Totalitarianism*. New York: Harcourt.
- Arendt, Hannah 1968. *Men in Dark Times*. Orlando, FL: Harcourt.
- Arendt, Hannah 1970. *On Violence*. Orlando, FL: Harcourt.
- Arneil, Barbara 1996. *John Locke and America: The Defense of English Colonialism*. Oxford: Oxford University Press.
- Ashcroft, Bill, and Paul Ahluwalia 1999. *Edward Said. The Paradox of Identity*. London: Routledge.
- Atkinson, D. 1990. "Egalitarianism and the Commune," in R.P. Bartlett (ed.), *Land Commune and Peasant Community in Russia*. Basingstoke: Macmillan.
- Balibar, E. 1999. "Is There a 'Neo-Racism'?", in E. Balibar and I. Wallerstein, *Race, Nation, Class: Ambiguous Identities*, trans. Chris Turner. London: Verso, 17–28.
- Baranowski, Shelley 2011. *Nazi Empire. German Colonialism and Imperialism from Bismarck to Hitler*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Barnes, Hugh 2005. *Gannibal: The Moor of Petersburg*. New York: Profile Books.
- Baron, Samuel H. 1953. *Plekhanov: The Father of Russian Marxism*. Stanford: Stanford University Press.
- Baron, Samuel H. 1958. "Plekhanov's Russia: The Impact of the West upon an 'Oriental' Society," *Journal of the History of Ideas*, 19/3: 388–404.
- Baron, Samuel H. 1995. *Plekhanov in Russian History and Soviet Historiography*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Barrett, Thomas 1999. *At the Edge of Empire: The Terek Cossacks and the North Caucasus Frontier*. Boulder, CO: Westview.
- Bartlett, Robert 1993. *The Making of Europe. Conquest, Colonization, and Cultural Change*. London: Penguin.
- Bartlett, Roger 1979. *Human Capital. The Settlement of Foreigners in Russia, 1762–1804*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bassin, Mark 1993. "Turner, Solov'ev, and the 'Frontier Hypothesis': The Nationalist Signification of Open Spaces," *Journal of Modern History*, 65: 473–511.
- Bassin, Mark 1999. *Imperial Visions: Nationalist Imagination and Geographic Expansion in the Russian Far East, 1840–1865*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bates, Robert H. 2001. *Prosperity and Violence: The Political Economy of Development*. New York: Norton.
- Bauman, Whitney 2009. *Theology, Creation, and Environmental Ethics: From Creatio Ex Nihilo to Terra Nullius*. London: Routledge.
- Beissinger, Mark 2006. "Soviet Empire as 'Family Resemblance'," *Slavic Review*, 65/2: 294–303.

- Benes, Tuska 2004. "Comparative Linguistics as Ethnology. In Search of Indo-Germans in Central Asia", *Comparative Studies of South Asia, Africa, and the Middle East*, 24/2: 117—132.
- Benjamin, Walter 1968. "The Storyteller. Reflections on the Works of Nikolai Leskov," in his *Essays and Reflections*, ed. Hannah Arendt. New York: Schocken, 83—110.
- Benjamin, Walter 1999. "On the Present Situation in Russian Film," in his *Selected Writings*, vol. 2, pt. 1 (1927—1930). Cambridge, MA: Belknap, 12—15.
- Bentham, Jeremy 1995. *The Panopticon Writings*, ed. Miran Bozovic. London: Verso.
- Beratz, Gottlieb 1991. *The German Colonies on the Lower Volga*. Lincoln, NE: American Historical Society of Germans from Russia.
- Berens, Reinhold 1812. *Geschichte der seit hundert und fünfzig Jahren in Riga einheimischen Familie Berens aus Rostock*. Riga: Julius Muller Verlag.
- Berlin, Isaiah 1978. "A Remarkable Decade," in his *Russian Thinkers*. New York: Penguin.
- Berlin, Isaiah 1996. "Kant as an Unfamiliar Source of Nationalism," in his *Sense of Reality*. London: Chatto.
- Berlin, Isaiah 2000. *Three Critics of the Enlightenment*. London: Pimlico.
- Berman, Russell A. 1998. *Enlightenment or Empire: Colonial Discourse in German Culture*. Lincoln: University of Nebraska Press.
- Bethea, David 1998. "Slavic Gift Giving: The Poet in History and Pushkin's 'The Captain's Daughter'," in Monika Greenleaf and Stephen Moeller-Sally (eds.), *Russian Subjects: Empire, Nation, and the Culture of the Golden Age*. Evanston, IL: Northwestern University Press, 259—276.
- Betz, John 2008. *After Enlightenment: The Post-Secular Vision of J.G. Hamann*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Bhabha, Homi 1994. *The Location of Culture*. London: Routledge.
- Bideleux, Robert, and Ian Jeffries 2007. *A History of Eastern Europe: Crisis and Change*. London: Routledge.
- Billington, James H. 1966. *The Icon and the Axe*. New York: Vintage.
- Black, J.L. 1986. *G.-F. Muller and the Imperial Russian Academy*. Kingston: McGill University Press.
- Blackbourn, David 2007. *The Conquest of Nature. Water, Landscape, and the Making of Modern Germany*. London: Pimlico.
- Blackbourn, David 2009. "The Conquest of Nature and the Mystique of the Eastern Frontier in Nazi Germany," in Robert L. Nelson (ed.), *Germans, Poland, and Colonial Expansion to the East*. London: Palgrave, 141—170.
- Blauner, Robert 1969. "Internal Colonialism and Ghetto Revolt," *Social Problems*, 16/4: 393—408.
- Bockstoce, John R. 2009. *Furs and Frontiers in the Far North*. New Haven, CT: Yale University Press.

- Boeck, Brian J. 2007. "Containment vs. Colonization. Muscovite Approaches to Settling the Steppe," in Nicholas B. Breyfogle, Abby Schrader, and William Sunderland (eds.), *Peopling the Russian Periphery. Borderland Colonization in Eurasian History*. London: Routledge, 41–60.
- Bojanowska, Edyta M. 2007. *Nikolai Gogol. Between Ukrainian and Russian Nationalism*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Boucher, David 2010. "The Law of Nations and the Doctrine of Terra Nullius," in Olaf Asbach and Peter Schroder (eds.), *War, the State and International Law in Seventeenth-Century Europe*. London: Ashgate, 63–82.
- Boym, Svetlana 2010. *Another Freedom. The Alternative History of an Idea*. Chicago: University of Chicago Press.
- Braudel, Fernand 1967. *Capitalism and Material Life, 1400–1800*, trans. Miriam Kochan. London: Weidenfeld.
- Breshkovskaia, E.K. 1931. *Hidden Springs of the Russian Revolution*. Stanford: Stanford University Press.
- Breyfogle, Nicolas B. 2005. *Heretics and Colonizers. Forging Russia's Empire in the South Caucasus*. Ithaca: Cornell University Press.
- Brooks, Peter. 1996. " 'An Unreadable Report.' Conrad's *Heart of Darkness*," in Elaine Jordan (ed.), *Joseph Conrad*. London: Macmillan, 67–86.
- Brower, Daniel R., and Edward J. Lazzerini (eds.) 1997. *Russia's Orient. Imperial Borderlands and Peoples*. Bloomington: Indiana University Press.
- Brubaker, Rogers 1992. *Citizenship and Nationhood in France and Germany*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Buchowski, Michal 2006. "The Specter of Orientalism in Europe: From Exotic Other to Stigmatized Brother," *Anthropological Quarterly*, 79/3: 463–482.
- Burbank, Jane, and Frederick Cooper 2010. *Empires in World History*. Princeton: Princeton University Press.
- Burbank, Jane, and David Ransel (eds.) 1998. *Imperial Russia. New Histories for the Empire*. Bloomington: Indiana University Press.
- Bushkovitch, Paul 1980. *The Merchants of Moscow. 1580–1650*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Butterfield, Herbert 1955. *Man on His Past: The Study of the History of Historical Scholarship*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Calvert, Peter 2001. "Internal Colonisation, Development and Environment," *Third World Quarterly*, 22/1: 51–63.
- Cannadine, David 2001. *Ornamentalism. How the British See Their Empire*. Oxford: Oxford University Press.
- Césaire, Aimé 1955. *Discours sur le colonialisme*/ Paris: éditions Présence Africaine.

- Chari, Sharad, and Catherine Verdery 2009. "Thinking between the Posts: Postcolonialism, Postsocialism, and Ethnography after the Cold War," *Comparative Studies in Society and History*, 51/1: 1—29.
- Chatterjee, Choi, and Karen Petrone 2008. "Models of Selfhood and Subjectivity: The Soviet Case in Historical Perspective," *Slavic Review*, 67/4: 967—986.
- Chatterjee, Partha 1993. *The Nation and its Fragments. Colonial and Post-Colonial Histories*. Princeton: Princeton University Press.
- Christie, Ian R. 1993. *The Bentham's in Russia*. Oxford: Berg.
- Clay, J. Eugene 2001. "Orthodox Missionaries and 'Orthodox Heretics' in Russia, 1886—1917," in Robert Geraci and Michael Khodarkovsky (eds.), *Of Religion and Empire: Missions, Conversions, and Tolerance in Tsarist Russia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Clement, Catherine 1988. *Opera. The Undoing of Women*, trans. Betsy Wing. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Clifford, James 1988. *The Predicament of Culture. Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Coates, Paul 1991. *The Gorgon's Gaze. German Cinema, Expressionism, and the Image of Horror*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Collier, Stephen, Alex Cooley, Alexander Etkind, Bruce Grant, Jon Kyst, Harriet Murav, Marc Nichanian, and Gayatri Chakravorty Spivak 2003. "Empire, Union, Center, Satellite: Post-Colonial Theory and Slavic Studies," *Urbandus. The Slavic Review of Columbia University*, 7.
- Condee, Nancy 1995. "The Relentless Cult of Novelty," in Daniel Orlovsky (ed.), *Beyond Soviet Studies*. Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press, 289—304.
- Condee, Nancy 2006. "Drowning or Waving? Some Remarks on Russian Cultural Studies," *The Slavic and East European Journal*, 50/1: 197—203.
- Condee, Nancy 2008. "From Emigration to E-Migration: Contemporaneity and the Former Second World," in Terry Smith, Okwui Enwezor, and Nancy Condee (eds.), *Antinomies of Art and Culture. Modernity, Postmodernity, and Contemporaneity*. Durham, NC: Duke University Press, 235—249.
- Condee, Nancy 2009. *The Imperial Trace: Recent Russian Cinema*. Oxford: Oxford University Press.
- Confino, Michael 1963. *Domaines et seigneurs en Russie vers la fin du XVIIIe siècle*. Paris: Institut d'Etudes slaves de l'Université de Paris.
- Confino, Michael 2008. "The *soslovie* (estate) paradigm," *Cahiers du monde russe*, 49/4: 681—704.
- Conrad, Joseph 1919. *A Personal Record*. London: Dent.
- Conrad, Joseph 1921. "Crime of Partition," in his *Notes on Life and Letters*. London: Dent.

- Conrad, Joseph 1926. "Geography and Some Explorers," in his *Last Essays*. London: Dent.
- Conrad, Joseph 2001. *Under Western Eyes*. New York: Random House.
- Cook, Malcolm 1994. "Robinson Crusoe in Siberia: The Writing of a Novel in the Late Eighteenth Century," *Studies on Voltaire' and the Eighteenth Century*, 317: 1–43.
- Cook, Malcolm 2006. *Bernardin de Saint-Pierre. A Life of Culture*. London: Legenda.
- Cooper, Frederick, and Ann Laura Stoler 1997. "Between Metropole and Colony: Rethinking a Research Agenda," in Cooper and Stoler (eds.), *Tensions of Empire. Colonial Cultures in a Bourgeois World*. Berkeley: University of California Press, 1–58.
- Cracraft, James 1997. *The Petrine Revolution in Russian Imagery*. Chicago: University of Chicago Press.
- Cracraft, James 2004. *The Petrine Revolution in Russian Culture*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Crummey, Robert 1993. "Old Belief as Popular Religion: New Approaches," *Slavic Review*, 52: 700–712.
- Curtin, Philipp 1984. *Cross-Cultural Trade in World History*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Curtin, Philipp 2000. *The World and the West*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Curzon, George N. 1889. *Russia in Central Asia in 1889, and the Anglo-Russian Question*. London: Longmans.
- Dabag, Mihran, Horst Gründer, and Uwe-K. Ketelsen (eds). 2004. *Kolonialismus, Kolonialdiskurs und Genozid*. Munich: Wilhelm Fink.
- Dekhnewallah, A. 1879. "The Great Russian Invasion of India," in *A Sequel to the Afghanistan Campaign of 1878–9*. London: Harrison.
- Dennison, O.K., and A.W. Cams 2003. "The Invention of the Russian Rural Commune: Haxthausen and the Evidence," *The Historical Journal*, 46/3: 561–582.
- Derrida, Jacques 2009. *The Beast and the Sovereign*. Chicago: University of Chicago Press.
- Dettelbach, Michael 1996. "Forster as Linnean," in *Johann Reinhold Forster. Observations Made During A Voyage Round The World*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Diderot, Denis 1992. "Observations sur le Nakaz," in his *Political Writings*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dimou, Augusta 2009. *Entangled Paths Towards Modernity: Contextualizing Socialism and Nationalism in the Balkans*. Budapest: CEU Press.
- Dirks, Nicholas B. 2001. *Castes of Mind. Colonialism and the Making of Modern India*. Princeton: Princeton University Press.
- Dixon, William H. 1870. *Free Russia*. New York.

- Domar, Evsey 1970. "The Causes of Slavery or Serfdom," *Journal of Economic History*, 30/1, 18—32.
- Dubie, Alan 1989. *Frank A. Colder, An Adventure of a Historian in Quest of Russian History*. Boulder: East European Monographs.
- Dubnow, Simon, and Israel Friedlaender 1920. *History of the Jews in Russia and Poland*. New York.
- Dunning, Chester, 1989. "James I, the Russia Company, and the Plan to Establish a Protectorate over North Russia," *Albion*, 21/2: 206—226.
- Dunning, Chester S.L. 2001. *Russia's First Civil War: The Time of Troubles and the Founding of the Romanov Dynasty*. University Park: Penn State University Press.
- Eaton, Henry 1980. "Marx and the Russians," *Journal of the History of Ideas*, 41/1: 89—112.
- Emmons, Terence 1999. "On the Problem of Russia's 'Separate Path' in Late Imperial Historiography," in Thomas Sanders (ed.), *Historiography of Imperial Russia*. Armonk, NY: Sharpe, 163—185.
- Emmons, Terence, and Bertrand M. Patenaude 1992. *War, Revolution, and Peace in Russia: The Passages of Frank Colder*. Stanford, CA: Hoover Press.
- Engels, Frederick 1940. *The Origin of the Family, Private Property, and the State*. London: Lawrence.
- Engelstein, Laura 1999. *Castration and the Heavenly Kingdom. A Russian Folktale*. Ithaca: Cornell University Press.
- Engelstein, Laura 2009. *Slavophile Empire. Imperial Russia's Illiberal Path*. Ithaca: Cornell University Press.
- Ergang, Robert Reinhold 1966. *Herder and the Foundation of German Nationalism*. New York: Octagon.
- Etkind, Alexander 1997. *Eros of the Impossible. The History of Psychoanalysis in Russia*, trans. Noah and Maria Rubins. Boulder, CO: Westview.
- Etkind, Alexander 2003. "Whirling with the Other: Russian Populism and Religious Sects," *Russian Review*, 62/4: 565—588.
- Etkind, Alexander 2004. "Sex, Sects, and Texts: Russian Sectarians in Russian and Other Literatures," *Wiener Slawistischer Almanach*, 54: 45—56.
- Etkind, Alexander 2005. "Soviet Subjectivity: Torture for the Sake of Salvation?" *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*, 6/1: 171—186.
- Etkind, Alexander 2007. "Internalizing Colonialism: Intellectual Endeavors and Internal Affairs in mid-19th-century Russia," in Peter J.S. Duncan (ed.) *Convergence and Divergence. Russia and Eastern Europe into the Twenty-First Century*. London: SSEES, 103—120.
- Etkind, Alexander 2009. "The Kremlin's Double Monopoly" in *Russia Lost or Found?* Helsinki: Ministry of Foreign Affairs, 186—213.

- Etkind, Alexander 2010. "The Shaved Man's Burden: The Russian Novel as a Romance of Internal Colonization," in Alastair Renfrew and Galin Tihanov (eds.), *Critical Theory in Russia and the West*. London: Routledge, 124—151.
- Fanon, Frantz 1967. *The Wretched of the Earth*. New York: Weidenfeld.
- Fernandez-Armesto, Felipe and James Muldoon (eds.) 2008. *Internal Colonization in Medieval Europe*. London: Ashgate.
- Ferro, Marc 1997. *Colonization: A Global History*. London: Routledge.
- Field, Daniel, 1976. *Rebels in the Name of the Tsar*. Boston: Houghton Mifflin.
- Field, Daniel 1987. "Peasants and Propagandists in the Russian Movement to the People of 1874," *Journal of Modern History*, 59: 415—438.
- Fisher, Henry Raymond 1943. *The Russian Fur Trade, 1550—1700*. Berkeley: University of California Press.
- Fitzpatrick, Sheila 1993. "Ascribing Class: The Construction of Social Identity in Soviet Russia," *The Journal of Modern History*, 65/4: 745—770.
- Fleishman, Avrom 1967. *Conrad's Politics: Community and Anarchy in the Fiction of Joseph Conrad*. Baltimore, MD: Johns Hopkins Press.
- Fodor, Alexander 1989. *A Quest for Non-Violent Russia: The Partnership of Leo Tolstoy and Vladimir Chertkov*. Lanham, Md.: University Press of America.
- Forster, John Reinhold 1768. "A Letter from Mr. J.R. Forster Containing Some Account of a New Map of the River Volga," *Philosophical Transactions*, 58: 214—216.
- Foucault, Michel 1979. *Discipline and Punish. The Birth of the Prison*, trans. Alan Sheridan. New York: Vintage.
- Foucault, Michel 1998. *The History of Sexuality*. Vol. 1: *The Will to Knowledge*. London: Penguin.
- Foust, Clifford M. 1969. *Muscovite and Mandarin: Russia's Trade with China and Its Setting, 1727—1805*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Frank, Stephen P. 1999. *Crime, Cultural Conflict, and Justice in Rural Russia*. Berkeley: University of California Press.
- Franklin, Simon 2004. "Identity and Religion," in Simon Franklin and Emma Widdis (eds.), *National Identity in Russian Culture*. Cambridge: Cambridge University Press, 95—115.
- Franklin, Simon, and Jonathan Shepard 1996. *The Emergence of Rus, 750—1200*. London: Longman.
- Free, Melissa 2006. "Un-Erasing Crusoe: Farther Adventures in the Nineteenth Century," *Book History*, 9, 89—130.
- Freeze, Gregory 1986. "The Estate (Soslovie) Paradigm and Russian Social History," *American Historical Review*, 91/1: 11—36.
- Freeze, Gregory 1988. "A Social Mission for Russian Orthodoxy: The Kazan Requiem of 1861 for the Peasants in Bezdna," in M. Shatz and

- E. Mendelsohn (eds.), *Imperial Russia, 1700—1917: State, Society, Opposition*. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 115—135.
- Friedman, Thomas 2006. "First Law of Petropolitics," *Foreign Policy*, 154: 28—39.
- Frierson, Cathy A. 1993. *Peasant Icons. Representations of Rural People in Late Nineteenth-Century Russia*. Oxford: Oxford University Press.
- Friesen, P.M. 1978. *The Mennonite Brotherhood in Russia (1789—1910)*, trans. and ed. J.B. Toews. Fresno: Mennonite Brethren.
- Frost, Robert I. 2000. *The Northern Wars: War, State and Society in Northeastern Europe, 1558—1721*. Harlow: Longman.
- Fülöp-Miller, Rene 1927. *The Mind and Face of Bolshevism: An Examination of Cultural Life in Soviet Russia*, trans. F.S. Flint and D.F. Tait. London: Putnam.
- Gamfield, G.P. 1990. "The Pavlovtsy of Khar'kov Province, 1886—1905: Harmless Sectarians or Dangerous Rebels?," *Slavic and East European Review*, 68/4: 692—717.
- Gates, Henry Louis 1985. "Writing 'Race' and the Difference it Makes," in Gates (ed.), *Race, Writing, and Difference*. Chicago: University of Chicago Press, 1—20.
- Gellner, Ernest 1983. *Nations and Nationalism*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Gellner, Ernest 1987. *Culture, Identity, and Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gellner, Ernest 1998. *Language and Solitude. Wittgenstein, Malinowski and the Habsburg Dilemma*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gelman, Vladimir, Marganiya O. (eds.) 2010. *Resource Curse and Post-Soviet Eurasia: Oil, Gas, and Modernization*. Lexington Books.
- Geraci, Robert P. 2001. *Window on the East: National and Imperial Identities in late Tsarist Russia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Gerasimov, Ilia, Kusber, Jan and Semyonov, Alexander, 2009. *Empire Speaks Out. Languages of Rationalization and Self-Description in the Russian Empire*. Leiden: Brill.
- Gerould, Katharine Fullerton 1919. "The Remarkable Rightness of Rudyard Kipling," *Atlantic Magazine*, January.
- Gerschenkron, Alexander 1970. *Europe in the Russian Mirror*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gesemann, Wolfgang 1965. "Herder's Russia," *Journal of the History of Ideas*, 26/3: 424—434.
- Gilmour, David 1994. *Curzon*. London: John Murray.
- Girard, Rene 1965. *Deceit, Desire, and The Novel: Self and Other in Literary Structure*. Baltimore: Johns Hopkins Press.
- Girard, Rene 1995. *Violence and the Sacred*. New York: Continuum.
- Gleason, Abbot 1980. *Young Russia. The Genesis of Russian Radicalism in the 1860s*. New York: Viking.

- Glebov, Sergey 2009. "Siberian Middle Ground: Languages of Rule and Accommodation of the Siberian Frontier," in Ilia Gerasimov et al. (eds.) *Empire Speaks Out*. Leiden: Brill, 121–154.
- Go Gwilt, Christopher 1995. *The Invention of the West: Joseph Conrad and the Double-Mapping of Europe and Empire*. Stanford: Stanford University Press.
- Golder, Frank 1914. *Russian Expansion on the Pacific, 1641–1850*. New York: The Arthur H. Clark Co.
- Goldman, Marshall 2008. *Petrostate: Putin, Power and the New Russia*. Oxford: Oxford University Press.
- Gorski, Philip 2003. *The Disciplinary Revolution: Calvinism and the Growth of State Power in Early Modern Europe*. Chicago: University of Chicago Press.
- Gosden, Chris 2004. *Archaeology and Colonialism: Cultural Contact from 5000 BC to the Present*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gouldner, Alvin W. 1977. "Stalinism: A Study of Internal Colonialism," *Telos*, 34: 5–48.
- Gramsci, Antonio 1957. "The Southern Question," in his *The Modern Prince and Other Writings*. London: Lawrence, 28–54.
- Guha, Ranajit 1997. *Dominance without Hegemony. History and Power in Colonial India*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Guha, Ranajit 1998. "A Conquest Foretold," *Social Text*, 54: 85–99.
- Gulyga, Arsenij 1987. *Immanuel Kant. His Life and Thought*, trans. Marijan Despalatovic. Boston: Birk.
- Gusejnova, Dina 2012. "Book Review", *Cambridge Anthropology*, 30 (2): 147–152.
- Gutierrez, Ramon A. 2004. "Internal Colonialism: An American Theory of Race," *Du Bois Review: Social Science Research on Race*, 1: 281–295.
- Haberer, Erich 1995. *Jews and Revolution in Nineteenth-Century Russia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Habermas, Jurgen 1987. *The Theory of Communicative Action*, trans. Thomas McCarthy. Cambridge: Polity.
- Hagen, Mark von 2004. "Empires, Borderlands, and Diasporas: Eurasia as Anti-Paradigm for the Post-Soviet Era," *American Historical Review*, 109/42: 445–469.
- Halpin, Igal 2000. *Erom Darkness to Light: Class, Consciousness, and Salvation in Revolutionary Russia*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Hardy, Deborah 1987. *Land and Freedom. The Origins of Russian Terrorism, 1876–1879*. Westport, CT: Greenwood Press.
- Haxthausen, August von 1856. *The Russian Empire, Its People, Institutions, and Resources*. London: Chapman & Hall.
- Hecht, David 1947. *Russian Radicals Look to America, 1825–1894*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Hechter, Michael 1975. *Internal Colonialism. The Celtic Fringe in British National Development*. London: Routledge.
- Hechter, Michael 2001. *Containing Nationalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Heier, Edmund 1970. *Religious Schism in the Russian Aristocracy 1860—1900*. The Hague: Nijhoff.
- Hellbeck, Jochen 2000. "Speaking Out: Languages of Affirmation and Dissent in Stalinist Russia," *Kritika*, 1/1: 71—96.
- Hellie, Richard 1971. *Enserfment and Military Change in Muscovy*. Chicago: University of Chicago Press.
- Herder, J.G. 1992. *Selected Early Works*, trans. Ernest A. Menze and Michael Palma. University Park: Penn State University Press.
- Heretz, Leonid 2008. *Russia on the Eve of Modernity: Popular Religion and Traditional Culture under the Last Tsars*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hess, Jonathan M. 2000. "Johann David Michaelis and the Colonial Imaginary," *Jewish Social Studies*, 6/2: 56—101.
- Hill, Fiona, and Clifford Gaddy 2003. *The Siberian Curse. How Communist Planners Left Russia Out in the Cold*. New York: Brookings Press.
- Hind, Robert J. 1984. "The Internal Colonial Concept," *Comparative Studies in Society and History*, 26/3: 543—568.
- Hirsch, Francine 2005. *Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union*. Ithaca: Cornell University Press.
- Hitler, Adolph 1969. *Mein Kampf*, trans. Ralph Manheim. London: Hutchinson.
- Hobsbawm, E.J. 1959. *Primitive Rebels*. Manchester: Manchester University Press, 126—149.
- Hobson, John Atkinson 1902. *Imperialism: A Study*. London: Nisbet.
- Hoch, Stephen 1989. *Serfdom and Social Control in Russia: Petrowskoe, a Village in Tambou*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hokanson, Katya 1994. "Literary Imperialism, Narodnost' and Pushkin's Invention of the Caucasus," *Russian Review*, 53/3: 336—352.
- Hokanson, Katya 2010. *Writing at Russia's Border*. Toronto: University of Toronto Press.
- Holquist, Peter 2010a. "'In Accord with State Interests and the People's Wishes' — The Technocratic Ideology of Imperial Russia's Resettlement Administration," *Slavic Review*, 69/1: 151—179.
- Holquist, Peter 2010b. Review of Brian J. Boeck, *Imperial Boundaries*. *Journal of Interdisciplinary History*, 41/3: 461—463.
- Hopkirk, Peter 1996. *Quest for Kim: In Search of Kipling's Great Game*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Horvath, Robert J. 1972. "A Definition of Colonialism," *Current Anthropology* 13/1: 45—57.
- Hosking, Geoffrey 1997. *Russia. People and Empire*. London: Fontana Press.

- Hroch, Miroslav 1985. *Social Preconditions of National Revival in Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hughes, Lindsey 1998. *Russia in the Age of Peter the Great*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Hughes, Lindsey 2004. "A Beard is an Unnecessary Burden: Peter I's Laws on Shaving and Their Roots in Early Russia, in Russian Society and Culture and the Long 18th century," in Hughes (ed.), *Essays in Honour of Anthony Cross*. Munich: Lit Verlag, 21—34.
- Hunter, Ian 2001. *Rival Enlightenments. Civil and Metaphysical Philosophy in Early Modern Germany*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Huxley, Aldous 1958. *Music at Night and Other Essays*. New York: Harper.
- Innis, Harold. (1977) *The Fur Trade in Canada: An Introduction to Canadian Economic History*. Toronto: University of Toronto Press.
- Jones, Robert E. 2001. "Why St. Petersburg?," in *Peter the Great and the West. New Perspectives*. New York: Palgrave, 189—205.
- Jonge, Alex de 1982. *The Lives and Times of Grigorii Rasputin*. New York: Coward, McCann and Geoghegan.
- Kaplan, Herbert H. 1968. *Russia and the Outbreak of the Seven Years War*. Berkeley: University of California Press.
- Kappeler, Andreas 2001. *The Russian Empire: A Multiethnic History*, trans. Alfred Clayton. Harlow: Longman.
- Kappeler, Andreas 2009. "From an Ethnonational to a Multiethnic to a Transnational Ukrainian History," in Georgiy Kasianov and Philipp Ther (eds.), *A Laboratory of Transnational History: Ukraine and Recent Ukrainian Historiography*. Budapest: Central European University Press, 51—80.
- Keenleyside, Anne, Margaret Bertulli, and Henry Fricke 1997. "The Final Days of the Franklin Expedition: New Skeletal Evidence," *Arctic*, 50/1: 36—46.
- Kellogg, Michael 2005. *The Russian Roots of Nazism: White Emigres and the Making of National Socialism, 1917—1945*. New York: Cambridge University Press.
- Kempe, Michael 2007. "The Anthropology of Natural Law: Debates about Pufendorf in the Age of Enlightenment," in Larry Wolff and Marco Cipolloni (eds.), *The Anthropology of the Enlightenment*. Stanford: Stanford University Press.
- Kennan, George 1870. *Tent-life in Siberia and Adventures among the Koraks and Other Tribes in Kamtchatka and Northern Asia*. New York: Putnam.
- Kennan, George 1946. "Long Telegram," <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/coldwar/documents/episode-1/kennan.htm>
- Khalid, Adeeb, Nathaniel Knight, and Maria Todorova 2000. "Ex Tempore: Orientalism and Russia," *Kritika*, 1/4: 691—728.
- Kharkhordin, Oleg 1999. *The Collective and the Individual in Russia: A Study of Practices*. Berkeley: University of California Press.

- Khodarkovsky, Michael 1992. *Where Two Worlds Met: The Russian State and the Kalmyk Nomads*. Ithaca: Cornell University Press.
- Khodarkovsky, Michael 2002. *Russia's Steppe Frontier: The Making of a Colonial Empire, 1500—1800*. Bloomington, IN: Indiana University Press.
- King, Robert J. 2008. "The Mulovsky Expedition and Catherine II's North Pacific Empire," *Australian Slavonic and East European Studies*, 21/1: 97—122.
- Kipling, Rudyard 1952. *A Choice of Kipling's Prose*. Selected by W. Somerset Maugham. London: Macmillan.
- Klein, Lawrence E., and Anthony J. La Vopa (eds.) 1998. *Enthusiasm and Enlightenment in Europe, 1650—1850*. San Marino, CA: Huntington.
- Klibanov, Aleksandr 1982. *History of Religious Sectarianism in Russia, 1860s—1917*, trans. Ethel Dunn. New York: Pergamon.
- Klier, John Doyle 1986. *Russia Gathers Her Jews*. DeKalb: Northern Illinois University Press.
- Kloberdanz, Timothy J. 1975. "The Volga Germans in Old Russia and in Western North America," *Anthropological Quarterly*, 48/4: 209—222.
- Knei-Paz, Baruch 1978. *The Social and Political Thought of Leon Trotsky*. Oxford: Clarendon.
- Knight, Nathaniel 1998. "Science, Empire, and Nationality: Ethnography in the Russian Geographical Society, 1845—1855," in Jane Burbank and David Ransel (eds.), *Imperial Russia. New Histories for the Empire*. Bloomington: Indiana University Press, 108—148.
- Knight, Nathaniel 2000. "Grigor'ev in Orenburg, 1851—1862: Russian Orientalism in the Service of Empire?," *Slavic Review*, 59/1: 74—100.
- Koehl, Robert Lewis 1953. "Colonialism inside Germany, 1886—1918," *Journal of Modern History*, 25/3: 255—272.
- Kolchin, Peter 1987. *Unfree Labor. American Slavery and Russian Serfdom*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kopp, Kristin 2011. "Gray Zones: On the Inclusion of 'Poland' in the Study of German Colonialism," in Michael Perraudin and Jurgen Zimmerer (eds.), *German Colonialism and National Identity*. London: Routledge, 33—44.
- Koselleck, Reinhart 2004. *Futures Past*, trans. Keith Tribe. New York: Columbia University Press.
- Kristeva, Julia 1991. *Strangers to Ourselves*. New York: Columbia University Press.
- Krylova, Anna 2000. "The Tenacious Liberal Subject in Soviet Studies," *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*, 1/1: 119—146.
- Kuehn, Manfred 2001. *Kant: A Biography*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kuehn, Manfred, and Heiner Klemme n. d. "Daniel Heinrich Arnoldt," <http://www.manchester.edu/kant/bio/FullBio/ArnoldtDH.html>.

- Lantzeff, George V. 1972. *Siberia in the Seventeenth Century. A Study of the Colonial Administration*. New York: Octagon.
- Lantzeff, George V., and Richard A. Pierce 1973. *Eastward to Empire. Exploration and Conquest on the Russian Open Frontier, to 1750*. Montreal: McGill-Queen's University Press.
- La Vopa, Anthony J. 1995. "Herder's Publikum: Language, Print, and Sociability in Eighteenth-Century Germany," *Eighteenth-Century Studies*, 29/1: 5–24.
- La Vopa, Anthony J. 2005. "Thinking about Marriage: Kant's Liberalism and the Peculiar Morality of Conjugal Union," *The Journal of Modern History*, 77 (March): 1–34.
- Layton, Susan 1994. *Russian Literature and Empire: Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lieven, Dominic 2003. *Empire: The Russian Empire and Its Rivals*. London: Random House.
- Lincoln, Bruce W. 1982. *In the Vanguard of Reform. Russia's Enlightened Bureaucrats*. DeKalb: Northern Illinois University Press.
- Liu, John 2000. "Towards an Understanding of the Internal Colonial Model," in Diana Braun (ed.), *Postcolonialism. Critical Concepts in Literary and Cultural Studies*, vol. 4. London: Routledge, 1347–1365.
- Love, Joseph L. 1989. "Modeling Internal Colonialism: History and Prospect," *World Development*, 17/6: 905–922.
- Lowe, Heinz-Dietrich 2000. "Poles, Jews, and Tartars: Religion, Ethnicity, and Social Structure in Tsarist Nationality Policies," *Jewish Social Studies*, 6/3: 52–96.
- Luxemburg, Rosa 2003. *The Accumulation of Capital*. London: Routledge.
- Macaulay, Thomas B. 1862. *Minutes on Education in India*, collected by H. Woodrow. Calcutta: Lewis.
- Maiorova, Olga 2010. *From the Shadow of Empire. Defining the Russian Nation through Cultural Mythology, 1855–1870*. Madison: University of Wisconsin Press.
- Malia, Martin 2006. *History's Locomotives. Revolutions and the Making of the Modern World*. New Haven: Yale University Press.
- Malik, Charles 1953. "The Relations Between East and West," *Proceedings of the American Philosophical Society*, 97/1: 1–7.
- Malkin, Irad 2004. "Postcolonial Concepts and Ancient Greek Colonization," *Modern Language Quarterly*, 65/3: 341–364.
- Manchester, Laurie 1998. "The Secularization of the Search for Salvation: The Self-Fashioning of Orthodox Clergymen's Sons in Late Imperial Russia," *Slavic Review*, 57/1: 50–76.
- Manchester, Laurie 2008. *Holy Fathers, Secular Sons. Clergy, Intelligentsia, and the Modern Self in Revolutionary Russia*. DeKalb: Northern Illinois University Press.

- Mann, Michael 1996. *The Sources of Social Power*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mann, Michael 2005. *The Dark Side of Democracy. Explaining Ethnic Cleansing*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mantena, Karuna 2010a. "Genealogies of Catastrophe: Arendt on the Logic and Legacy of Imperialism," in Seyla Benhabib (ed.), *Politics in Dark Times. Encounters with Hannah Arendt*. Cambridge: Cambridge University Press, 83—112.
- Mantena, Karuna 2010b. *Alibis of Empire. Henry Maine and the Ends of Liberal Imperialism*. Princeton: Princeton University Press.
- Martin, Janet 2004. *Treasure of the Land of Darkness: The Fur Trade and Its Significance for Medieval Russia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Martin, Terry 2001. *The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923—1939*. Cornell University Press.
- Martin, Virginia 2001. *Law and Custom in the Steppe: The Kazakhs of the Middle Horde and Russian Colonialism in the Nineteenth Century*. Richmond, UK: Curzon Press.
- Mauss, Marcel 2002. *The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies*. London: Routledge.
- McClure, John A. 1981. *Kipling and Conrad. The Colonial Fiction*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- McLean, Hugh 1977. *Nikolai Leskov: The Man and His Art*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- McMeekin, Sean 2011. *The Russian Origins of the First World War*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Meek, James 2005. *The People's Act of Love*. London: Canongate.
- Meek, Ronald, 1976. *Social Science and Ignoble Savage*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Meyer, Priscilla 2009. *How the Russians Read the French: Lermontov, Dostoevsky and Tolstoy*. Madison: University of Wisconsin Press.
- Millward, Robert 1982. "An Economic Analysis of the Organization of Serfdom in Eastern Europe," *Journal of Economic History*, 42: 513—548.
- Mironov, Boris 1985. "The Russian Peasant Commune After the Reforms of the 1860s," *Slavic Review*, 44/3: 438—467.
- Moon, David 1999. *The Russian Peasantry. The World the Peasants Made*. London: Longman.
- Moon, David 2010. "The Russian Academy of Sciences Expeditions to the Steppes in the Late Eighteenth Century," *Slavonic and East European Review*, 88/1: 204—236.
- Moore, David Chioni 2001. "Is the Post— in Postcolonial the Post— in Post— Soviet?" *PMLA*, 116/1: 111—128.
- Morris, Henry C. 1900. *The History of Colonization*. New York: Macmillan.
- Morrison, Alexander S. 2008. *Russian Rule in Samarkand, 1868—1910: A Comparison with British India*. Oxford: Oxford University Press.

- Murav, Harriette 1998. *Russia's Legal Fictions*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Nash, Gary B. 2000. *Red, White, and Black: The Peoples of Early North America*. New York: Prentice Hall.
- Nathans, Benjamin 2002. *Beyond the Pale: The Jewish Encounter with Late Imperial Russia*. Berkeley: University of California Press.
- Nelson, Robert L. 2009. "The Archive for Inner Colonization, the German East, and World War I," in Robert L. Nelson (ed.), *Germans, Poland, and Colonial Expansion to the East*. London: Palgrave, 65–94.
- Nelson, Robert L. 2010. "From Manitoba to the Memel: Max Sering, Inner Colonization, and the German East", *Social History*, 35/4: 439–457.
- Netzloff, Mark 2003. *England's Internal Colonies: Class, Capital, and the Literature of Early Modern English Colonialism*. London: Palgrave.
- Newlin, Thomas 2001. *The Voice in the Garden: Andrei Bolotov and the Anxieties of Russian Pastoral, 1738–1833*. Evanston, IL: Northwestern University Press.
- Niland, Richard 2010. *Conrad and History*. Oxford: Oxford University Press.
- Nolde, Boris 1952. *La formation de l'Empire Russe*, vol. 2. Paris: Institut des Etudes Slaves.
- Nordhoff, Charles 1875. *The Communistic Societies of the United States*. New York: Harper & Brothers.
- North, Douglass C., John Joseph Wallis, and Barry R. Weingast 2009. *Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Obolensky, Dimitri 1982. "The Varangian-Russian Controversy: the First Round," in his *The Byzantine Inheritance of Eastern Europe*. London: Variorum.
- Offord, Derek 2010. "The People," in William Leatherbarrow and Derek Offord (eds.), *History of Russian Thought*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Orlovsky, Daniel T. 1981. *The Limits of Reform: The Ministry of Internal Affairs in Imperial Russia, 1802–1881*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Paddock, Troy R.E. 2010. *Creating the Russian Peril: Education, the Public Sphere, and National Identity in Imperial Germany*. New York: Camden House.
- Paert, Irina 2004. *Old Believers: Religious Dissent and Gender in Russia*. Manchester: Manchester University Press.
- Palmer, Alan 2005. *Northern Shores: A History of the Baltic Sea and its Peoples*. London: John Murray.
- Paperno, Irina 1997. *Suicide as a Cultural Institution in Dostoevsky's Russia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Patterson, Orlando 1982. *Slavery and Social Death. A Comparative Study*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Peterkin, Allan 2001. *One Thousand Beards. A Cultural History of Facial Hair*. Vancouver, BC: Arsenal Pulp Press.
- Pettengill, John S. 1979. "The Impact of Military Technology on European Income Distribution," *Journal of Interdisciplinary History*, 10/2: 201—225.
- Pietz, William 1988. "The 'Post-Colonialism' of Cold War Discourse," *Social Text*, 19/20: 55—75.
- Pintner, Walter 1967. *Russian Economic Policy under Nicolas I*. Ithaca: Cornell University Press.
- Pipes, Richard 1950. "The Russian Military Colonies 1810—1831," *Journal of Modern History*, 22: 205—219.
- Pletsch, Carl E. 1981. "The Three Worlds, or the Division of Social Scientific Labor," *Comparative Studies in Society and History*, 23/4: 565—590.
- Polanyi, Karl 1944. *The Great Transformation: Economic and Political Origins of Our Time*. New York: Rinehart.
- Prakash, Gyan 1994. "Subaltern Studies as Postcolonial Criticism," *American Historical Review*, 99/5: 1475—1490.
- Prakash, Gyan 1996. "Who is Afraid of Postcoloniality?" *Social Text*, 49: 187—203.
- Pratt, Mary Louise 1992. *Imperial Eyes. Travel Writing and Acculturation*. London: Routledge.
- Pufendorf, Samuel 1764. *An Introduction to the History of the Principal States of Europe*. London.
- Pufendorf, Samuel 2002. "On the Law of Nature and Nations" [1670], in Thomas Hobbes, *Leviathan*, Broadway.
- Radkau, Joachim 2009. *Max Weber. A Biography*. Cambridge: Polity.
- Raeff, Marc 1983. *The Well-Ordered Police State: Social and Institutional Change Through Law in the Germanies and Russia, 1600—1800*. New Haven: Yale University Press.
- Ram, Harsha 2003. *The Imperial Sublime. A Russian Poetics of Empire*. Madison: University of Wisconsin Press.
- Raynal, Abbe, 1777. *A Philosophical and Political History of the Settlements and Trade of the Europeans in the East and West Indies*, trans. J. Justamond. London: Cadell.
- Redekop, Benjamin W. 1997. "Thomas Abbt and the Formation of an Enlightened German 'Public,'" *Journal of the History of Ideas*, 58/1: 81—103.
- Renan, Ernest 1996. "What is a Nation?" in Geoff Eley and Ronald Grigor Suny (eds.), *Becoming National*. Oxford: Oxford University Press, 42—56.
- Reynolds, Reginald 1949. *Beards: Their Social Standing, Religious Involvements, Decorative Possibilities, and Value in Offence and Defence Through the Ages*. New York: Doubleday.

- Riasanovsky, Nicholas V. 1959. *Nicholas I and Official Nationality in Russia*. Berkeley: University of California Press.
- Riasanovsky, Nicholas V. 1985. *The Image of Peter the Great in Russian History and Thought*. Oxford: Oxford University Press.
- Rich E.E. 1955. "Russia and the Colonial Fur Trade," *Economic History Review*, 7/3: 307—328.
- Riga, Liliana 2012. *The Bolsheviks and the Russian Empire*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Reid, Anna 2002. *The Shaman's Coat. A Native History of Siberia*. London: Weidenfeld.
- Robson, Roy R. 1995. *Old-Believers in Modern Russia*. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press.
- Rogger, Hans 1960. *National Consciousness in Eighteenth-century Russia*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rogger, Hans 1993. "Reforming Jews — Reforming Russians," in Herbert A. Strauss (ed.), *Hostages of Modernization. Studies on Modern Anti-Semitism*, vol. 2. Berlin: de Gruyter.
- Rosenthal, Bernice Glatzer 2004. *New Myth, New World: From Nietzsche To Stalinism*. Philadelphia: Penn State University Press.
- Ross, Kristin 1996. *East Cars, Clean Bodies. Decolonization and the Reordering of French Culture*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Ross, Michael L. 2001. "Does Oil Hinder Democracy?," *World Politics*, 53: 325—361.
- Ross, Michael L. 2012. *The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations*. Princeton: Princeton University Press.
- Rothberg, Michael 2009. *Multidirectional Memory*. Stanford: Stanford University Press.
- Rowley, David G. 1999. "'Redeemer Empire': Russian Millenarianism," *American Historical Review*, 104/5: 1582—1602.
- Sacher-Masoch, Leopold 1883. *Die Gottesmutter*. Leipzig.
- Sachs, Ignacy 1976. *The Discovery of the Third World*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Sahadeo, Jeff 2007. *Russian Colonial Society in Tashkent*. Bloomington: Indiana University Press.
- Sahni, Kalpana 1997. *Crucifying the Orient: Russian Orientalism and the Colonization of Caucasus and Central Asia*. Bangkok; Oslo: White Orchid Press.
- Said, Edward W. 1966. *Joseph Conrad and the Fiction of Autobiography*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Said, Edward W. 1985. *Beginnings. Intention and Method*. New York: Basic Books.
- Said, Edward W. 1993. *Culture and Imperialism*. New York: Knopf.
- Said, Edward W. 1999. *Out of Place*. London: Granta.
- Said, Edward W. 2003. *Freud and the Non-European*. London: Verso.

- Sartre, Jean-Paul, 1963. "Preface" to Frantz Fanon's *The Wretched of the Earth*. New York: Grove Press.
- Scherr, Barry 2003. "Gorky and God-Building," in Joan Delaney Grossman and Ruth Rischin (eds.), *William James in Russian Culture*. Lanham, MD: Lexington, 189—210.
- Schimmelpenninck van der Oye, David 2010. *Russian Orientalism. Asia in the Russian Mind from Peter the Great to the Emigration*. New Haven: Yale University Press.
- Schmitt, Carl 1976. *The Concept of the Political*, trans. George Schwab. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
- Schmoller, Gustav 1886. "Die preußische Kolonisation des 17. und 18. Jahrhundert," in *Verein für Socialpolitik, Zur Inneren Kolonisation in Deutschland: Erfahrungen und Vorschläge*. Leipzig: Duncker & Humblot, 1—43.
- Schumann, Matt, and Karl W. Schweizer 2008. *The Seven Years War: A Transatlantic History*. London: Routledge.
- Schweizer, Karl 1989. *England, Prussia, and the Seven Years War*. Lewiston, NY: Edwin Mellen Press.
- Scott, H.M. 2001. *The Emergence of the Eastern Powers*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Scott, James N. 1990. *Hidden Transcripts. Domination and the Arts of Resistance*. New Haven: Yale University Press.
- Scott, James C. 1998. *Seeing Like a State*. New Haven: Yale University Press.
- Seddon, J.H. 1985. *The Petrashevtsy. A Study of the Russian Revolutionaries of 1848*. Manchester: Manchester University Press.
- Shanin, Teodor 1983. *Late Marx and the Russian Road*. London: Monthly Review Press.
- Shannon, John 1990. "Regional Variations in the Commune: The Case of Siberia," in R.P. Bartlett (ed.), *Land Commune and Peasant Community in Russia*. Basingstoke: Macmillan.
- Sharpe, Jenny 1991. "The Unspeakable Limits of Rape: Colonial Violence and Counter-Insurgency," *Genders*, 10: 25—46.
- Shkandrij, Miroslav 2001. *Russia and Ukraine. Literature and the Discourse of Empire from Napoleonic to Postcolonial Times*. Montreal: McGill University Press.
- Sieyes, Emmanuel Joseph 2003. *Political Writings*. Indianapolis: Hackett.
- Slezkine, Yuri 1994. *Arctic Mirrors. Russia and the Small Peoples of the North*. Ithaca: Cornell University Press.
- Slezkine, Yuri 2004. *The Jewish Century*. Princeton: Princeton University Press.
- Smith, Douglas 2012. *Former People. The Last Days of the Russian Aristocracy*. London: Macmillan.
- Snyder, Timothy 2010. *Bloodlands. Europe between Hitler and Stalin*. London: The Bodley Head.

- Spivak, Gayatri Chakravorty 1994. "Can the Subaltern Speak?" in Patrick Williams and Laura Chrisman (eds.), *Colonial Discourse and Post-Colonial Theory*. Harlow: Pearson, 66—112.
- Spivak, Gayatri Chakravorty 1999. *A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Spurr, David 1993. *The Rhetoric of Empire. Colonial Discourse in Journalism, Travel Writing, and Imperial Administration*. Durham, NC: Duke University Press.
- Ssorin-Chaikov Nikolai V. 2003. *The Social Life of the State in Subarctic Siberia*, Stanford, California, Stanford University Press.
- Stagl, Justin 1995. *A History of Curiosity. The Theory of Travel*. Chur: Harwood.
- Stanislawski, Michael 1983. *Tsar Nicholas I and the Jews*. Philadelphia: Jewish Publication Society of America.
- Stanziani, Alessandro 2008. "Free Labor-Forced Labor: An Uncertain Boundary?," *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*, 9/1: 27—52.
- Starr, S. Frederick 1968. "August von Haxthausen and Russia," *The Slavonic and East European Review*, 46/107: 462—478.
- Stead, W.T. 1888, *Truth about Russia*. London: Cassell & Company.
- Steinberg, Mark, and Heather J. Coleman 2007. *Sacred Stories: Religion and Spirituality in Modern Russia*. Bloomington: Indiana University Press.
- Stites, Richard 1989. *Revolutionary Dreams*. Oxford: Oxford University Press.
- Stoler, Ann Laura 1995. *Race and Education of Sexuality*. Durham: Duke University Press.
- Stoler, Ann Laura 2009. "Considerations on Imperial Comparisons," in Ilia Gerasimov et al. (eds.), *Empire Speaks Out*. Leiden: Brill, 33—58.
- Sunderland, Willard 1993. "Peasants on the Move: State Peasant Resettlement in Imperial Russia, 1805—1830," *Russian Review*, 52/4: 472—485.
- Sunderland, Willard 1996. "Russians into Iakuts? 'Going Native' and Problems of Russian National Identity in the Siberian North," *Slavic Review*, 55/4: 806—825.
- Sunderland, Willard 2004. *Taming the Wild Field: Colonization and Empire on the Russian Steppe*. Ithaca: Cornell University Press.
- Sunderland, Willard 2010. "The Ministry of Asiatic Russia: The Colonial Office That Never Was But Might Have Been," *Slavic Review*, 69: 120—150.
- Suny, Ronald Grigor 2001. "The Empire Strikes Out: Imperial Russia, 'National' Identity, and Theories of Empire," in his *Empire and Nation-Making in the Soviet Union, 1917—1953*. Oxford: Oxford University Press.
- Swift, Simon 2005. "Kant, Herder, and the Question of Philosophical Anthropology," *Textual Practice*, 19/2: 219—238.

- Taagepera, Rein 1988. "An Overview of the Growth of the Russian Empire," in Michael Rywkin (ed.), *Russian Colonial Expansion to 1917*. London: Mansell, 1–8.
- Taves, Ann 1999. *Fits, Trances and Visions*. Princeton: Princeton University Press.
- Teller, Edward, and Charles Malik 1960. "To Meet the Communist Challenge." Address delivered at St Louis University.
- Thompson, Ewa 2000. *Imperial Knowledge: Russian Literature and Colonialism*. Westport, CT: Greenwood.
- Tilly, Charles 1990. *Coercion, Capital, and European States*. Malden, MA: Blackwell.
- Tolz, Vera 2005. "Orientalism, Nationalism, and Ethnic Diversity in Late Imperial Russia," *The Historical Journal*, 48: 127–150.
- Trotsky, Leon 1959. *The Russian Revolution*, trans. Max Eastman. New York: Doubleday.
- Turner, Frederick Jackson 1920. *The Frontier in American History*. New York: Holt.
- Uvarov, Sergei 1810. *Projet d'une Academie Asiatique*. St. Petersburg.
- Uvarov, Sergei 1817. *Essay on Eleusinian Mysteries*, trans. J.D. Price. London.
- Vasil'ev, Aleksandr 1946. *The Russian Attack on Constantinople in 860*. Cambridge, MA: Medieval Academy of America.
- Veale, Elspeth M. 1966. *The English Fur Trade in the Later Middle Ages*. Oxford: Oxford University Press.
- Velychenko, Stephen 2012. "Ukrainian Anticolonialist Thought", *Ab Imperio*, 4, 339–371.
- Venturi, Franco 1982. *Studies in Free Russia*. Chicago: University of Chicago Press.
- Vermeulen, Han F. 2006. "The German Invention of Volkerkunde. Ethnological Discourse in Europe and Asia, 1740–1798," in Sara Eigen and Mark Lattimore (eds.), *The German Invention of Race*. New York: State University of New York Press, 123–147.
- Vermeulen, Han F. 2008. "Early History of Ethnography and Ethnology in the German Enlightenment: Anthropological Discourse in Europe and Asia, 1710–1808." PhD thesis, University of Leiden.
- Viola, Lynne 2009. "Die Selbstkolonisierung der Sowjetunion und der Gulag der 1930er Jahre," in *United Europe-Divided Memory*, trans. Karl-Heinz Siber; special issue of *Transit. Europaeische Revue*, ed. Klaus Nelen, no. 38 (winter): 34–56.
- Volodarsky, Mikhail 1984. "The Russians in Afghanistan in the 1830s," *Central Asian Survey*, 3/1: 63–86.
- Vroon, Ronald 1994. "The Old Belief and Sectarianism as Cultural Models in the Silver Age," in Robert P. Hughes and Irina Paperno (eds.), *Christianity and the Eastern Slavs*. Berkeley, CA: University of California Press.

- Wachtel, Andrew Baruch 1994. *An Obsession with History: Russian Writers Confront the Past*. Stanford: Stanford University Press.
- Wakefield, Andre 2009. *The Disordered Police State. German Cameralism in Science and Practice*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Wakefield, Edward Gibbon 1849. *A View of the Art of Colonization*. London.
- Walicki, A. 1969. *The Controversy Over Capitalism: Studies in the Social Philosophy of the Russian Populists*. Oxford: Clarendon.
- Walzer, Michael 1965. *The Revolution of the Saints: A Study in the Origins of Radical Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Walzer, Michael 2004. *Politics and Passion. Toward a More Egalitarian Liberalism*. New Haven: Yale University Press.
- Washington, Booker T., W.E.B. DuBois, and James Weldon Johnson 1965. "The Souls of Black Folk," in *Three Negro Classics*. New York: Avon Books.
- Watson, Alexander John 2006. *Marginal Man: The Dark Vision of Harold Innis*. Toronto: University of Toronto Press.
- Watts, Edward 1998. *Writing and Postcolonialism in the Early Republic*. Charlottesville: University Press of Virginia.
- Wcislo, Francis W. 1990. *Reforming Rural Russia: State, Local Society, and National Politics, 1855–1914*. Princeton: Princeton University Press.
- Webb, Walter Prescott 1931. *The Great Plains*. Waltham, Mass: Blaisdell.
- Webber, Andrew 1996. *The Doppelgänger: Double Visions in German Literature*. Oxford: Clarendon Press.
- Weber, Eugen 1976. *Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France*. Stanford: Stanford University Press.
- Weber, Max 1979. *Economy and Society*. Berkeley: University of California Press.
- Weber, Max 1995. *The Russian Revolutions*, trans. Gordon C. Wells and Peter Baehr. Oxford: Oxford University Press.
- Weizmann, Chaim 1949. *Trial and Error. An Autobiography*. London: Hamish.
- Werrett, Simon 2010. *Fireworks: Pyrotechnic Arts and Sciences in European History*. Chicago: University of Chicago Press.
- West, James L. 1991. "The Riabushinsky Circle: Burzhuazii and Obshecestvennost in Late Imperial Russia," in his *Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia*. Princeton: Princeton University Press, 41–56.
- Whittaker, Cynthia H. 1984. *The Origins of Modern Russian Education; An Intellectual Biography of Count Sergei Uvarov*. DeKalb: Northern Illinois University Press.
- Widdis, Emma 2004. "Russia as Space," in Simon Franklin and Emma Widdis (eds.), *National Identity in Russian Culture*. Cambridge: Cambridge University Press, 30–50.
- Williams, Robert Chadwell 1986. *The Other Bolsheviks: Lenin and His Critics, 1904–1914*. Bloomington: Indiana University Press.

ЛИТЕРАТУРА

- Wirtschafter, Elise Kimerling 1997. *Social Identity in Imperial Russia*. DeKalb: Northern Illinois University Press.
- Wood, Michael 2003. "On Edward Said," *London Review of Books*, October 23.
- Wortman, Richard 1995. *Scenarios of Power, Myth and Ceremony in Russian Monarchy*, vol. 1. Princeton: Princeton University Press.
- Yapp, Malcolm 1987. "British Perceptions of the Russian Threat to India," *Modern Asian Studies*, 21: 647—665.
- Young, Robert 1772. *Political Essays Concerning the Present State of the British Empire*. London: Strahan and Cadell.
- Young-Bruehl, Elisabeth 1982. *Hannah Arendt. For Love of the World*. New Haven: Yale University Press.
- Zammito, John H. 2002. *Kant, Herder, and the Birth of Anthropology*. Chicago: University of Chicago Press.
- Zhuk, Sergei 2004. *Russia's Lost Reformation: Peasants, Millennialism, and Radical Sects in Southern Russia and Ukraine*. Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press.
- Zimmerman, Andrew 2006. "Decolonizing Weber," *Postcolonial Studies*, 9/1: 53—79.
- Znamenski, Andrei A. 2007. "The Ethic of Empire on the Siberian Borderland," in Nicholas B. Breyfogle, Abby Schrader, and William Sunderland (eds.), *Peopling the Russian Periphery. Borderland Colonization in Eurasian History*. London: Routledge, 106—128.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. Джозеф Суэйн (Joseph Swain). Спасите меня от моих друзей! (Save me from my friends!). 1878. Источник. *Punch, or the London Charivari*, 30 ноября 1878.
2. Чарльз Малик и Элеанор Рузвельт работают над текстом Всеобщей декларации прав человека. 1948. Источник: <http://www.chahadatouna.com/images/Charles%20malik2.jpg>.
3. Виктор Васнецов. Прибытие Рюрика в Ладогу. 1909. Источник <http://www.vasnesov.ru/>.
4. Герб Августа Людвиг Шлёцера. Источник: Гербовник Российской империи.
5. Орест Кипренский. Портрет Сергея Уварова. 1815. Источник: Wikimedia Commons.
6. Алексей Оленин. Деметра-Церера, греко-римская богиня. 1812. Источник: Из «Опыта об элевсинских мистериях» Сергея Уварова.
7. Василий Суриков. Покорение Сибири Ермаком. 1895. Источник: Wikimedia Commons.
8. Сбор ясака казаками Енисейской губернии. XIX в., акварель неизвестного художника. Красноярский краеведческий музей.
9. Герб Строгановых. 1753. Источник: Гербовник Российской империи. Источник: Wikimedia Commons.
10. Герб Абрама Ганнибала. Ок. 1742. Источник: Фридман Г. Гипотезы и легенды о происхождении Абрама Ганнибала // Заметки по еврейской истории. 2006. № 2/63.
11. Сальватор Тончи. Портрет Гавриила Державина. 1801. Источник: Wikimedia Commons.
12. Карл Брюллов. Портрет военного со слугой. 1830-е гг. Источник: <http://gallerix.ru/album/Brullov/pic/glrх-863742065>.
13. Фейерверки в честь Екатерины во время путешествия в Крым. 1780. Источник: Wikimedia Commons.
14. Иоганн Рейнгольд Форстер. Карта германских колоний в Поволжье. 1768. Источник: *Philosophical Transactions of the Royal Society*. 1768. Vol. 58, p. 214—216.
15. Кавалерийский манеж в Селище под Новгородом, построен в 1818—1825 гг. Источник: Wikimedia Commons.
16. Август фон Гакстгаузен. 1860. Источник: Wikimedia Commons.
17. Перовские — потомки Алексея Разумовского (1748—1822)
18. «Штаб и пехота на верблюдах». Поход российской армии из Оренбурга в Хиву. 1839—1840.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

19. Пушкин и Даль в виде святых Косьмы и Дамиана. Икона XIX в. Источник: Православие и атеизм в СССР. Музей истории религии и атеизма. Л., 1981.
20. Автопортрет Андрея Болотова. Ок. 1790. Источник: Жизнь и приключения Болотова, описанные самим им для своих потомков. Т. 2. М.-Л., 1931.
21. Афанасий Шапов. Источник: Шапов А. Сочинения. СПб., 1906.
22. Ленин и Бонч-Бруевич. 16 октября 1918 г.
23. Александр Бенуа. Иллюстрация к «Медному всаднику» Пушкина. 1903.

Индекс

- Абт, Томас 297, 298, 420
Агамбен, Джорджо 124, 171, 404
Аксаков, Иван Сергеевич 241, 253, 254, 268, 313, 394, 402
Александр I 80, 82, 204, 212
Алеуты 33, 120, 132
Аляска 13, 15, 25, 97, 98, 120, 121, 123, 124, 129, 130, 134, 136, 166, 189
Амазонки 73, 76, 77, 177, 201
Аманат 120, 122
Америка 12, 14, 15, 19, 30, 31, 36, 37, 86, 92, 94—96, 120, 123, 127, 129, 130, 134, 145, 152, 162, 164, 169, 173—174, 188, 189, 195, 197, 201, 208, 210, 218, 220, 306, 310, 317, 318, 320, 326, 336, 339, 346, 365, 380, 381, 386, 391, 396, 397, 402
Англия (Британия) 12, 19, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 46—48, 50—59, 61, 65, 77, 81, 82, 85, 92, 100, 106, 113, 120, 123, 125, 128—129, 134—135, 143—144, 151, 154—155, 162, 165, 169, 172, 184—185, 188—189, 200—201, 205, 209—211, 213, 223, 240, 274, 283, 297, 300, 317, 326, 327, 332, 336—337, 340, 343, 345, 349, 351, 353, 360, 387—388, 390, 393
Аптекман, Осип 317, 394
Аракчеев, Алексей Андреевич 213, 214, 402
Аргонавты 131, 135
Арендт, Хана 7, 19, 35, 39—41, 45, 71, 92, 137, 175, 299, 301, 367, 405, 406, 418, 426
Арнольдт, Даниэль Генрих 287, 288, 416
Архангельск 15, 35, 48, 127, 128, 154, 195
Афганистан 55—57, 409, 424
Афроамериканцы 19, 91
- Баба, Хоми 25—27, 47, 91, 221, 374, 377, 406
Байрон, Джордж Гордон 166
Бакунин, Михаил Александрович 172, 312, 313, 319, 396
Бальфур, Артур Джеймс 48, 59—62
Бахметев, Павел 206
Бахтин, Михаил Михайлович 22, 355—357, 363, 364, 367, 375, 376, 394
Башкирия (башкиры) 104, 105, 228, 275, 360
Белинский, Виссарион Григорьевич 28, 29, 69, 145, 147, 148, 149, 162, 378, 394
Белый, Андрей 325, 370—372, 378, 398
Бентам, Иеремия 209—211, 401, 406, 408
Бентам, Самуил 209, 210
Беньямин, Вальтер 8—10, 376, 384, 406

- Бератц, Готтлиб 204, 406
Бербанк, Джейн 6, 10, 392, 407, 416
Беренс, братья 297, 406
Берк, Эдмунд 31
Берлин, Исая 240, 285, 294, 295, 297, 406
Берман, Рассел 47, 406
Бернал, Мартин 83, 84,
Бисмарк, Отто 37, 45, 387, 405
Блок, Александр Александрович 188
Блонер, Роберт 19, 406
Богостроители 344
Бойм, Светлана 5, 39, 407
Болотов, Андрей Тимофеевич 190, 276, 277, 281—294, 298, 301, 360,
394, 419, 427
Большая игра 13, 53, 55, 351
Бонч-Бруевич, Владимир Дмитриевич 311, 314, 323—325, 394, 402, 404,
427
Бороды 146, 156—158, 161, 221, 264, 346, 360, 362
Бояновска, Эдита 27, 185, 407
Брюллов, Карл 180, 374, 389, 427,
Булгарин, Фаддей Венедиктович 27, 168, 169, 243, 394, 401
Буленвилье, Анри де 71, 72
Бумеранга эффект 39—42, 59, 237, 266
Бэссин, Марк 10, 99, 405
- Варяги 69, 70, 72—77, 86, 88, 96, 116, 398, 419
Вебер, Макс 36, 37, 44, 110, 233, 241, 328, 391, 420, 425, 496
Вебер, Юджин 20, 425
Вейманн, Даниель 281, 282
Вейцманн, Хаим 60, 61, 425
Вениаминов, Иннокентий 120, 132, 395
Венюков, Михаил Иванович 92
Вестфальский мир 74, 75, 78, 201
Викинги 72, 73, 76—78, 177, 222
Виткевич, Иван (Ян) 57, 58
Внутренняя колонизация
определение 9—10, 16—21, 35—37, 40, 91, 196, 143, 150, 172, 212, 232,
342, 363, 380, 382—384
история понятия 16—21, 39, 42, 91—96
институты 21, 127, 144, 194, 197—200, 216—218, 224—226, 237—239,
275, 381, 389
правовые акты 156, 200
как самоколонизация 9, 17, 94, 101, 106, 376, 391
и коллективизация 104, 107, 232, 238, 329

- и двойничество 375—376, 378
и граница 36, 42, 49, 91, 94—96, 101, 132, 159, 160, 163
и гендер 354—372
и не прямое правление 229—239
и рефлексия 47, 101, 349, 386
и суверенность vs. субъектность 74—77, 85, 120—121, 124, 151, 160, 178, 190, 232, 284, 300, 392
и трансформистская культура 11, 12, 43, 148, 267—269, 384—386
- Военные поселения в Российской Империи 211—214, 236, 245, 383, 397, 400
- Волга, река 35, 37, 70, 76, 133, 167, 168, 174, 202, 204, 206, 208, 215, 217, 234, 235, 313, 344, 346, 367
- Вольф, Кристиан 75
- Врангель, Фердинанд 182, 183, 395
- Второй мир 42, 43, 45, 46, 62, 64—66, 105, 386
- Вульф, Ларри 49, 275, 284, 395
- Высокий Имперский период (1814—1856) 29, 145, 166, 184, 188, 216, 236, 238, 267
- Гакстгаузен, Август фон 91, 217—223, 240, 246, 263, 304—306, 310, 394, 396, 400, 409, 413, 423, 427
- Гаман, Георг 297, 406
- Гамель, Яков 206
- Ганди, Махатма 33
- Ганзейский союз 115, 126, 136, 149, 274
- Гегемония и доминирование 17, 18, 38—39, 176, 178, 184—187, 191, 269, 280, 287, 291, 327, 343, 375, 388—390
- Геллнер, Эрнест 233, 296, 299, 309, 387, 412
- Гердер, Иоганн Готфрид 78, 79, 82, 102, 161, 290, 294—298, 309, 410, 412, 414, 417, 423, 427
- Геродот 76
- Гернгутеры 204, 206, 213
- Герцен, Александр Иванович 162, 219, 242, 345, 397,
- Гете, Иоганн Вольфганг 82, 206, 355, 397
- Геттинген 72, 79—81, 84, 218, 296
- Гибридизация 33, 47, 175, 183, 322
- Гизо, Франсуа 221
- Гитлер, Адольф 37, 38, 45, 208, 277, 405, 414, 422,
- Гоббс, Томас 74, 75, 77, 82, 173, 420
- Гобино, Артю де 175
- Гоголь, Николай Васильевич 22, 25—27, 31, 45, 55, 78, 79, 153, 156, 162, 180, 185, 187, 199, 253—255, 261, 345, 372, 373, 376—378, 385, 394, 396, 407

- Голдер, Фрэнк А. 134—135, 413
Голднер, Элвин 20, 413
Головнин, Александр Васильевич 204, 396
Горький, Максим 306
Грамши, Антонио 38, 64, 185, 413
Греция (греки) 79—80, 82—85, 131, 154, 209, 338, 427
Грибоедов, Александр Сергеевич 166—171, 179, 269, 396
Григорьев, Василий Васильевич 245, 261—267, 336, 395, 396
Губер, Эдуард Иванович 206
Гулыга, Арсений Владимирович 281, 285, 394, 396, 413
Гуха, Ранаджит 39, 75, 184, 413
- Даль, Владимир Иванович 240, 245, 257—261, 349, 326, 427
Данилов, Виктор 318
Дойчер, Исаак 65, 66
Дехневалла, А. 56, 409
Державин, Гавриил Романович 177, 178, 234, 235, 360, 378, 403, 427,
Деррида, Жак 124, 409
Дефо, Даниэль 48—52, 355, 396
Дидро, Дени 76, 128, 155, 279—280, 409
Добролюбов, Николай Александрович 367—369, 396,
Достоевский, Федор Михайлович 34, 51, 162, 188, 249, 251, 255, 266,
268, 312, 329, 357, 362, 364—368, 372—377, 391, 394, 396, 418, 419
Дурьлин, Сергей Николаевич 81, 82, 397,
Дюбойс, Уильям Эдвард Б. 36, 425
Дюркгейм, Эмиль 199, 325, 328, 343, 344, 370, 396
- Евреи 11, 38, 59—61, 65—66, 84, 88, 121, 147, 160, 195, 208—209, 228—
229, 234—239, 246, 259, 265, 267—269, 317, 334, 396
Египет 62, 80, 82, 84, 85, 305
Екатерина II Великая 72, 73, 76, 120, 128, 129, 135, 155, 168, 178, 190, 191,
200—206, 210, 224, 247, 277, 280, 284, 287, 294, 295, 301, 323, 324,
361, 397, 427
Елизавета Петровна 242, 275, 277, 279, 281, 287, 394
Епифаний Премудрый 119, 397
Ермак 32, 116, 117, 403, 427
Ешевский, Степан Васильевич 99, 173—176, 184, 397
- Жиран, Рене 22, 357—358, 363—364, 372, 412
- Заммито, Джон 281, 282, 284, 285, 297, 298, 426
Захер-Мазох, Леопольд 132, 306, 310, 421
Зеринг, Макс 36, 419

- Игнатъев, Николай Павлович 190
Империализм 14, 19, 34, 35, 37, 40, 41, 63, 64, 82, 104, 105, 144, 176, 179, 340, 343, 345, 349
Имперский градиент 227—229, 387
Ингрия (Ингерманландия) 149, 155, 382
Индия 15, 28, 29, 33, 53, 55, 57, 60, 61, 100, 123, 152, 198, 201, 283, 307, 343, 360, 374, 380, 386
Историография 17, 20, 21, 42, 69, 80, 83, 87, 89, 91, 94, 103, 105—108, 173, 217, 354,
- Кавелин, Константин Дмитриевич 34, 225, 241, 397
Кавказ 13, 25, 28, 41, 81, 101—103, 106, 120, 121, 139, 165, 166, 168—170, 178—183, 185, 187, 188, 205, 208, 228, 239, 247, 287, 318, 327, 349, 352, 359, 373, 383, 396
Кагал 230, 236—238, 246
Казаки 32, 56, 57, 78, 94, 98, 102, 116, 121, 124, 132, 160, 184, 187—188, 190, 235, 242, 275, 276, 280, 290, 298, 335, 347, 359, 360, 361, 385, 386, 427
Казань 97, 101, 115, 173, 174—176, 184, 186, 189, 234, 303, 308, 395, 404
Казахи 178, 195, 263
Калмыки 70, 195, 206, 235, 275, 276, 305
Кальвинизм 33, 149, 150, 201
Камера обскура 292, 293
Камерализм 241, 293
Камчатка 25, 78, 79, 124, 165, 185, 378
Канкрин, Егор Францевич (Георг) 145, 197, 198, 236
Кант, Иммануил 22, 39, 78, 79, 82, 273—285, 288—289, 294—297, 299—302, 396, 397,
Карамзин, Николай Михайлович 70, 73, 85, 86, 150, 176, 188, 397
Кауфман, Александр 225, 226, 397
Квакеры 204, 205, 213, 304,
Кейзерлинг, Каролина фон 283, 284, 302
Кельсиев, Василий Иванович 305, 311—312, 317, 397
Кенигсберг 150, 170, 273—277, 279—288, 290, 292—300, 302, 382, 398
Кеннан, Джордж 14, 415
Керзон, Джордж 58, 60, 62, 409,
Киплинг, Редьярд 48, 53—60, 62, 336, 393, 397, 398, 412, 414, 416, 418
Киргизы 70, 178, 186, 187, 235, 261, 263—265, 267, 360
Киселев, Павел 246, 396
Клапрот, Юлиус 81, 84
Клаус, Александр 206, 207, 398
Клиффорд, Джеймс 391, 392, 408
Ключевский, Василий Осипович 9, 88—90, 94, 97—103, 105—108, 126, 127, 134, 149, 163, 164, 173, 175, 195, 198, 199, 200, 237, 398, 400

- Ковальский, Иван 314, 315, 398
Козеллек, Райнхарт 278, 416
Колонизация
определение 9, 18
колонизация и колониализм 14, 17, 19, 20, 38, 41, 47, 52, 105, 172, 186, 232, 383
колонизаторы и колонизируемые 19, 47, 92, 95, 353
колонизация внешняя и внутренняя 9, 10, 15, 18, 35—38, 40, 90, 94, 95, 101, 104—106, 198, 258, 261, 280, 283, 368, 369, 376, 380, 382, 385, 391
прибыльность колонизации 51, 93, 96, 115, 118, 123—126, 129, 138, 199, 200, 333,
колонизация новая и древняя 80, 85, 332, 382
колонизация и околдовывание мира 334, 344
колонизация и соперничество между империями 12—14, 54—57, 63, 64, 86, 94—96, 106,
колонизация и межимперское подражание 60, 61, 108, 169, 209, 213, 387
колонизация морская и континентальная 12, 14, 29, 35, 36, 40, 227, 247, 331, 377, 384
- Конди, Нэнси 5, 20, 30, 43, 408
Конрад, Джозеф 4, 22, 26, 45, 48, 61, 62, 187, 268, 331, 332, 334—340, 343, 353, 367, 371, 398, 404, 407—411, 413, 418, 419, 421
Константин Романов, Великий князь 166, 256
Константинополь 13, 73, 107, 312
Контактная зона 355, 356, 371
Корф, Николай Андреевич 245, 283, 284, 291, 302, 398
Кочубей, Виктор 213
Крепостное право 4, 30, 40, 72, 86, 101, 127, 157—158, 162, 164, 170—171, 192—201, 207, 212, 215, 221, 225, 237—238, 248, 255, 303, 346, 349, 351, 354, 373, 377, 381, 387, 391, 399, 403
Кричев 209, 211
Кронштадт 204
Крузенштерн, Иван Федорович (Адам Иоганн фон) 129
Крымская война 29, 53, 56—57, 97, 335
Кук, Джеймс 15, 27, 128—129, 202—203, 409
Куланж, Ньюма-Дени Фюстель де 199, 398
Кэннедайн, Дэвид 46, 407
- Ла Вопа, Энтони 6, 284, 298, 328, 416, 417
Ладожское озеро 71, 204, 331, 349—350, 427
Ланкастер, Джозеф 213
Лаский, Ян 126

- Лебедев, Кастор 170, 171, 247, 398
Левшин, Алексей 255, 399
Ленин, Владимир Ильич 35—36, 44, 104, 164—165, 176, 208, 214, 254, 268, 319, 322—325, 395, 399, 427
Лермонтов, Михаил Юрьевич 178—183, 244, 359, 395, 399
Лесков, Николай Семенович 22, 92, 190, 241, 252, 331, 345—348, 350—353, 393, 399, 402
Липранди, Иван Петрович 241, 248—252, 254, 263, 264, 399, 404
Лобачевский, Николай Иванович 174
Локк, Джон 75, 129, 144, 339
Ломоносов, Михаил Васильевич 72, 202
Любавский, Матвей Кузьмич 91, 104—105, 399
Люксембург, Роза 35, 64, 417
- Магницкий, Михаил 186
Маколей, Томас Бэбингтон 22, 28—29, 33, 417
Малик, Чарльз 62—65, 417, 424, 427
Малиновский, Бронислав 296, 412
Малиновский, Люциан 296
Мандельштам, Осип 156
Манн, Майкл 42, 160, 161, 233, 237, 239, 418
Маркс, Карл 34, 103, 132—134, 173, 223, 325, 343, 399, 410, 422
Мартин, Дженет 11, 112, 122, 418
Мельников—Печерский, Павел Иванович 240—241, 252, 258, 305, 399
Меннониты 205, 207—208, 313
Миллер, Герхард Фридрих 14, 78, 165, 310, 329—330, 399, 406
Милюков, Павел Николаевич 71, 78, 102—103, 107, 125, 163, 399
Министерство внутренних дел 21, 97, 131, 157, 213, 220, 240—241, 243, 245—246, 252, 253—267, 311, 313, 370, 383, 396
Министерство государственных имуществ 215, 220, 247, 400
Мировая война, вторая 13, 208
Мировая война, первая 13, 37, 52, 107, 274
Михайлов, Александр Дмитриевич 311, 316—317, 319, 397, 399—400, 403
Михаэлис, Иоганн Давид 84
Монстры 376—377
Моравские братья 204—206
Морозов, Савва Тимофеевич 217, 326—327, 400
Москва 3, 8, 13, 15, 64, 83, 93, 96, 114, 116, 122, 124—125, 127, 130—131, 133, 136, 149, 151, 154, 161, 165, 175, 193, 195, 208, 223, 324, 326, 329, 354, 382, 399—401
Муловский, Григорий Иванович 129
Мур, Дэвид Чиони 42, 43, 46, 418
Мэн, Генри 200

- Надеждин, Николай Иванович 147, 148, 163, 241, 242, 248, 255, 256, 258, 262, 309, 400
- Наполеоновские войны 13, 29—31, 33, 69, 81, 82, 211, 212, 243, 295, 299, 335
- Народничество 22, 157, 182, 186, 187, 224, 231, 238, 239, 269, 307, 313, 316—322, 325, 327, 328, 343, 370, 371, 394, 397, 403
- Насер, Гамаль Абдель 62, 65
- Насилие 9, 16, 17, 39—43, 75, 86, 96, 102, 103, 110, 117, 119, 121, 124, 137, 148, 160, 161, 164, 165, 172, 176, 181—187, 189, 194, 203, 204, 232, 237—239, 306, 318, 320, 322, 334, 351, 353, 357, 360—362, 371
- Национализм 33, 42, 70, 78, 102, 108, 157, 166, 176, 222, 223, 232, 233, 249, 254, 258, 262, 268, 280, 294, 295, 308, 310, 320, 329, 368, 369, 381, 389—391, 403
- Нева, река 22, 41, 77, 114, 145, 148, 149, 154, 168, 190, 204, 294, 349
- Немецкие колонии в Российской империи 200—208
- Нестор 69, 79—80, 89, 297, 396, 404
- Нетцлофф, Марк 20, 419
- Нечаев, Сергей 400
- Ничейная земля (*Terra nullius*) 113, 144—149, 154, 156, 198, 370, 405
- Новая Зеландия 143, 186, 198, 206
- Новгород 76, 93, 96, 101, 112—115, 117, 124—126, 136, 148, 151, 166, 175, 204, 211, 213—214, 349, 383, 403, 427
- Норманны 73, 77, 85, 172—173
- Община 21, 118, 158, 159, 187, 203, 205, 207—208, 215—226, 229—239, 245, 246, 250, 253, 254, 296, 303—307, 312—324, 326, 328, 344, 366, 380, 391, 396, 397
- община и колонизация 226—227, 229—231
- открытие общины 217—224, 248, 391
- разрушение общины 228, 238—239
- община и кагал 229, 230, 236—238, 246
- община и социализм 208, 221—222, 313, 321—323
- Огнестрельное оружие 98, 117, 119, 176, 189—191, 194, 343,
- Одесса 15, 134, 166, 255, 312
- Оленин, Алексей Николаевич 84—85, 427
- Опричнина 127
- Оренбург 58, 244—245, 248, 255, 257, 263—266, 359—360, 383, 396, 427
- Ориентализм 9, 10, 21, 45, 47, 48, 52, 59, 50, 62, 65, 178, 262, 265—267, 304, 365, 383, 401
- Позитивный 267, 305, 366
- обратный 30, 146,
- Орлов, Григорий Григорьевич 201—203, 284

- Орлов, Михаил Федорович 69—70, 400
Освобождение крепостных (1861) 158, 164, 196, 216, 228, 246, 306, 368, 387, 404, 411
Островский, Александр 165, 367—368
Отрицательная гегемония 176, 185, 187, 280, 327, 343, 372, 375, 388
- Паноптикон 39, 209—211, 213, 401, 406
Панславизм 40
Паттерсон, Орландо 196, 419
Переселения 18, 32, 37, 92, 98—99, 120, 153, 160, 168—169, 193, 199—200, 225—226, 233—234, 237, 267, 279, 324, 346, 383
Перовский, Алексей Алексеевич 244, 245, 267, 427
Перовский, Василий Алексеевич 243, 244, 263, 264, 427
Перовский, Лев Алексеевич 240, 242, 245, 246, 251—252, 254, 258—259, 263—264, 267, 345—346, 427
Перовская, Софья Львовна 245
Петрашевский, Михаил 251, 262—263, 374
Персия 56, 166, 170, 179
Петр I Великий 28, 33, 71, 75, 88, 90, 131, 144, 145, 148, 156, 189, 191, 279, 295, 389, 400
Пиетисты 205, 288, 293—294
Плеханов, Георгий Валентинович 316—317, 319, 400
«Повесть временных лет» 69—70, 72—74, 77, 79—80, 87, 89, 400
Погодин, Михаил Петрович 86—87, 107, 170—171, 400
Покровский, Михаил Николаевич 103—105, 107, 133—134, 199, 400—401
Польша 13, 36, 41, 58, 61, 92, 105—106, 136, 194, 236, 247, 257, 279, 296, 332, 334—335, 339—340, 343
Постколониальная теория 5, 9—10, 14, 19—21, 26—27, 38, 43—44, 47, 53, 64, 75, 91, 104—105, 107, 123, 180, 187, 273, 280, 284, 296, 331, 336, 377, 381, 390
Постсоветская Россия 13, 27, 43, 123, 136, 159, 192, 381, 389, 395, 398
Потемкин, Григорий Александрович 27, 209—210
Православие 32, 75, 81, 88—89, 120, 130, 132, 150, 182, 195—196, 206, 216—217, 221, 229, 254, 258—260, 279, 294, 303, 310, 316, 319, 321, 325, 329, 364, 397
Пракаш, Гаян 5, 47, 307, 420
Пратт, Мэри Луиза 169, 170, 355, 420
Пржевальский, Николай 187
Прокопович, Феофан 76
Пропп, Владимир 308
Просвещение 17, 27, 31, 33, 42, 52, 78, 81, 85, 87, 92, 133, 138, 146, 150, 154, 161, 177, 185, 201, 204, 240, 244, 247, 252, 282, 286, 293, 297, 299, 308, 344, 377, 395, 398, 400, 403

- Пругавин, Александр 322, 323, 401
Пруссия 18, 36—37, 78, 150, 194, 201, 203, 205, 215, 217—218, 235, 274—280, 282—285, 287—296, 298—299, 360, 377
Пугачев, Емельян Иванович 206, 235, 257, 276, 280, 297, 359—362, 370, 380
Пуфендорф, Самуэль фон 74—75, 77, 79, 89, 130, 219
Пушкин, Александр Сергеевич 22, 29—30, 90, 145—146, 166, 178—179, 181, 187—188, 206, 215, 245, 249, 253, 257, 260, 268—269, 359—362, 364, 378—379, 384, 389, 401—403, 427
Пушная торговля 15, 97—98, 112, 114—115, 117—130, 132—136, 138, 182—183, 194, 274, 361, 382, 384, 395, 400, 411, 415, 418, 421, 422, 424
Пыпин, Александр 210, 211, 259, 401
- Реформация 203, 207, 319, 328, 396
Радищев, Александр Николаевич 130, 161—162, 165, 355, 401
Разумовский, Алексей Кириллович 240, 242—244, 427
Раса 143, 156, 159, 161, 170, 173—174, 189, 195, 249
Раскол 169, 216, 221—222, 235, 248—254, 267, 308, 311—313, 316—318, 322, 328, 375, 396, 399, 401—402, 404
Распутин, Григорий 158, 327
Революция в России 10—13, 19, 22, 29, 31, 40, 42, 54, 58, 61—64, 102, 104, 115, 133, 146, 150, 159—160, 172, 201, 213, 218—219, 222, 224, 227—228, 232, 238, 247, 274—275, 303, 305, 307, 309, 311—315, 317, 319—323, 325—329, 344, 359, 371, 381, 383, 389, 391, 396, 403—404, 429
Ренан, Эрнест 358—359, 420
Рейналь, Гийом Тома 161, 202
Ремнев, Анатолий 166, 187, 396, 401
Репин, Илья Ефимович 214—215, 385
Ресурсное государство 109—111, 122, 137—138, 150, 194
Рига 25, 154, 185, 194, 248, 262, 275, 294—295, 297
Рид, Джон 64
Роггер, Ганс 20, 72, 153, 193, 236, 237, 421
Родс, Сесиль 340
Розенберг, Альфред 208
Роман 14, 22, 26, 30, 52—53, 70, 132, 146, 165, 171, 178—179, 199, 201, 206, 244, 253, 268, 291, 312, 330, 348, 354—359, 361—362, 365—368, 375, 394
Романовы 69, 71—72, 88, 103, 172, 239, 274
Росс, Кристин 20, 109, 421
Рузвельт, Элеонора 62, 63, 427
Русские секты 206, 218, 230, 249, 250, 262, 303, 304, 305, 307, 309, 311, 312, 313, 315, 317, 319, 320, 321, 323, 325, 327, 329, 366, 384, 396, 404, 429

ИНДЕКС

- бегуны 254, 313—314, 316
духоборы 315, 318, 323, 325, 394
хлысты 304—306, 308, 311, 313, 315, 318, 323, 325, 328—330, 365—366,
370—371, 401, 404
молокане 313, 315, 317, 319
скопцы 249, 252, 258, 308, 311—312, 314, 325, 362, 366
- Русское географическое общество 92, 166, 256,
Руссо, Жан-Жак 82, 186, 356, 366
Рюрик 67, 69—73, 75, 77, 79, 81, 83, 85—89, 98, 112, 114, 145, 149, 160,
168, 171—172, 177, 204, 222—223, 349, 378, 427, 429
Рюриковичи 69, 72, 77, 89, 196, 254, 362
- Савельев, Павел 241, 262
Саид, Эдвард 14, 21, 45—48, 52, 59, 62—66, 69, 82, 105, 147, 165, 266, 340,
388, 401, 405, 421, 426,
Салтыков-Щедрин, Михаил Евграфович 41, 164, 181, 241—242, 254,
266, 268, 401
Самарин, Юрий 220, 241, 401
Сандерленд, Уиллард 6, 94, 99, 184, 199, 240, 407, 423, 426
Санкт-Петербург 12, 15, 25—27, 31, 58, 72, 76, 81, 88, 96, 148, 150—155,
160—161, 165—166, 168—170, 190, 194, 202, 204, 210, 219, 241, 245,
251, 253, 257—258, 262, 265—267, 277, 283, 290, 300, 316, 323, 334,
336, 349, 359, 365, 370, 372—373, 375, 382, 389, 401
Сарепта 206
Сартр, Жан-Поль 64, 377
Священный союз 13, 82, 256
Сезар, Эме 19, 407
Семенов-Тянь-Шанский, Вениамин Петрович 107, 402
Семилетняя война 79, 200—201, 274, 276, 278—280, 285, 295, 297—298,
360
Сен-Пьер, Бернарден де 201
Сибирь 14—15, 32, 35, 48—52, 57, 78, 92, 94, 97—99, 103, 105—106,
115—124, 126, 128, 130—131, 133, 136, 146, 162, 165, 168—169, 177,
183—184, 186—187, 189, 195, 198, 200—201, 210, 216, 222, 225—226,
228, 236, 248, 251, 267, 273, 288, 308, 312—313, 367, 383, 395—396,
400—402, 404, 427
Симонов, Иван 186
Скотт (Шкотт), Александр 345—346
Скотт, Джеймс 20, 422
Славянофилы 31—32, 92, 157, 188, 220—222, 232, 249, 251, 254, 391, 400,
403
Слезкин, Юрий 11, 94, 112, 119, 120, 128, 233, 238, 309, 422
Словцов, Петр Иванович 130, 402

- Смутное время (1598—1613) 126, 127, 132, 198, 335
Соболя 6, 48, 51, 98, 112, 113, 115, 119, 122, 124—126, 128, 130—132, 134, 137
Советский Союз 8, 10—11, 13, 40, 43, 63—65, 81, 105, 122, 134, 226, 278, 281, 350, 381, 395, 404
Соловьев, Сергей Михайлович 33, 88, 90—94, 98—101, 106—107, 120, 148, 173, 198, 402
Сословие 21, 28, 32, 101, 143—144, 155, 157—160, 162—163, 165, 169, 173, 182, 189, 212, 218, 222, 226, 230, 239, 345, 351, 359, 363, 365—366, 368, 370—371, 373, 387, 390—391, 398
Спивак, Гаятри Чакраворти 273, 307, 340, 408, 422, 423
Средняя Азия 13, 41, 55, 57, 92, 101, 103, 139, 185, 189—190, 228, 244, 257—258, 354, 381, 383
Старообрядцы (раскольники) 70, 118, 216, 221—222, 235, 248—254, 267, 308, 310—312, 316, 318, 323—324, 326—327, 401—402,
Стеллер, Георг Вильгельм 78
Столер, Энн Лора 20, 39, 47, 108, 173, 248, 383, 409, 423
Строгановы 130—131, 134, 427
Струве, Петр Бернгардович 34—35, 402
Субалтерн 22, 285, 299, 307, 353, 374, 390
Субъективность 373, 375, 378, 391—393
Сухово-Кобылин, Александр 354, 402
Сютаев, Василий 315
- Тамбов 177, 192—193, 235, 318, 339—340, 342
Татары 28, 114, 121, 147, 160, 174—178, 181, 184, 188, 195, 206, 209, 228—229, 234—235, 351, 360
Татищев, Василий Никитич 70—77, 89, 402
Ташкент 41, 181—182, 266, 287
Тернер, Фредерик Дж. 94—96, 405, 424
Токвиль, Алексис де 30, 145, 233, 402
Толстой, Лев Николаевич 4, 16, 22, 30, 33, 108, 165, 174, 186, 204, 231, 244, 267, 269, 307, 315, 325, 327, 352, 356, 367, 378, 390, 402, 411, 417, 418
Тоталитаризм 39—40, 137, 299
Троцкий, Лев Давидович 29, 104, 133, 208, 319, 325, 402—403, 416, 424
Тунгусы 49, 133, 167—168, 186
Тургенев, Иван Сергеевич 157, 241, 253, 268, 368, 395, 403
Тынянов, Юрий Николаевич 380, 403
- Уваров, Сергей Семенович 33, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 184, 244, 299, 403
Украина (украинцы) 11, 26—27, 37, 105—106, 208—209, 211, 228, 242—243, 257, 266, 296, 318, 334—336, 343, 381, 383
Урал 13, 70, 72, 112, 115, 276, 326

- Фадеевы, Павел и Андрей 213
Фанон, Франц 47, 144, 374, 390, 411, 421
Фейерверки 152, 189—191, 210, 292—294, 351, 401, 427
Финляндия (финны) 13, 72—73, 77, 95, 105, 167—168, 175—176, 184, 228, 349—350
Форстер, Георг 129, 202
Форстер, Иоганн Рейнгольд 202, 203, 409, 411, 427
Франклин, Джон 336—338, 341, 415
Франклин, Саймон 6, 73, 348, 353, 411, 425
Фрейд, Зигмунд 65—66, 329, 421
Фридрих II Великий 36, 37, 201, 203, 274—282, 301
Фуко, Мишель 11—12, 19, 40—41, 44, 69, 71, 77, 81, 172—173, 176, 209, 211, 216, 221, 229—230, 392, 403—404, 411
Фюлёп-Миллер, Рене 310, 329—330, 412
- Хабермас, Юрген 17, 44, 413
Хайдеггер, Мартин 62
Хечтер, Майкл 19, 232, 414
Хождение в народ 87, 146, 157, 163, 182, 186, 313, 317, 320, 328, 366, 371
Ходасевич, Владислав 235, 403
Холодная война 14, 21, 45—47, 53, 62, 64, 301, 381
Хомяков, Алексей 31—33, 92, 184, 188, 219—222, 251, 403
Хорошкевич, Анна 112, 113, 114, 115, 395, 403
Хоч, Стивен 192, 193, 414
Цинцендорф, Николай Людвиг 204
Чаадаев, Петр Яковлевич 30—31, 90—91, 145, 147—148, 395, 397, 400—401, 403
Чайковский, Николай Васильевич 318
Чернов, Виктор Михайлович 318—319, 322, 403
Черных, Яков 133
Чернышевский, Николай Гаврилович 206—207, 222, 259
Чичерин, Борис Николаевич 223—225, 227, 233, 265, 397, 403
- Шамиссо, Адальберт 377—378
Шейкеры 310, 318
Шкловский, Виктор Борисович 308
Шлецер, Август 72—73, 77—81, 84, 92, 102, 242, 296, 402, 404, 427
Шмидт, Исаак Яков 206
Шмитт, Карл 110, 422
Шмоллер, Густав 37, 422
Шпицругены 214—216, 225, 277, 301, 374
Щапов, Афанасий Прокофьевич 19, 96—99, 102—103, 106—107, 109, 126, 132—133, 173, 184, 252, 303—304, 306, 308—309, 311—313, 317, 319, 404, 427

ИНДЕКС

Энгельс, Фридрих 223, 329

Этнография 14, 22, 79, 97, 102, 168, 180, 187, 216, 242, 255—257, 259,
287, 296, 307—310, 312, 317—318, 322—323, 344, 355, 370, 383, 391,
395, 401

Юнг, Роберт 170

Ядринцев, Николай Михайлович 106, 119, 125, 404

Якуты 182—185, 187—188, 206, 273, 318

Ясак 118, 120—122, 128—129, 151, 183, 232, 236, 427

Оглавление

Благодарности	5
Введение	8
ЧАСТЬ I. НЕТРАДИЦИОННЫЙ ВОСТОК	
Глава 1. Два, но меньше чем один	25
Глава 2. Жить в миру	45
ЧАСТЬ II. ПИСАТЬ С НАЧАЛА	
Глава 3. В погоне за Рюриком	69
Глава 4. Страна, которая колонизируется	90
Глава 5. Баррели меха	109
ЧАСТЬ III. КОММУНАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ	
Глава 6. Черное волшебство	143
Глава 7. Дисциплинарные шестерни	192
Глава 8. Внутренние дела	240
ЧАСТЬ IV. БРЕМЯ БРИТОГО ЧЕЛОВЕКА	
Глава 9. История приходит к Канту	273
Глава 10. Секты и революция	303
Глава 11. Вновь околдовать тьму	331
Глава 12. Жертвенные сюжеты	354
Заключение	381
Литература	394
Список иллюстраций	427
Индекс	429

Александр Эткинд

**ВНУТРЕННЯЯ КОЛОНИЗАЦИЯ.
ИМПЕРСКИЙ ОПЫТ РОССИИ**

Дизайнер

А. Рыбаков

Редактор

И. Калинин

Корректор

Е. Толочко

Компьютерная верстка

Л. Ланцова

Налоговая льгота —
общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

ООО РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА
«НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

Адрес издательства:

129626, Москва,

абонентский ящик 55

тел./факс: (495) 229-91-03

e-mail: real@nlo.magazine.ru

Интернет: <http://www.nlobooks.ru>

Формат 60x90^{1/16}

Бумага офсетная № 1

Печ. л. 28. Тираж 1500. Заказ №5024

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Неприкосновенный запас

Дебаты о политике и культуре
Периодичность: 6 раз в год.

«Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре» – журнал споров, информации и наблюдений о политике, культуре, экономике и обществе.

На страницах «НЗ» ученые, эксперты и публицисты всех поколений обсуждают темы, актуальные для России, Европы и всего мира. Задача журнала – обеспечить доступность интеллектуальных дебатов нашему читателю, не снижая при этом уровня дискуссии: в каждом номере подробно рассматриваются актуальные темы из области политики или общества, экономики и культуры.

Не менее важное место занимают постоянные рубрики. Наши колумнисты – социолог Алексей Левинсон, философ Александр Кустарев, филолог Илья Калинин – делятся с читателем своими наблюдениями и мыслями о происходящем. В рубриках «Культура политики», «Политика культуры», «Очерки нравов», «События и комментарии» представлены полемические статьи на злободневные темы. В рецензионном блоке из номера в номер публикуются рецензии на новые русско- и иноязычные книги, а также дайджест ключевых российских интеллектуальных журналов.

«НЗ» – международный журнал: иностранные авторы пишут статьи специально по заказу редакции, вместе с российскими коллегами участвуют в дебатах и тематических обзорах. «НЗ» – входит в общеевропейскую сеть *eurozine*: избранные статьи каждого номера переводятся на основные европейские языки, становясь доступными десяткам тысяч читателей во всем мире.

Подписка по России:

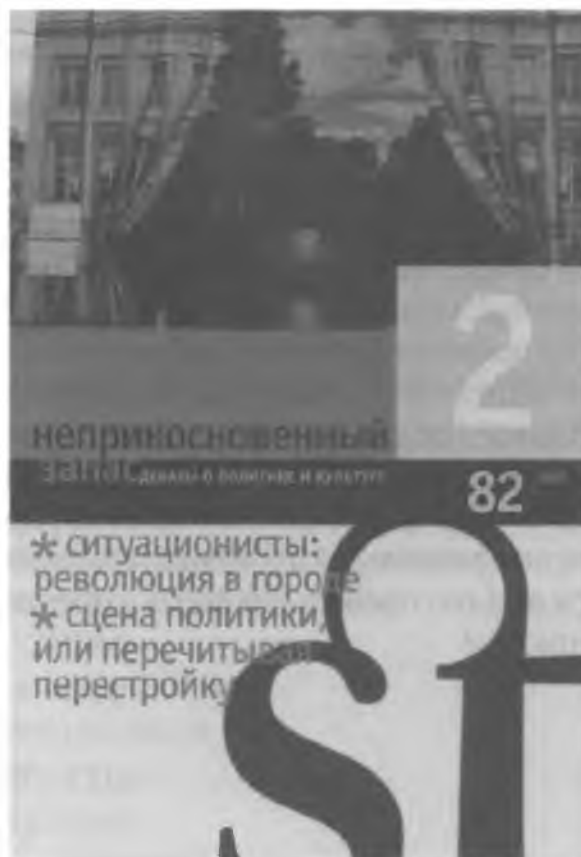
«Роспечать»:

45683 (полугодовой)

81917 (годовой)

«Пресса России»:

42756 (полугодовой)



Серия «Библиотека НЗ»

В.В. Баранова, Т.О. Гаврилова,
Панова Е.А., К.С. Федорова
ЯЗЫК, ОБЩЕСТВО И ШКОЛА

Книга «Язык, общество и школа» посвящена социолингвистике школьного образования. В ней на материале различных стран и языков рассматриваются такие проблемы, как выбор языка образования, языковая социализация, обучение второму языку, распространенные в школе дискурсивные практики. Важнейшие вопросы, на которые пытаются ответить авторы, можно сформулировать так: каким образом можно применить методы исследования, выработанные социолингвистикой, к тому богатому материалу, который предоставляет в наше распоряжение школа? Что нового может сообщить нам социолингвистика о происходящем в школьных стенах? Что дает анализ языковых процессов на материале школы для понимания функционирования языка в обществе и общества посредством языка? Где в конечном счете те точки пересечения между языковыми и социальными процессами, для которых принципиально значимым оказывается анализ происходящего в пределах школы?



**Книги и журналы
«Нового литературного обозрения»**

можно приобрести в интернет-магазине издательства www.nlobooks.mags.ru
и в следующих книжных магазинах:

в МОСКВЕ:

- «Библио-Глобус» — ул. Мясницкая, 6, 924-46-80
- Галерея книги «Нина» — ул. Бахрушина, 28, 959-20-94
- «Гараж» — ул. Образцова, 19-А (магазин в центре современной культуры «Гараж»), 645-05-21
- «Гилея» — Тверской бульвар, 9 (помещение Московского музея современного искусства), (495) 925-81-66
- Книготорговая компания «Берроунз» — (495) 971-47-92
- «Книги в Билингве» — Кривоколенный пер., 10, стр. 5, (495) 623-66-83
- «Культ-парк» — Крымский вал, 10 (магазин в ЦДХ)
- «Молодая гвардия» — ул. Большая Полянка, 28, (499) 238-50-01, (495) 780-33-70
- «Москва» — ул. Тверская, 8, (495) 629-64-83, (495) 797-87-17
- «Московский Дом Книги» — ул. Новый Арбат, 8, (495) 789-35-91
- «Мир Кино» — ул. Маросейка, 8, (495) 628-51-45
- «Новое Искусство» — Цветной бульвар, 3, (495) 625-44-85
- «Старый свет» — Тверской бульвар, 25 (книжная лавка при Литинституте, вход с М. Бронной), (495) 202-86-08
- «У Кентавра» — ул. Чаянова, д.15 (магазин в РГГУ), (495) 250-65-46
- «Фаланстер» — Малый Гнездниковский пер., 12/27, 629-88-21
- «Фаланстер» (На Винзаводе) — 4-й Сыромятничный пр., 1, стр. 6 (территория ЦСИ Винзавод), (495) 926-30-42
- «Циолковский» — Новая пл., 3/4, подъезд 7Д (в здании Политехнического Музея), 628-64-42, 628-62-48
- «Dodo Magic Bookroom» — Рождественский бульвар, 10/7, (495) 628-67-38
- «Jabberwocky Magic Bookroom» — ул. Покровка, 47/24 (в здании Центрального дома предпринимателя), (495) 917-59-44
- Книжные лавки издательства «РОССПЭН»:
 - Киоск № 1 в здании Института истории РАН — ул. Дм. Ульянова, 19, (499) 126-94-18
 - «Книжная лавка историка» в РГАСПИ — Б. Дмитровка, 15, (495) 694-50-07
 - «Книжная лавка обществоведа» в ИНИОН РАН — Нахимовский пр., 51/21, (499) 120-30-81
- Киоск в кафе «АртАкадемия» — Берсеневская набережная, 6, стр. 1

- Книжный магазин в кафе «МАРТ» — ул. Петровка, 25 (здание Московского музея современного искусства)

в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:

- На складе нашего издательства — Лиговский пр., 27/7, (812) 579-50-04, (952) 278-70-54
- «Академическая литература» — Менделеевская линия, 5 (в здании Истфака СПбГУ), (812) 328-96-91
- «Академкнига» — Литейный пр., 57, (812) 230-13-28
- «Все свободны» — наб. р. Мойки, 28 (второй двор, код 489), (911) 977-40-47
- Галерея «Новый музей современного искусства» — 6-я линия ВО, 29, (812) 323-50-90
- «Исткнига» — Кадетская линия ВО, 27/5, (812) 986-82-51
- Киоск в Библиотеке Академии наук — ВО, Биржевая линия, 1
- Киоск в фойе главного здания «Ленфильма» — Каменноостровский, 10
- «Классное чтение» — 6-я линия ВО, 15, (812) 328-62-13
- «Книжная лавка» — в фойе Академии Художеств, Университетская наб., 17
- «Книжный Окоп» — Тучков пер., д.11/5 (вход в арке), (812) 323-85-84
- «Книжный салон» — Университетская наб., 11 (в фойе филологического факультета СПбГУ), (812) 328-95-11
- «Книжная лавка писателей» — Невский, 66, (812) 314-47-59
- Книжный магазин-клуб «Квилт» — Каменноостровский пр., 13, (812) 232-33-07
- «Мы» — Невский, 20 (на третьем этаже проекта Biblioteka), (981) 168-68-85
- «Подписные издания» — Литейный пр., 57, (812) 273-50-53
- «Порядок слов» — Наб. реки Фонтанки, 15 (812) 310-50-36
- «Проектор» — Лиговский пр., 74 (Лофт-проект «Этажи», 4 этаж), (911) 935-27-31
- «Росфото» (книжный магазин при выставочном зале) — ул. Большая Морская, 35, (812) 314-12-14
- «Санкт-Петербургский Дом Книги» (Дом Зингера) — Невский пр., 28, (812) 448-23-57
- «Свои книги» — 1 линия ВО, 42, (812) 966-16-91
- «Университетская лавка» — 7 линия ВО, 38 (во дворе), (812) 325-15-43
- «Фонотека» — ул. Марата, 28, (812) 712-30-13

в ЕКАТЕРИНБУРГЕ:

- «Дом книги» — ул. Антона Валека, 12, (343) 253-50-10

в КРАСНОЯРСКЕ:

- «Русское слово» — ул. Ленина, 28, (3912) 27-13-60

Александр Эткинд

Александр Эткинд

ВНУТРЕННЯЯ КОЛОНИЗАЦИЯ

Имперский
опыт
России

библиотека
журнала

библиотека





неприкосновенный
запас

ВНУТРЕННЯЯ КОЛОНИЗАЦИЯ

Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизируя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей. Двигаясь от истории к литературе и обратно, Эткинд дает неожиданные интерпретации критических текстов об имперском опыте, авторами которых были Дефо и Толстой, Гоголь и Конрад, Кант и Бахтин.

АНТРОПОЛОГИЯ ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТОЛОГИЯ ИСТОРИЯ

ISBN 978-5-444-80090-4



9 785444 800904



Новое
Литературное
Обозрение



ПОЛИТИЧЕСКІИ БАЛАНСЪ ЗЕМНАГО ШАРА,

КАКЪ ПОСТРОЕНА "СИСТЕМА" САНКТУ-ПЕТЕРБУРГА, КЪТОМУ ПРИБЛИЖИТЕЛНО И СООТВѢСТВУЕТЪ.

КАКЪ СВОЕОБРАЗНО СЪСТАВЛЯЮТЪ СЕБЯ, ОТНОСИТЕЛЬНО ПОЛИТИЧЕСКИХЪ ОТНОШЕНІЙ И ВЪЗРАЖЕНІЙ СЪСТУПИЛИ.

Составилъ и издалъ въ С.-Петербургѣ, въ Типографіи Императорскаго Училища Правовѣдѣнія, въ 1875 году, Г. С. Шубертъ.



Издано въ С.-Петербургѣ, въ Типографіи Императорскаго Училища Правовѣдѣнія, въ 1875 году. Въ продажѣ у Г. С. Шуберта.